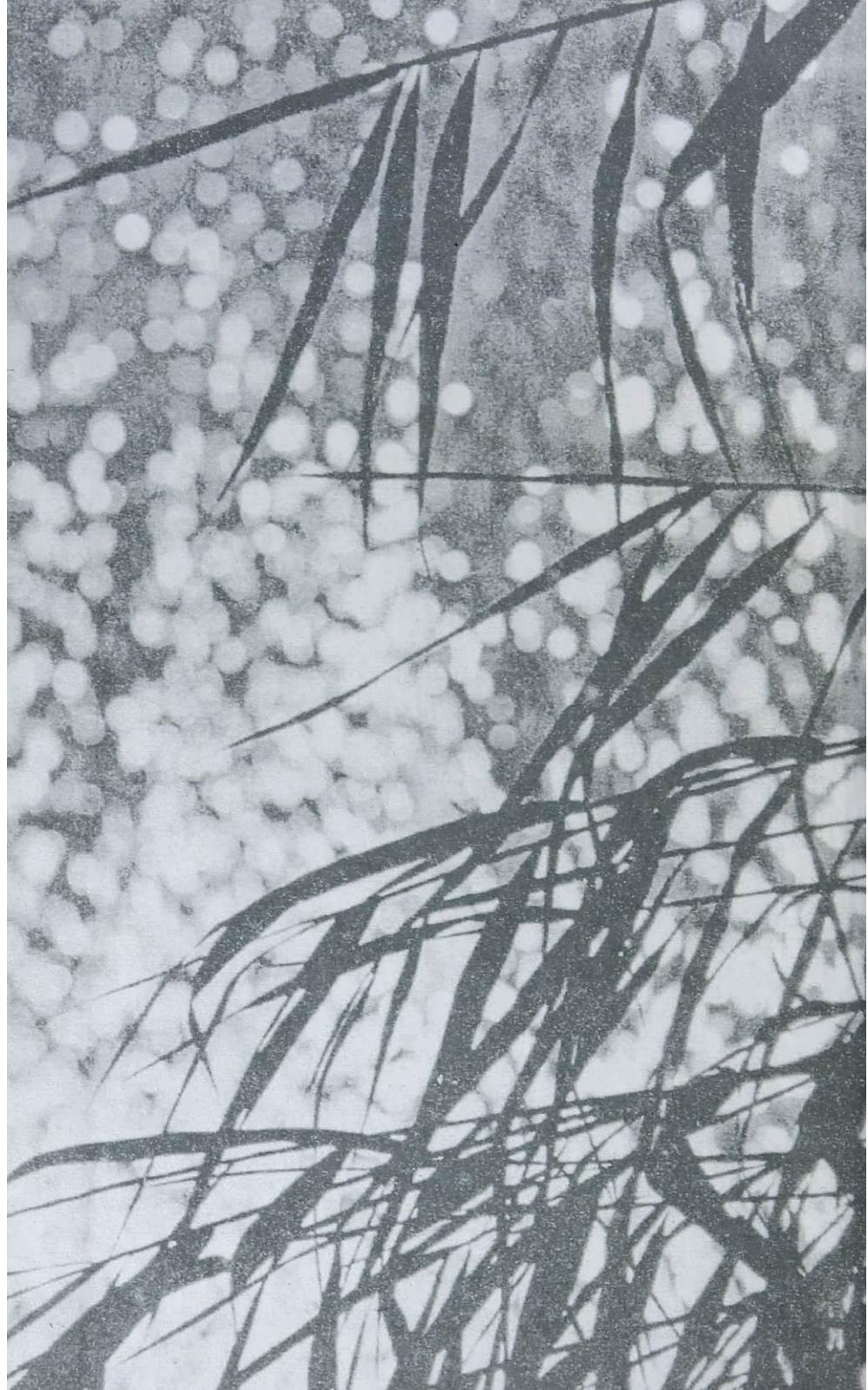


21.607к7

Елена Рощина

ИЗБРАННОЕ



9883² 8

11/03.07 28944

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 TMO T. 200000 3. 2275-79



51.00 + 7p
8888

ЕЛЕНА РОЩИНА

ИЗБРАННОЕ



«Иваново» 1996 г

-- 2010

ББК 84(2Рос-2Рус)6
Р815

21.607 Кр.
Эк №13598



Составление, подготовка текста и комментарии
Л.Н.Таганова, З.Я.Холодовой

Вступительная статья
Л.Н.Таганова

Художественное оформление:
**Л.А.Рожкова,
В.В.Серпков**

В книгу вошли произведения Е.О.Рошиной, трагически погибшей в 1994 году. Стихотворения, дневниковые записи, письма, статьи, помещенные в "Избранном", дают представление о разносторонне одаренном человеке, наделенном большим литературным, искусствоведческим талантом.

ISBN 5-85229-054-8

© Рошина Е.О. Избранное.

© Издательство «Иваново», 1996

ЕЛЕНА РОЩИНА: ВЕКТОР СУДЬБЫ

«Избранное» - третья книга Елены Рощиной. Две предыдущие увидели свет в 1995 году, через год после ее гибели: в Вичуге вышел сборник «Да утолятся печали твоя...», в Воронеже - «Жар нетерпения». Эти две небольшие книжки открывали судьбу поразительно одаренного человека. Он глубже и тоньше, чем многие, чувствовал и понимал драму современного существования, знал тайные изгибы нашего времени - финальной части двадцатого столетия. Ему были даны философская пронизательность и поэтическое прозрение. И стать бы нам свидетелями развития замечательного таланта, и следить бы с волнением, как точно, сильно говорит он про нас и за нас, но... но «русский гений издавна венчает тех, которые мало живут» (Некрасов).

Первые отклики на посмертные книги Елены Рощиной пронизывает мысль о незащищенности таланта, о невозможности творческой самореализации в несуразных условиях российской действительности¹. Новое имя записывается в мартиролог современной культуры, а комментарием к нему по-прежнему остается скорбная филиппика А.И.Герцена: «Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человеческому, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть»².

Глухая тоска отчаяния, выраженная в этих словах, может приглушиться лишь в том случае, если мы поверим: с окончанием земной жизни ушедшие не покидают нас. Они живы не только памятью о них, но и тем, что без поддержки *оттуда* невозможно жить человеку, отрицающему стадные игры нынешнего времени.

Биографию Елены Олеговны Рощиной можно уложить в несколько строк. Родилась в городе Родники в Ивановской области 24 июля 1966 года. В 1991 году с отличием окончила факультет журналистики Воронежского государственного

¹ См.: Кедров К. Дневник поэтессы Елены Рощиной // Известия, 1995, 16 февраля; Жажоян М. Елена Рощина. Да утолятся печали твоя... // Русская мысль, 1995, 12-18 октября; Кузьминский Б. Самые сильные эстетические впечатления // Сегодня, 1995, 19 декабря.

² Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Соч.: В 9 т. М., 1956, Т. 3, с. 473.

университета. После учебы жила в Иванове. Редактировала областную детскую газету «Сами о себе», сотрудничала в изданиях «Прямая речь», «Притяжение земли», работала в школе-лицее «Гармония». С 1992 года - студентка заочного отделения сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. В ночь с 17 на 18 июля 1994 года Елены не стало. Ее убили мерзавцы, промышляющие на квартирном обмене.

Не сомневаюсь, что когда-нибудь внешняя канва жизни Елены Рощиной будет заполнена разнообразными фактами. Появятся воспоминания родных и близких, где отразятся ее улыбка, жест, интонация. Припомнят, что с ней было в тот или иной период. Но все это окажется важным, если мы откроем творческую основу жизни Елены Рощиной, проследим за духовным вектором ее судьбы.

Кем сознала себя Елена Рощина? Что главное в ее творчестве: поэзия? философская эссеистика? кинокритика? Я считаю Елену Рощину прежде всего ЛИТЕРАТОРОМ в самом глубоком смысле этого понятия. «Бог даровал слова как единственную защиту от мира, - говорится в одном из ее писем. - Если я все-таки преждевременно умру, это значит - не было бумаги и ручки». «Dum spigo spago» - пока живу, надеюсь. Елена Рощина надеялась и жила, пока писала.

Основу ее творческого наследия - дневники. Суть дневникового жанра определился Е.Рощиной так: «Дневники - это особый мир в донельзя особом мире писателя. Одинокий, страдающий мир, где жизнь растет из снов и воображения (а не наоборот), мир, где словно разламывается душа и из этого разлома вырастают сопряженные в простоте и чудовищности образы, словно дрящные и в яви мучительные сны». Дневники самой Елены полностью соответствуют этому понятию. Главное здесь - разлом души, ее озарения и страдания. Но при этом дневники Е.Рощиной выходят за рамки чистого «личного письма». По своей значимости они могут быть приравнены, например, к такому известному литературному явлению, как дневник Марии Башкирцевой. Есть что-то роковое в таком совпадении. В конце XIX века появляется книга, где никому неизвестная молодая художница рассказывает о своей частной жизни, о своем, говоря словами Е.Рощиной, «одиноким, страдающем мире». И вдруг именно эта книга становится нравственно-психологическим камертоном нового времени. Дневником Башкирцевой зачитывались в Париже и в Лондоне. Марина Цветаева посвятила ей свой первый поэтический сборник «Вечерний альбом»... Кончается XX век. И снова молодая женщина, рано ушедшая из жизни. Снова дневник. «...Блеснуло за занавесом

что-то ослепительно яркое, что-то болезненное, поразительное - величиим дара и желаний, умом, противоречивостью...»³. Сказанное современным критиком о книге Марии Башкирцевой может быть отнесено и к творчеству Елены Рощиной.

Как-то она записала в своем дневнике: «Я не помню себя не любящей или просто - не влюбленной. Без синего стрижа восхищения, врывающегося утром в распахнутое летнее окно». Не раз и не два мы встретимся в ее дневниках с этим «синим стрижем восхищения». Вот июньское утро. Легкое весеннее небо. Запах дождя. «Так блаженно: закинуть голову и вдохнуть, полно и счастливо (лишь на песчинку минуты) этот запах». А вот ночь из ее дневника: «Я люблю город, отмытый тишиной до звука далеких шагов по мокрому асфальту, и особую колодезную глубину снов, и стеклянное одиночество бессонниц. Время тихого и неслышного взмаха ресниц проснувшегося ребенка, час горчайшего, неизлечимого сиротства, безнадежности». В этих и других словесных акварелях, в которых словно бы струится ее душа, сбывается одно из заветных самопожеланий Елены Рощиной: «любить мир как творение». Она была счастлива, когда открывала незамутненный лик жизни. Но к счастью примешивалась острая горечь от сознания мгновенности красоты, ее иллюзорности. Оставалась надежда лишь на слово, способное закрепить на бумаге «песчинки минут». Вольно или невольно дневники начинают соотноситься с творчеством Марселя Пруста, для которого искусство было поиском утраченного времени, запечатленным мгновением.

Дневниковое начало дает о себе знать и в стихах - самой светлой части литературного наследия Е. Рощиной. Вершинными именами в поэзии она считала для себя Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, Тарковского, Бродского. Они помогли ей понять истинный смысл игровой природы искусства, где игра, как сказано в одном из ее писем, не просто «исполнение безумных желаний» и не «грезы», а «душевный труд (как труд каменщика), выкладывание ступеней к непостижимому».

Творческое влияние больших поэтов явственно дает о себе знать в образном полифонизме, в ассоциативной многомерности стихов Е. Рощиной:

Перебирать, как волосы, слова,
Вдыхая запах тонкий и обманный.
Любви едва начатая глава
За белый лист уводит следом санным...

³ Басманов А. Тлеющий разряд / Дневник Марии Башкирцевой: Избранные страницы. М., 1991, с. 7.

В поэзии Е. Рощиной много деревьев, трав, птиц. Природа здесь - хранительница целебной для человеческой души тайны. Стоит прикоснуться к ней, и жизнь предстанет в своем истинно прекрасном виде. Особенно, если это сентябрь, когда так остро ощущается неповторимость бытия, каждое его мгновение:

И виноградный сладостный надкус,
И косточка-печаль под влажным небом,
И жизни задыхающийся вкус
Под потолочным и суконным небом.

Неслучайно среди тех, кто оказал воздействие на творческое развитие Е.Рощиной, на первом месте стоит имя Марины Цветаевой. Цветаева пришла к ней в тот момент, когда, казалось бы, уже нечем было дышать. Безоглядная, всепоглощающая любовь осталась без ответа. Жизнь превращалась в сплошное страдание. Цветаева не то чтобы сняла боль. Она открыла трагическую высоту любви. Но при всей своей сердечной тяге к Цветаевой Елена Рощина не стала «цветаевкой». Идя по следу последнего романтика века, она вдруг поняла: «...Марина - это самодостаточный, перекипающий котел, слишком в себе, через себя и о себе. За Мариной и Пастернаком идти нельзя, нет за ними пути, никаких школ и учеников у них быть не может». (Это отрывок из дипломного сочинения Е.Рощиной, в котором также дает о себе знать особая, рощинская, дневниковая откровенность).

Нельзя жить за счет кого-то. Даже если этот кто-то - Марина Цветаева. Надо жить, оставаясь собой, проживая лишь тебе данную судьбу. Чем дальше, тем отчетливей сознавала это Елена Рощина.

Ей был свойственен «жар нетерпения», за которым стояло желание совместить календарное время своей жизни с вечностью. Отсюда миги счастья в ее дневниках и стихах. Но отсюда же - одиночество, сознание своей разьединенности с окружающим миром. Ее время не совпадало со временем многих. Как было бы просто, если бы в данном случае мы столкнулись с гордыней, с демонической брезгливостью ко всему, что не «я». Но в том-то все и дело, что она не могла жить без людей. «Ненасытная жажда по миру» постоянно заставляла ее искать своего человека. Здесь, между прочим, лежит ключ к письмам Елены Рощиной, которые являются своеобразным продолжением ее дневников. Она рвалась из «одинокой камеры духа» к письму-диалогу. При этом менялась сама ее стилистика. Импрессионистичность, акварельность дневников оборачивается афористичностью, мерцающими кристалликами мысли, вбирающей в себя драматизм духовного

существования.

А еще Е.Рощиной был свойствен особый, «кинематографический» взгляд на мир. Многое из того, что она писала, сродни сновидениям, восходящим к «долгим» кадрам Андрея Тарковского. В одном из ее писем читаем: «Почему-то никогда не любила театра, не смогла преодолеть его вторичности и условности. Но кино... что-то сновиденное... Новый фокус реальности, где возможны любые изобразительные, логические и ассоциативные ходы. Любая метафора. Это мне очень близко, тут задействованы ощущения, впечатления, коды памяти. Я, например, просто впадаю в некий столбняк, когда смотрю... Висконти». Таким образом, приход Е.Рощиной во ВГИК имеет внутреннюю, личностную мотивировку. Специалистам еще предстоит оценить точность и оригинальность ее суждений об искусстве, кинематографе, но уже сейчас ясно, что в лице Елены Рощиной мы потеряли тонкого, блестяще эрудированного критика, умеющего не только мыслить, но и точно, емко выражать свои мысли на бумаге. В сущности, и здесь она оставалась литератором.

Елена Рощина хотела не просто жить, но и БЫТЬ. Она искала пространства, равного душе. Были минуты, когда наступала гармония между ее временем и местом, куда забрасывала Елену жизнь. Такие минуты случались в Воронеже, в самом счастливом и самом «трудном» городе. Мгновения любви она ощущала в «бабушкиной» деревне Петрово, в маленьких российских городках, вроде Любима, в которых можно услышать «последний вздох России века отходящего».

К великому сожалению, ее стремление к своему месту часто наталкивалось на непонимание. Ей препятствовали в этом стремлении, потому что слишком высоко хотела жить, потому что не принимала страшной российской обыденщины, массового психоза «перестроечного» времени. Однажды у нее вырвалось в дневнике: «Как много значит в этой стране то, где человек родился. В этой стране, где, по сути, не нужен никто - ни поэт, ни мессия, ни посредственность. Где все одинаково равны в этой своей ненужности». С брезгливостью относилась она к политиканству, к агрессии перекрасившихся чиновников. Ее пугало «дикое угнетение внутри: кражи, грабежи и убийства...» И в то же время она до сердечной боли жалела Россию, «эту великую нищенку, гениальную побирушку...».

Особенно плохо пришлось ей в Иванове. Здесь в полной мере познала она одиночество. Угнетало отсутствие родных душ, любимых занятий. В дневнике, в письмах - отчаяние, в одном из

них она сравнивает себя с героинями Чехова из пьесы «Три сестры»: «Сажу на вокзале и жду, жду, жду. Годы, люди, события - все проходит мимо, а ты видишь только какие-то серые пятна». Были, конечно, проблески света и в этом городе, но в целом, читая «ивановские» страницы дневников Елены Рошиной, испытываешь какой-то мистический ужас. Будто тени будущих убийц брошены на листы ее последних дневниковых записей.

Елене Рошиной было дано многое. Она обладала зорким сердцем, владела словом. Это раздражало бессловесную сволочь. Елену Рошину нельзя было купить, склонить к жульничеству, заставить жить по законам толпы. Ее убили... И все-таки высшая правда существует. Существует хотя бы потому, что Бог дал нам возможность заглянуть в дневники, письма, прочитать стихи, статьи, в которых радуется и тоскует, печалится и надеется бессмертная человеческая душа.

Леонид Таганов

Обрушился наш сад в «железо» и дерево
На сморщенные стволы надрезанные дуб,
И гниль у рябины, разстеланное ветром,
Причудливо слышалась звонком нежареных

Вокруг крестов октября, а концы стволы
И дыны в саду били сыр, как стволы
И старый дом-коробль, у нас чужой
Старательно красилась ладья

И березка ждала не ждала
Вышла, как светлая река
И дымок из трубы окуривала
Коснулась стволы

У ноября

СТИХОТВОРЕНИЯ
«...СКАЖИ ДРУЗЬЯМ...»

МОМЕНТЫ КАЯ ПОРЬМА

Ты забрала в небо широкую в проволоку,
Ты дала дорозь чужим, замерла твоя,
По твоему кирпичному судьбы разбитой - вилкам,
И старость, и старость дорозь твоя, как разбитый металл

Прекрасные стволы устали надрезаться косилом,
До зрости мудрой, и тут же старость твоя,
Под тротуар твоя устала наступать до света,
И тогда стволы твоя, как твоя старость твоя

Устала и твоя, в твоем, в твоем твоем,
Еще стволы твоя до стволы от стволы твоя,
Ладья твоя твоя с дубом твоя твоя твоя,
Устала твоя твоя в твоя твоя твоя

У ноября

ОКТАБРЬ

Обрушился наш сад и золотом, и пеплом
На сморщенные лбы непроходимых луж,
И гривы у рябин, растрепанные ветром,
Причудливо сплелись венком нежнейших дружб.

Вокруг крепчал октябрь, в костры сгребали листья,
И дым в саду был сиз, как стая голубей,
И старый дом-корабль, у нас читая в мыслях,
Старательно хранил печать судьбы твоей.

И бережно меня за подбородок ветка
Взяла, как своего ребенка, - на испуг,
И дымный вкус осеннего терпенья
Коснулся снова запаленных губ.

9 октября 1988

МОНАСТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

За этим забором и небо оправлено в проволоку,
У главных ворот часовым замерла тишина,
По полу кирпичному судьбы российские - волоком,
И старость, и страсть переплавив, как редкий металл.

Прекрасные очи успеют наплакаться досыта,
До ярости мудрой, и тут не сносить головы,
Под грохот замков уведут неумную до свету,
И годы сомкнутся, как веки холодной воды.

Устанут и руки, и мысли, а душу бессонную
Евангельский стих не спасет от прорывов ночных,
Лишь колкая ветка с платочным муслином шиповника
Усладу покоя дарует в посулах благих.

29 марта 1989

* * *

Золотистый запах чабреца,
Коммунальной кухни западня.
Отрешенность бледного лица
Мучает и трогает меня.

Знаю, как остры твои края,
Как жесток беспомощный порыв,
Птица черноперая моя,
Искра угасающей поры!

Спутаны потоки слабых жил
На запястьях сношенной судьбы,
Вымолю - чтобы вовеки жил
В перехвате черной высоты.

Но оборван твой летящий рост,
Резкий взмах широкого крыла.
Лоб в ладонях и мерцанье слез
На глазах - темнее толщи льда.

12 апреля 1989

* * *

Полнолуние. Ложится отблеск медный
На шероховатые стволы.
Горьковато-пряный вкус измены
У тревожной зелени звезды.

Словно хруст пергаментного свитка -
Резкий звук неузнанных шагов.
В пристальности лунного софита
Гнутя спины улиц-чубуков.

Ледяные поцелуи стекол
Студят медленно разгоряченный лоб.
До рассвета старый пыльный тополь
Взгляд мой отгоняет от ворот.

13 апреля 1989

* * *

Избавь от сердечного рабства,
Послушнической стези.
Оставь мне духовное братство
Колочей звездой на пути,

Душе - тишину приближений,
Плечу - тяжесть смуглой руки,
Крутые пороги сомнений -
Отчаянью вопреки.

Служеньем и любованьем
Застывшее сердце живет,
Мой брат, пусть багровое пламя
Сметает беспомощный год.

Пусть мысли летят одиноко
И души в овраге растут
Запущенной, синей осокой,
Не рая протянутых рук...

...Лампадой дымится огарок
В твоём закопченном углу,
А я над заплатами правок
Сломала смиренья иглу...

13 апреля 1989

* * *

Кладбищенской гнилью и серой
Затоплены бедные дни,
Над мыслью засохшей и серой
Болею до бледной зари,

Над сердцем, как проповедь, ложным,
В сухой, равнодушной коре,
Я плачу в вонючей прихожей
Со шрамами жгучих измен.

Растоптана солнцем пустыня,
Бесплодем иссушена,
В ней путь - одиночества схи́ма
За жалкий обрубок крыла.

13 апреля 1989

* * *

Высокие ступени двадцати -
Биенье сердца,
Как трудно в мир себя вести
Из сказки детства.

Порой захватывает дух,
Страшны обрывы,
Но нежность губ, сплетенных рук -
Неразрушима.

Взмывает светлое крыло
Любимых песен,
Дыханье струн напряжено,
Как мускул лестниц.

Гитару отложив, по ним
Стремись к вершинам
Своей загадочной души
Непогрешимой.

14 апреля 1989

* * *

Город озяб и нахохлился
В тонком плаще дождевом,
Ветра щекастого происки -
Влажная пыль на подол.

Окон зрочки изумленные -
Настежь, в провалы весны.
Дышат зародыши сонные
Дымчато-нежной листвы.

В каплях и лужах раздроблена
Жесть потемневших стволов,
Белые простыни мокрые -
Крылья дрожащих домов.

Вымыта улицы палуба,
Вымокли ткани одежд,
Вымерла горькая пагуба
Зимних холодных надежд.

15 апреля 1989

* * *

Я полюбила дом, как тополь или книгу,
Как жадный жар свечи и грустный шум дождей,
И он, меня узнав, котом навстречу прыгал
И ластился в ночи к теплу руки моей.

Дом пропускал меня сквозь узкие проходы,
Где запахи слились в неповторимый дух,
И, бережно храня чужих людей приходы,
Заботливо ко мне он обращал свой слух.
Как темноту хранят старинные кувшины
В начале узких горл, так дом берег, скорбя,
Всех мыслей тайники, не сосчитал ушибы,
Которые друзьям мы нанесли, любя.
А за окном его насмешницы-рябины
Заглядывали в глубь ночной души моей,
И нежные снега кровавили кармином,
Как отпечатки губ или мазки кистей.
Но что мне дом чужой, где проживали люди,
Где проживут еще неторопливый век,
Зачем мне понимать хитросплетенья судеб
И слышать голоса на перекрестке лет?
А дом молчал, устав от разговоров,
От спешности житья, непрошенных гостей.
Уснув от тишины, он не услышал сборов
И звонких голосов пяти своих ключей.
Дом так и не узнал, проснувшись спозаранку,
До станции какой купила я билет,
Лишь тенью на стене запечатлев беглянку
И ветками рябин мне помахав вослед.
Я полюбила дом, люблю его и ныне:
За дверь, за стол, за то, что весел был.
И номер твой, о дом, храню в себе, как имя,
Так нежно и тепло, как ты меня хранил.

1989

* * *

Как помню я прелестный кавардак
Твоих вещей, твоих имен и знаков,
И робких писем движущийся атом,
И ветром твой штурмуемый чердак.

Еще живет и трепет слабых губ
От тесноты и выси узкой пчельни,
В зрачке свечи метнувшийся испуг
И мед беседы медленной вечера,
Где пятипалым тлеющим листом
Светились сквозь огонь твои ладони,
Сердце неукротимых дальний гром
Сводил нам горло, как от смертной боли.
Все жесты предугаданы, как звук,
И мысли, не проросшие словами,
Прочитаны в полуизгибах губ,
Повторены с осенними дождями.
Но, как алыча, кисел алчный миг,
Когда сбылись - все до одной приметы,
И ласточкой прощания проник
Луч утренний, к тебе в окно проредный.
Застыв вполоборота у двери -
Шаг или два в небудущность с тобою,
Возьму, как дар у стаявшей зимы,
Лишь этот вечер с терпким вкусом хвои.

1989

* * *

Беда притянута бедою -
Молчат старинные киоты,
Вино разбавлено водою
В кувшине красной терракоты.
Слеза умножена слезою,
По улицам гуляет ветер,
Вина осыпалась золою
В осенний темнокрылый вечер.
Между любовью и любовью
Закрыто, словно птица, сердце,
Ужаленное жадной болью,
Стучится в маленькую дверцу.

26 июня 1989



* * *

Узколиций певец площадный,
Виночерпий густого звука!
Пригублю я твоей пощады
До сердечного перестука.

Всех речей твоих вихрь горячий
Додохну до последней боли,
Светлоокий мой римский мальчик,
Узник власти и жесткой воли.

Соберу, словно с пашни, камни,
Я слова на краю разрыва,
Но - негнушимися руками
Оттолкну тебя, отрок милый.

Под твоей беспощадной высью
Мне вовеки не будет места,
Ускользну на рассвете рысью -
Так вдвоем с тобой стало тесно.

У тебя пересохнет горло:
Жало липкой осы вонзится -
Жалость! Медленно ты и гордо
Смежишь угольные ресницы.

Отпускаю по воле доброй
Я - к единственной из соперниц:
Высоте, словно злоба, черной,
Вороненок мой, ночи первенец!

27 июня 1989

* * *

Частокол многоэтажек,
Для души - ни закоулка!
Оттого ль так зол и влажен
Ветер мой, надувший губы?
Бесприютное пространство
Да квадратные каморы -
Мыслям одиноким странствий
Здесь не даст проделать город.
Все защиты, все приюты
У души отнимет ветер.
Господи, двора б каюту,
Старый тополь на рассвете!
Камень бы, чтоб помнил руку,
Иль окна квадрат янтарный, -
Только не молчанья муку,
Одиночество казармы!
Но беспамятно и мирно
На юру сереет важно
Памятник всем душам сырим -
Частокол многоэтажек.

27 июня 1989

* * *

Спокойны и строги - земным притворились,
Но ветер с окраин
Рванул за Вами - собакой на привязь -
Из дремлющей стаи.

В рассвете промчался, как призрачный всадник,
Гордец и упрямец!
По небу и морю кочующий странник -
Летучий голландец.

Взорвал все уюты,
Обжитость и затхлость обыденной скуки,
Обшарил углы, закоулки, закуты -
Просился к Вам в руки.

Бежал, как волчонок,
Шарахался злобно от лиц равнодушных.
До самых печенок
Вгрызался прохожим в остывшие души.

Он помнил единственность Вашу
И крылья. Он знал непреложно,
Что Вам не по росту земное бессилье,
Всех высей заложник!

И выследил, вынес - из нашей юдоли
Вдруг тени исчезли.
И только перо мне легло на ладони
Из тающей бездны.

14 июля 1989

* * *

О, не Лицей вас выпестовал, мальчики,
Не бредили Багратионом вы,
Иное время, как состав из Нальчика,
Проскрежетало вестником беды.
Все шпаги и плащи забыты в омуте,
В стаканах пахнет хлоркой спитый чай,
В прокуренной, как тамбур, тесной комнате
Вопросы ваши стары, как пицаль.
За них вставали вы в каре у Зимнего,
От них ломала лед в Неве картечь,
И стягивала шеи вам змеиная
Чиновников напыщенная речь.

Цикута одиночества и мудрости
Еще не в ваших чашах. Далеко
Корабль делосский жертвенный, и юности
Расправлено победное крыло.
Так дерзки вы и шумны в пору бражничеств,
Но темным, длинным пологом ресниц
Сокрыты тупики бессонных странничеств,
Кочевья мыслей, словно стаи птиц.
Они взлетают над газетной лажею,
И под крылом у них века, как сны,
В которых под старинными лепажами
Живой мишенью вновь стоите вы.

8 августа 1989

* * *

Празднуй свою победу!
Ветер с размаху - в грудь.
По моему же следу
Нынче отправься в путь,
В дом, где в любом ненастье
Соль горяча речей,
В дом, где гостило счастье
Сотни чужих ночей.
Так приголубь сиротку -
Жалость - стремглав стрижом
С ветром ворвется в фортку,
С дымом вползет ужом.
Слабости гордость знаем,
Робость любви - честней,
Сердце с чужих окраин
Ждать устает вестей.

Август 1989

* * *

Как начали, так и кончаем век,
Живем пустопорожним плагиатом
Чужих утопий. Отрицаний снег
Не запорошит движущийся атом
Вины за преступления сего,
Ничтожнейшего часа. Все оболочки
На построенье храма твоего,
Сворованные у Савонаролы,
Вернуть пора. Все старые дрова,
Украденные из его костра,
Спалить дотла. Хранители щедрот
Сказочных, строители доброт
Алчных, настроились вы власть
Под знаменем с кровавым словом: власть.

Октябрь 1989

* * *

И этот октябрь отболит
И канет в остывшую воду.
Застынут, как серый гранит,
Слепые глаза небосвода.
Охрипший от лая шенок -
Сиротский, горюющий ветер,
Обласканный, ляжет у ног.
Худые рыбацкие сети
Дождей в почерневшей воде
Короткого вечера вспухнут,
Как жилы запястий. И те,
Кто мучили, - в прошлое рухнут!

Октябрь 1989

* * *

Ранних сумерек хрупкость в простуженном осенью доме.
Лисье пламя свечи, полыхнувшее к самым глазам.
Мимо тысячи лет, в розвальнях, на сопревшей соломе,
Может, душу мою повезут к несвятым образам.
В день, на белую нитку прошитый морозцем,
Горше дыма печей - мой обманчивый путь.
После тысячи лет за последним колодцем
Оглянусь - в вечно длящийся ужас и жуть.
Не проводит никто - только черная птица
Прокричит, на прощанье оставив перо, -
Через тысячу лет в окна синие биться
Прилетишь ты ко мне из сгоревших миров.
И звездою падучей представится чудо
Поздним яблоком с голых чеканных ветвей.
И за тысячу лет я тебя не забуду
За перо на сопревшей соломе саней...

Октябрь 1989

* * *

Не город, а сруб колодезный,
До самых краев - вода!
Рябины тугими гроздьями
Поспела вокруг беда.
И черпаю ведра полные
Полынных октябрьских дней.
Залить - весь огонь и полымя
Пропашей судьбы твоей.

Октябрь 1989

* * *

Опять нам с тобой обживать нежилые углы,
Где ветер надежду освищет, как пошлую драму,
И дни на ладони останутся кучкой золы,
И письма сожмутся до текста сухой телеграммы.
На острове ночи среди бесполезных узлов
В промоины окон смотреть, как полярные совы,
И путаться в ворохе бледных, истасканных слов,
И птицей парить в облаках невесомых.

Октябрь 1989

* * *

Маленький ламповый круг
На деревянном полу.
Очерк искусанных губ
В горьком табачном дыму.

Тихое слово: - Не плачь,
Девочка, радость, душа.
Лунный серебряный мяч
В окна плывет не спеша.

Наше сиротство с тобой
Нынче вернее родства.
Сердца безудержный бой
Перебивает слова.

Ветер октябрьской весны
Просится к нам на ночлег.
Где-то далекие сны
Свой начинают разбег.

Нам эту горечь речей
Не растворить до утра.
Тихо из бездны ночей:
- Девочка, ангел, сестра!

1989

* * *

Ослепшие бабочки первого снега - ко мне на ресницы,
Смежаю их чутко, блаженно, несмело, как сонные птицы -
Усталые крылья. Как сводят ладони - над робкой свечою,
Как сходятся в плеске последних агоний - с чужою душою.

1989

* * *

По снегу, не умеющему жить, -
Так юн, беспечен и щемяще нежен,
Уставший город едет есть и пить,
Пережевать с зевком зубовный скрежет.
От ветра, отнесенного к бомжам -
Бродяги без единого гражданства,
Спасают душу в дом - к томам, борщам,
Неизлечимой скуке постоянства.
Сквозь горький час бессонниц и свечей
Идут в кровать - тяжелым камнем в омут,
Сновидеть вновь - хвосты очередей,
В которых мысли, как котят, тонут.
А ночью снег погаснет, словно взгляд,
И ветер побредет в чужие страны,
Ненужные все свечи догорят,
И глубоко вздохнет залив туманный.

16 ноября 1989

ПЕРВЫЙ СНЕГ

У ангелов первая линька -
Тяжелые, влажные перья
Размыли небесную синьку,
Застенчивый профиль деревьев.

И город притих, изумленный,
Туманя дыханием окна,
Несчастный, намокший, влюбленный,
Смотрел на меня одиноко.

От снов, что страшнее бессонниц,
Коснулась снежинок губами,
И ангелы - с рухнувших звонниц
Ответили - колоколами!

16 ноября 1989

* * *

Когда-нибудь и этот нежный ад
Вдруг прекратит свое сердцебиенье.
За здоровье все свечи догорят
И вспять пойдет обузданное время.
Я раздарю сокровища свои,
По янтарю растрочу эту осень...

16 ноября 1989

* * *

Мой! - К неприручимому волчонку.
Брат! - К неисцелимому сиротству.
Отведешь мальчишескую челку,
Улыбнешься с чувством превосходства.

В тьму слепую, как ночная птица,
Выбирая время и пространство,
Отлетишь: чтоб быть или разбиться
В черном тупике безумных странствий.

О, как дразнит за окном тревога
И зовет горластый, дерзкий ветер!
Оттого-то легкою дорога
Видится в разбавленном рассвете.

На ветру остывшими губами
Не скажу - помедли на пороге!
Занесет прощальными снегами
Самые глубокие берлоги.

Ночью - твоему огню во славу
Огонек моей свечи знобящей.
Неумело - помолюсь за главы
Всей твоей судьбы, мой брат пропащий.

16 ноября 1989

* * *

Свет погас в бедном доме моем,
Слабо дышат неровные свечи,
Затихает полночный содом
В талых звуках отравленной речи.
Чьи-то души сгорают в огне:
Капли воска, как слезы на пальцах,
И мороз на знобящем окне
Чертит путь одиноких скитальцев.
Кто пойдет этим странникам вслед,
Чужакам, дуракам, недотепам?
Кто сменяет счастливый билет
На хождение по гибельным тропам?
Только птицы и братья-ветра,
И колючие, мерзлые звезды,
Позабывтый Владимирский тракт
С сухомяткой загубленной прозы.

Я не знаю имен и молитв -
За кого да и как мне молиться?
Это пламя так страшно горит
Или бьется в агонии птица?
Но забуду от дома ключи
И пойду по неверному следу
За бродягой, в оплывшей ночи
Уходящим к великому свету.

4 декабря 1989

* * *

Растормошили тишину
На смуглый смех и шепот вязкий,
Всю кровь испортили вину
Водой зеленой древней сказки.
Качались пряные слова,
Как водоросль в пруду округлом,
Твои запекшиеся губы
Вдруг замирали, как плотва.
Сердцебиение ветров
В прозрачно-черной сфере ночи,
Как звук смолкающих шагов
В бессвязной партитуре строчек.
Мы слушали, и шел рассвет
Доить молочные туманы -
И в этот промежуток рваный,
Как голубь, улетал ответ
На то, где отыскать наш дом
В заживших ранах ранних трещин
И все поставить в нем вверх дном,
Разговорив немые вещи.
Где прочертить свои пути
Юдоли вычурною пряжкой,
Когда покатится «прости»
По лестнице со вздохом тяжким.

4 декабря 1989

* * *

Слабее тающего снега
В горячих, бережных руках
Перо с одышкой разбега
Передвигается впотьмах,
Неся на кончике своем
Сиреневую каплю ночи,
Шиповник под слепым дождем
Созревший знаком кровотоच्या.
Как шорох стрекозиных крыл,
Шуршит столетняя бумага.
Вот дверь тихонько приоткрыл
Никем не признанный бродяга.
В его плаще - ветра и сны,
Века и горные обвалы.
В его руках - смычок весны
Над струнами сырых кварталов.
За ним потянется перо
В азарте горьком, как игрок,
В пути погибшим караванам,
К косматым, древним океанам,
К чужой, неизвестной судьбе,
К причалу шаткому - тебе.

4 декабря 1989

* * *

Шаги замирают и тают,
Как первый, младенческий снег,
Вот кто-то по самому краю
Проходит в мой гаснущий век.
Сквозные ранения страха,
Реестры печали и зла...
Какая неловкая пряха
Все нити в узлы завела?

И жизнь сухомяткой вокзалов
В простуженном горле першит,
Наверно, ей кажется мало
Сиротства бездомной души,
Все мучает высшим порогом
Неловкие наши труды,
Косится прищуренным оком
На черное платье беды.
И как укротить ее норы,
Чтоб кто-то в мой гаснущий век
По самому краю до крова
Дошел в первый, гибельный снег?

4 декабря 1989

* * *

Капли невысохших слез,
Первые страхи предзимья.
Время безумья и гроз
Кончилось веком бессилья.
Рук не поднять, не шагнуть
В круг зачарованный сада,
Выйди - откроется путь
Утром тебе, как награда.
С неразберихи простынь -
Встань в лихорадке рассвета,
В жестком, как уху - латынь,
Звоне волшебного света.
Ветер прозрачным крылом,
Сильный, бездомный, бродячий,
Прошелестит за плечом
И проскулит по-собачьи.
Ветер, мой горестный брат,
Спутник чужих бездорожий,
Празднуй блаженство утрат
В холоде утренней дрожи

И подними, словно флаг,
Шелк золотистого смеха
В трепетных, тонких руках
Тихо поющего эха.

4 декабря 1989

* * *

Я хотела узнать, где зимуют бездомные псы,
Воробьи и коты, в чьих глазах загораются свечи,
И пыталась понять твои детские горькие сны,
За которыми ты, словно ветер апрельский, беспечен.
Я старалась постигнуть слепую науку добра
У хранителей сказок и теплого, черного хлеба,
Я искала пути, что темнее пути серебра,
Недоступней седьмого и сотого неба.
Я болела от взглядов и бедных, искромсанных слов,
Закрывающих жизнь, будто тело - худую рубахой,
И любила услышать молитвы далеких ветров
За зеленую ночь, уводящую вечер на плаху.
Не сошлось, не сбылось - перевесили снова весы,
«Знать, бескрыла душа», - из угла нищета прошептала...
Но зато я нашла, где зимуют бездомные псы,
Твои детские сны - разгадала!

4 декабря 1989

* * *

Двор затихает под шепот рябин,
Кто-то в нем бродит и бродит один,
Желтые капли вечерних окошек
Ловит в глубокую чашу ладошек.

Ветер швыряет крупу ледяную,
Стрелка барометра дышит на бурю,
Но безнадежно, отчаянно смело
Кто-то здесь ходит без всякого дела, -
Смотрит на окон чужую фольгу,
В словно ладони [в] остывшем снегу.

4 декабря 1989

* * *

Зачем, нерешительный ангел,
Я столько тебя рисовала -
На легкой, как имя, бумаге,
На шкурах домов и вокзалов?
Загадочность лика земного
Чертила мелком и сангиной,
И веянье мира иного
Врывалось меж хрипов ангины.
Тяжелые крылья взлетали
Над слабостью плеч твоих детских,
И вихрь одиночества сталью
Распахивал бедное сердце.
Чуть дышащей, трепетной тенью
Скользила душа твоя мимо,
И глаз византийских мишени
Цвели под плащом пилигрима.
Зачем мне дарована тайна
На кончике беличьей кисти -
Полетов твоих и скитаний
В звенящей, как колокол, выси?

4 декабря 1989

* * *

Лунку стекла теплом отдыши -
Луч зеленой звезды
Губы царапнет, как будто шип
Розы или беды.

На сюртуке у ночи пришит
Орден звезды ночной -
За соль терпенья твоей души
На высоте земной.

И не дороже ли всей тщеты,
В свете созвездий чужих -
Лучик зеленой звезды нищеты
Между ладоней твоих?

13 декабря 1989

* * *

Эту боль, что дарована свыше,
И отволглый, охрипший декабрь
В бедной жизни, как лунку, отдышат
Теплый ветер и старый фонарь.
Эту тайную горечь тревоги,
Мутноватое око воды
Мне откроет в обмен на дороги
Луч зеленой, небожьей звезды.
И блаженная тяжесть утраты,
Стрекозиный, прозрачный сон
Поведут мою душу, как карты -
Мореходов по венам времен.

14 декабря 1989

Глухота замороженных улиц,
Строки чуткие тонких деревьев, -
Все забытые страхи вернулись,
Прочитали тоску нараспев.

Темнота неприютных подъездов
И визгливые ссоры дверей, -
Одиночество страшно и трезво
Заглянуло в глаза фонарей.

Но деревья под смуглой корою
Сохранили апрельский словарь,
Незнакомую речью земною
Раскололи хрустальный январь.

Зашептали о дремлющих водах
И молочном дыханье ветров,
Виноградном зрачке небосвода
Над Олимпом крылатых богов.

И сквозь шепот о воздухе томном
Чей-то голос сказал мне: владей
Темной тайной бродяг и бездомных -
Разговора деревьев и людей.

Слушай звуки неправильной речи,
Словно ночи волшебные сны,
Это грезят земные предтечи
О плаще светозарной весны.

И тоскую о солнце и птицах,
Коченея в январском снегу -
Пусть душа начинает учиться
Терпеливому их языку.

14 декабря 1989

* * *

Южный ветер в полночь пересек границы,
Глубоко вздохнули синие криницы,
И декабрь молочный медленно и сонно
Расклеил ресницы темных глаз оконных.
В воздухе, набухшем талою водою,
Горечью разбужен пряный запах хвои.
Хриплый шепот веток и хрусталь капли -
В изголовье снежной, легкой колыбели.
В комнате согретой всхлипнул вдруг спросонок
Шум разбойный ветра слышавший ребенок.
Он не знал, что чудо жадными глотками
Пьет земля, пресытись тишиной и снами,
А столбняк декабрьский с дремою метелей
Таял в слабых звуках теплой колыбельной.

15 декабря 1989

* * *

Стихов о тебе не пишу -
Лишь голос да имя.
Покою себя извожу,
Покою, как схимой.
В дороге - ни рытвин, ни ям,
Но шаг мой непрочен.
И только по-детски упрям
Неловкий мой почерк.
Чьи буквы - в лесу муравьи
Под шорохом хвои
И знаки, и жесты твои
Уносят с собою
В колючий могильник,
Во тьму заклатья лесного -
Дневник - недоступный тайник
Печального слова...

16 декабря 1989

* * *

С размаху о стекла ударилась птица,
И где-то заплакал бессонный ребенок,
И сердце устало за ребрами биться,
Как в клетке горластый, забытый грачонок.
И чья-то душа позвала за собою,
Встревожив покой одинокого дома,
К живущим метнулась с саднящей тоскою,
Как вестник ворчливого, рваного грома.
Как голосом легким звала и кричала!
Я вышла во двор - шелковистые перья
Золою остались, и неба пиала
Поила молочным туманом деревья.
И ветер в лицо мне ударил прибоем,
И в нем утонуло бесценное имя,
И вновь над рассветным, притихнувшим морем
Ложилась печали тяжелая схи́ма.

19 декабря 1989

* * *

Всего-то и было - что черный час
Сиротской души моей,
Луны посеревший, подбитый глаз,
Обиженный всхлип дождей.
Я вышла из дому в рассвет сырой,
За ветром брела наугад,
И тайну дыханья под темной коро́й
Хранил хрипловатый март.
Тяжелый, оттаявший воздух горчил
Цыганскою страстью дорог,
Зачем, как лунатик, - сверх снов и сил
Пришла я на твой порог?
Стояла - бездомнее всех бродяг,
И речь тополей больных
Безумно, отчаянно, словно стяг,
Рвалась на руках земных.

В ней жил твой печальный, непрочный сон,
Мой черный, крылатый брат,
Озноб синеватых, живых окон
И сказки гадальных карт.
Но где-то разбился хрустальный срок,
Увяз глубоко в тиши...
И я не шагнула за твой порог
В час черный моей души.

19 декабря 1989

* * *

Крепкий чай, горьковатый, как дым,
Ночь - на зыбком, неверном пути...
Я прислушаюсь к хрипам родным
Из твоей беспощадной груди.

Сон ресничных, темнеющих стрел,
Лунный зайчик на смуглом плече, -
Дремлет ангел, что годы горел
В моей жизни, подобно свече.

Тень ладоней над хламом бумаг,
Сквозняков шепелявый язык,
Соберусь до рассвета - впотьмах,
Поцелую души твой блик.

И вздохнут в тишине тополя,
Тронув сон твоих темных ресниц,
И отпустит с ладоней земля
В поднебесье - двух утренних птиц.

Затуманив дыханьем стекло,
Напишу, что мы встретимся вновь,
Пусть когда-то совсем не любовь,
А отчаянье судьбы светло.

19 декабря 1989

* * *

Благослови тяжесть черной земли,
Каторжность всех бесполезных трудов.
Боль и смятение прими - и внемли
Знаку дорожному лунных столбов.
Ветер в глаза поцелует, как принц.
Крошки планеты - росинки цветка,
Тень на щеках от дремотных ресниц
Ляжет, как легкий изгиб лепестка.
Тайну пророчеств прошепчет трава
У изголовья земного пути -
Тихо послушай простые слова.
Жизнь - за терпенье и веру прости!
Ночью на окнах растает слюда,
Медленно, сонно напишет перо:
В мире никто не ушел навсегда
И бесконечно, и щедро добро.
Не было атома бедствий, разлук,
Не иссякала река бытия,
Мужеством - в ковшике сомкнутых рук
Да утолятся печали твоя...

21 декабря 1989

* * *

Парной и дремотнейший дождь в декабре,
Молочный разлив в деревенском ведре.
Сквозь патуку сна - скрипы старых дверей
Пустили дыханье далеких морей.
Сиреневый куст завозился и стих,
Запутался ветер меж веток сырых
И злился, и бился бессильно в окно,
И ночь опускалась к туману на дно.
Все жило, дышало и звало шагнуть
В задышанно теплую, плотную муть,
В растянутый, словно зевота, рассвет
И слушать шиповника заспанный бред.

И, зябко глотнув запах темной воды,
Качнуть колыбель ежедневной тщеты,
И ломтик покоя держать на весу,
Блаженно смахнув, как росинку, слезу.

26 декабря 1989

* * *

Расходились под утро, когда догорала свеча
И вино иссякало в дешевой зеленой бутылке.
Я запомнила лишь, как бывала щека горяча
И на матовых стеклах рябиновых веток прожилки.

Увязали колени и руки в табачном дыму,
Зависали слова в темноте, словно певчие птицы,
С побледневшим лицом кто-то странный читал «Улялюм»
И огонь золотил, словно длинные иглы, ресницы.

Через заспанный город - подушки, перины, часы,
Отведенные точно для сонных блужданий и странствий,-
Уходили, и лаем бездомные псы
Провожали гостей в этом дремлющем царстве.

1989

* * *

Раскаянье давит и манит,
Искошены дни, как стекло,
Надежда в грошовой оправе
Ударилась ночью в окно.

И трещинки, как паутина, -
Рисунок ладоней твоих,
Кровавый моток пуповины -
Петлею на шеях живых...

1989

* * *

Среди затравленных созвучий
И лая сорванного рифмы
Перо погонею замучай,
Преодолев метафор рифы.

Перетасуй слова, как карты,
Вспутни их, как воронью стаю,
Чтоб с жесткой правильностью Спарты
Они в шеренги строчек встали...

1989

* * *

Я знаю - обладание ведет
К слепому разрушению надежды,
У расстояний перекошен рот
И бедных слов разбросаны одежды.

Любить и жить - издалека и врозь,
Без трагики неровных приближений.
Они погубят, каждый перекош
Для слабых, парниковых душ - смертелен...

Перемешались гордость и печаль,
Установив нелепость двоевластья,
И волны бьют в покинутый причал,
Как жизнь далекая - о мыс несчастья.

1989

ЛУНА

В черной воде ночного окна
Тонкие сети сплели тополя,
И затаилась на дне луна,
Как распростертая камбала.

Но от сетей замутится вода,
Хлопковой кипой всплывут облака,
И нержавеющей нож плавника
Ночи прорежет тугие бока.

1989

СТРАННОЙ ЗИМЕ 1989 ГОДА

Три зимних месяца гуляет шалый март
По городским дворам, садам и новостройкам,
В распахнутом плаще, юродивейший бард,
Витийствуя, царит в свой странный миг нестойкий.

Как крыльев легкий взмах - мистификаций дым,
Который он пустил в глаза свинцовым лужам,
И старый бог бродяг пошлет гонцов за ним
Из мира, где никто и никому не нужен.

Он узнан только псом, вернувшийся Улисс,
Его еще не ждут, он прибыл раньше срока,
Один среди гостей затаивая мысль,
Что свадебный покров не соткан Пенелопой.

Она под утро вновь распустит полотно,
Печальная зима, тяжелая водою,
И синеглазый март безумно и легко
Склонится ей на грудь кудрявою главою.

1989

* * *

Вращался маховик издерганной судьбы,
А он, ему назло, вернулся в город этот
С истертою, как шелк, артерией Невы,
В агонии дворов от выпитого света.

Он в приступах разлук переживал всю жизнь,
Замешивая дни на одиноком слове.
Выплескивал свой дар в эпоху горьких тризн,
Беспечнейший щегол, забыв о птицелове.

И что о городах, когда иная суть -
Крыло и маховик измучены движеньем.
Зеленая звезда в ночи не даст уснуть,
С несправедливой судьбой уравнена в значенье.

1989

* * *

Ну чем тебе помочь? Жесток мой светлый прищур,
А сумасшедший мир отравой напоен.
Сегодня с лестницы темноголовый нищий,
Не поднимая глаз, мне протянул ладонь.

Была темна она, как бурый лист потухший,
И траурной каймой ногтей обведена.
Не видела лица, и не постигла души,
В которых боль и смерть, как соль, растворена.

Два стертых медяка, как пузыри ожогов,
Обмоешь водкой их - за чей-то упокой.
Как зерна наших душ разламывает жернов,
Мой равнодушный брат с протянутой рукой.

В убежище колен склоняешь лоб тяжелый,
В укрытие - от зла прелюбопытных глаз.
А чем я помогу? Луна монетой желтой
На паперти звенит в сей милосердный час.

1989

СОСНЫ

Кончался август. Каплями смолы
Его уход оплакивали сосны,
Закапав, словно свечи, все стволы
Янтарным нежным воском медоносным.

В мохнатых ветках одиноким псом
Возился ветер и стволы скрипели,
А он стоял - покинутым отцом,
Старая у зеленой колыбели.

Кузнечики настраивали хор,
Стрижи над лугом проносились, плача,
А он, теряясь, без дороги шел
На голос, что отныне был утрачен.

И горечи оттенок смоляной
Ловил он пересохшими губами.
Над братом - сорок любящих сестер -
Склонялись сосны смуглыми телами.

1989

* * *

Как на старинной камее,
Профиль твой вырезан четко,
Белого воска светлее
Строгий твой профиль на черном.

Что-то от птицы и зверя -
Чуткость и дерзость полета,
В облике, что хорошеет
В краткий момент поворота.

И византийские очи -
Юный, зеленый крыжовник -
Тянут меня к средоточью
Мыслей, как вороны, черных.

1989

* * *

Распутицы пояс распущен
На брюхе тяжелой дороги.
И вязнут - чем дальше, тем пуше
Зимы почернелые дроги.

А воздух, набухший водою,
Готовой дождями пролиться,
Окрасил пруды синевою
Из горла молочной криницы.

И поле чернеет краухой,
Посыпанной снежной солью.
Ветра обращаются слухом
К тревожному зову низовий,

Где мягкой поверхностью замши
Легло торфяное болото.
Леса фиолетово-влажны,
Как сумерек конское око.

1989

* * *

Желтый автобус. Тридцатый маршрут.
И протолкнуться нельзя.
Я совершаю короткий путь,
Как поворот назад.

Окна листаю, как дневники,
Пристально глядя на дно,
Где только тени и двойники
Светятся сквозь стекло.

Вот и твое - открыто в апрель,
Тесный колодец двора.
С криками, едкими, как жавель,
Ждет у пивной толпа.

От остановки к дверной полынне -
Меньше десятка шагов,
Виснет клоками в подъездной мгле
Дым чужих голосов.

Их пережду и останусь в тиши,
Где-то прошелестит
Тополь, как сторож твоей души,
Что от меня отлетит.

1989

* * *

Золоченое пламя костра
Пожирало опавшие листья,
Астрономии нашей глава
Открывала зазубрины истин.

Неприлежные ученики,
Мы не знали названий созвездий,
А костер разгорался и плыл
Непокорной главой - в поднебесье.

И пульсировала звезда
На виске у ночи зеленой,
Заливая наши глаза
Тепловатым светом бессонным.

Прокопtilась твоя ладонь,
Пятикрылою птицей рея,
И удачи крупную соль
Нам сулила Кассиопея.

1989

* * *

По сухим щекам пустого леса
Катится подснежников слеза,
Бирюзовым, отрешенным всплеском
Полыхнув в осенние глаза,
Заклиная синевою и солью,
Из кромешной тьмы -
Чей-то плач на эту землю пролит
Каплями весны.

1989

ПРОГУЛКА

Из города мы убежали в сад,
Где смехом рассыпался ворох листьев.
Янтарной каплей падал листопад
И мелких звезд рассеивался бисер.

Нам ветви яблонь целились в глаза,
Храня грачей покинутые гнезда,
Прикосновеньем рыжего крыла
Последних писем облетала проза.

Мы оглянулись - плыли фонари,
Архитектуры крупный, ломкий почерк
Слетал во тьме с растрепанных страниц,
И сад густой темнел на них, как прочерк.

И мы бродили, путая слова,
От рук и губ нам становилось жарко,
И месяц - полуночная сова -
Следил сквозь веток согнутые арки.

А дом наш одиноким стариком
Шершавым боком к новостройкам жался,
Магнитом растревоженных окон
Он умолял из ночи возвращаться.

Из райских кущ и всплесков темноты -
В уснувший город, весь в морщинах улиц.
Вошли. И разомкнулись рук мосты,
И мы не помнили, зачем сюда вернулись.

1989

* * *

Жестокая прихоть - бездомных котят согреть
И с рук отпускать - в темноту, пустоту, неизбежность.
Озябшее сердце, зачем ты забилось опять
От взмахов ресниц, утаивших ненужную нежность? -

Как больно в груди от посулов чужого огня!
И вяжет язык шелестящее, легкое имя...
Наверно, сиротство так долго хранило меня,
Что стали глаза близоруки и слишком ранимы.

Медлительный жест, словно вдох, нестерпимо знаком -
Вот так осторожно к холодным щекам прикоснуться...
Зачем эта прихоть, когда за железным замком
Немая душа до апреля не в силах очнуться?

Иди, беззаконник, под солнце чужих городов -
Не жалость бессильна, а суть беспощадна и точна...
Очнется душа от твоих безнадежных шагов -
Звереныш бездомный в разьеженной грязи обочин.

12 марта 1990

* * *

В смугляющем, теплом, июльском зерне,
Наверно, сокрыто терпенье такое -
В прозрачном, как крылья стрекоз, полусне
Томиться душе, изнывая в покое.

Хлебнуть горьковатой, стоячей воды,
Понять, что уже ничего не случится,
И видеть, как утром живые сады
Спеша покидают угрюмые птицы!

Все в оспинах капель дрожат лепестки -
Ненужная роскошь вишневого лета...
И как без тебя безнадежно легки
Ее небеса в отпечатках рассвета!

14 марта 1990

* * *

Серую воду дня забелил
Перистый, влажный снег,
Будто не хватит у марта сил
Новый начать разбег!

Росчерки синих живых ветвей
На снеговых листах,
Росчерки крыльев - золы черней -
В утренних небесах.

Почек невнятный и клейкий бред,
Обмороки воды.

- В путь! И обратной дороги нет, -
Прошелестят сады.

Тень голубая скользнет стремглав,
Ветер расправит смех,
Он на горячих, сухих губах
Будет нежней, чем мех.

И сквозь белила чужих снегов,
Не запахнув плаща,
Март, как мальчишка, уйдет легко
В юную сень дождя...

1 апреля 1990

* * *

Дождь грезит листьями и небом,
Сон пахнет яблоком и хлебом.
Переплетаясь, сон и дождь
Зачем приводят душу в дрожь?
Она же столько дней томится
В нелепой клетке, словно птица.
Зачем, зеленый юный ветер,
Ты вновь ей расставляешь сети?
И этот голос ниоткуда
Твердит безумно: чудо, чудо...

1 апреля 1990

* * *

Голубые лунные столбы -
В первое раскрытое окно,
Юный запах неба и травы,
Терпкий, как столетнее вино.

Колдовство апрельского тепла
И бессонниц легкие глотки,
Кажется, что жизнь еще светла,
Словно эти лунные мостки.

Каждый день дарован и прощен,
И покой глубок, как сон седьмой,
Рай тысячелетний возвращен,
Ласковый, блаженный, золотой.

Но сквозь теплый обморок глубин
Чья-то мысль взметнется стгоряча -
Беспощадней яростных стремнин
Мысль о смерти - птицею с плеча!

4 апреля 1990

* * *

Научиться б по-новому думать и петь,
Каждый день выбирать, словно тонкую сеть
Из слоистой, зеленой и скользкой воды,
По ночам не считать отголоски беды...

4 апреля 1990

* * *

Начинено взрывчаткой и стихами
Антоновское яблоко планеты,
Подточено пророческими снами
И сказками от Ветхого Завета.

Его сентябрь в ладонях желтых греет
Над пустотой вселенского пространства,
Еще от «Марсианских хроник» Рея
Такой покой, и мир, и постоянство!

А эти сумасшедшие богини
Незрелую антоновку - в разборы
Еще не бросят и небесной сини
Не замутят языческою ссорой?

Взорвутся лишь стихи, а вся взрывчатка
Прольется ливнем в пятом измеренье,
И в чутких снах усталых глаз сетчатка
Забудет устрашающие тени...

9 апреля 1990

* * *

Попробуй теперь - притворись безразличной,
Тоскует и рвется, как голос скрипичный,
Душа в безмятежном, бесценном апреле
Вне всяких причин и бессмысленных целей.

А утром отмытые окна открыты
В бушующий сад с соловьиною свитой,
Мешаются запахи кофе и листьев,
И древнего неба - на беличьей кисти.

О, если бы можно вдыхаться тихонько,
Удрать, как больному с продавленной койки,
От ранящих слов, что тревожно и жутко
Настигнут меня, прекослова рассудку,

Когда бы суметь навсегда не вернуться
К тому, что оставлено временем в блюдах
Фарфоровых луж, бормотанье зеленом
И слабых висках в ореоле бессонном.

Попробуй теперь, но уже бесполезно -
Мятежные ливни, как звуки оркестра,
Взвихрятся, взорвутся в недужном покое,
Что рухнет, как миф, под твоею рукою.

23 апреля 1990

* * *

Зачем этот миг, что всеведущ и вечен,
В течении нашем ничем не отмечен?
Мы нижем его на суровую нитку
И пишем в строку пожелтевшему свитку.

Не помним - он пах тополями и дымом,
Молочным туманом над сонным заливом,
Весь в каплях, дрожал и струился, как вены -
На узких запястьях зеленой измены.

А мы все дремали и ждали награды,
И небо на крыши легло снегопадом,
Давило, как пресс - виноградные кисти,
Все звуки, и краски, и юные листья.

О, мы бесполезно потом вспоминали
Столетия, в которых так много печали,
Их хлам ворошили, стараясь найти
Дарованный миг в бесконечном пути.

23 апреля 1990

* * *

Высок соблазн открытых окон
И гулких лестничных пролетов -
Свить тьму в последний нежный кокон
Над торжеством земных полетов,

Стать каплями росы и пеплом,
Рассыпаться от чьих-то всхлипов
И плыть в зеленом, красном, светлом
Потоке прошлого сквозь липы.

По бесконечным звездным склонам
Скользить во тьму созревшей ночи
К ивовым горестным наклонам
В пыли, осевшей у обочин,

Сквозь одинокие, немые,
Мучимые тоской и страхом
Те двадцать лет - уйти в другие
Единым сном, единым махом,

От всех надежд - камней на сердце
Удрать в иное измеренье,
Исполнив напоследок скерцо,
С улыбочкой скользнуть за двери.

Сбежать нелепо и жестоко
От скучных сумерек блаженных,
Пока высок соблазн окон
В сосущей пустоте Вселенной.

24 апреля 1990

* * *

Будет год под знаком «високосный»,
Мой насмешник, отдан нам в награду,
Дым слоистый горькой папиросы
Откадит ночному снегопаду.

Слабый шорох белопенных перьев
Начерно прошьет часы ночные,
Ветки сиротливые деревьев
Тронут ветры южные, ручные.

Весь разор затопит глубиною
Тишина ночного снегопада,
Тишина, что будет нам с тобою
Вместо счастья отдана в награду.

26 апреля 1990

* * *

Дороги исхожены, вечны и ложны,
Дрожащей тоски и они не накормят,
А встреча, она и теперь невозможна
В настоящем сумраке брошенных комнат.

На этой земле, подчиненной распаду, -
Печали сквозняк от незапертой двери.
А птицы твои к разоренному саду
Еще прилетают на крыльях потери.

26 апреля 1990

* * *

Ковшик ладоней, хранящий дыханье огня,
Голос, как ветер, внезапно настигший меня,
Это откуда, из чьих беспощадных высот
С ветхозаветной тоскою сей голос зовет?

Смутный рассвет - призрак яви и зыбкого сна,
Ветер, огонь и густая, как мед, тишина...
Небо зловеще исчеркано стаей ворон,
Знаю - вслепую навстречу мне двинулся Он.

Тысячи лет его путь и дарованный час
Жили когда-то, и кто теперь вспомнит о нас?
Погребены на краю неизвестной страны
В поисках Царства и юной, и вечной весны.

Но на рассвете ликующе точен твой шаг,
Победоносен сей плащ, разрезающий мрак,
Только откуда, из чьих недоступных высот
С ветхозаветной тоскою твой голос зовет?

29 июля 1990

* * *

Диковатый, озябший зверек
Просыпается вечером в доме.
Да не греет его огонек
В оголтелом сиротском содоме.

И не кормят, как пламя с руки,
Разговоры о ценах и страхах,
Чепушинки газетной строки -
На пушистых, затравленных лапах.

22 августа 1990

БЕРЕЗЫ

Возносятся стройные стебли
Мучительной чистоты,
Пронзая свинцовую небыль, -
К святилищу простоты.

Где ангелов легкие перья
В чернилах сиреневых гроз
Прощают земное неверье
На белых страницах берез.

Сентябрь 1990

* * *

А ночью с тобой ничего не случится -
Бессонниц и страхов озябшие тени
Тебя берегут, черноперая птица,
И губят позорно дождем отречений.

Бездомно и больно в проржавленной хмари,
Пропахшей сиротством седьмого колена,
Сиротством оставленной господом твари
И запахом диким неверной вербены.

Зеленые свечи испуганно дышат
От хриплого бреда и ветра чужого,
Листва засыпает прогнившую крышу
И сети пустые луна-птицелова.

Так холодно. Настежь распахнуты двери.
Лети! Это ветер целует нам лица.
Не надо. Не время восславить потери.
А ночью, даст Бог, ничего не случится...

17 сентября 1990

* * *

Отекший от дождей июнь
На золотой щемящей ноте.
Две модильяновские «ню»
В чужом жилище, на комодке.
В незрелом сумраке глумлив
И драгоценен отсвет дара,
Несмел и призрачен прилив
Пустых шагов по тротуару.
Слова неловки и слепы,
Косноязычней, чем ладони,
Когда спасают от толпы
За пыльным мороком бегоний.
Где тихо снится - легион
За легионом из Египта,
Вот эту пыль несли, как сон,
Дешифровальщики с санскрита.
Чужую мудрость подвели
Под час сегодняшний, непрочный,
Чтоб в полудреме мы могли
Сбиваться в путанице строчек.
От печки мило танцевать,
Коря шагов своих неточность,
Сквозь все века существовать,
Храня зрачков печаль и гордость.
Входить в деревья и траву,
С рассветом убегать из дома -
И удержаться на плаву
В надменном небе невесомом.

26 декабря 1990

* * *

Затосковать ли вдруг по сентябрю,
По ветхой позолоте и кармину,
Кочевных птиц слепому словарю,
Неловким танцам девочки-рябины?

Иль утомил одышливый январь
С табачным сумраком у горла узких улиц,
Иль яблоко желтеет, как фонарь,
Что праздность и сиротство мне вернулись?

И виноградный сладостный надкус,
И косточка-печаль под влажным небом,
И жизни задыхающийся вкус
Под потолочным и суконным небом...

10 января 1991

* * *

На языке попрошаек и птиц,
Не исчерпав еще весь календарь,
Стойкий бродяга российских столиц,
Ты говорить обучаешь, январь.

Формы дошкольные свеч-тополей,
Спутанный синтаксис черных дворов,
Вся разноазбучность шатких дверей
И разномастность бездомных котов

Трогают больше тебя, чем язык
Тысячелетий, чем стройный мираж
Знаков, где всякий простецки привык
С лифта подсказок взмывать на этаж.

Иноязычие сада и тьмы,
Шепот апрельский под тесной корой
В горьком изломе бесснежной зимы
Выдержат твой молчаливый разбой.

Новый, бродяга, составишь букварь,
Щавель от *щастия* произведешь,
И в немоту этот странный январь
Вместе с котомкой своей унесешь.

10 января 1991

* * *

- Что это? Где-то я уже видела вас прежде.
Да нет, нет, этого не может быть?..
Может быть, во сне?

«Идиот»

Ф.М.Достоевский

И жили Вы тому назад три века,
Мальчишка, баловень, укрыли на Афоне
Прекрасней всех икон свое лицо,
Лик драгоценный, тонкий и прекрасный!
И истлевало в тигле послушанья,
В поклонах и предутренних молитвах
Слепое время на земле притихшей.
Бледно-зеленым дымом ночь стояла
У глаз голубоватых, словно капли,
Прозрачных, как вода Архипелага,
И лунные ковры из строгих окон
Текли к ногам, и тени колоколен
Чертили на траве немые знаки.
И где-то, может, в маленькой Карее
Сардары в темных шапках суетились,
Варили кофе, дождь шуршал листвою,
А по утрам чуть-чуть влажнели звуки
От облаков тумана и жасмина...
И запах вдруг сбивал с Вас строгость мыслей,
И за чертой, в венце зеленых молний
Вам виделись Россия и Калуга,
Где в серебристых шапках цвел жасмин.
И замирали в Вас слова святые,
Задерживаясь, как нога на сходнях.
В смутно-лиловой мгле спешили братья
На послушанье или на молитву.
А ветер пах лимоном и корицей,
Чужими берегами и покоем...
То было века три тому назад.

16 января 1991

* * *

Воронежу

Драгоценный, светящийся улей,
Истекающий медом хлопот,
С хромотой нераздавленных улиц,
От столетий ослепший, как крот.
Рыл ходы, не считаясь с линейкой,
Наугад расставляя дворы,
Ошалев от горчачей и клейкой
Тополиной пуховой игры.
Серый камень представил к награде,
И скворешни, как скрипки звеня,
Воскрешали в твоём снегопаде
Позабывшие звуки огня.
Сам провел колонковою кистью,
Обмакнувши в черешневый сок,
Эту линию, званую жизнью,
За запретный, ничейный порог.
Загрунтована память и стерта,
Лишь кораблик бумажный в воде
Накренится и, черпая бортом,
Поплывет по твоей высоте.

21 января 1991

* * *

В институт незаразных болезней вселился ремонт,
Словно память о гуннах, крушивших достоинство Рима,
И гомункул науки зачах у шипящих реторт
С астматическим кашлем в январских проталинах дыма.

Мы вступили в болезнь, заразившись горячкой причуд,
По истертому ныне сюжету классических линий,
Ангинозное горло, хранящее нежность простуд,
Хрипловатую речь на морозе сгущало, как иней.

Не заразны бациллы добра на озябших руках,
Карандашный разбег примиривших с терпеньем бумаги:
За разбоем ремонта был точно беспомощен взмах
Диковатых рисунков, исполненных детской отваги.

Поселенье летучих коров и мохнатых слонов
Разбрелось из альбома в хорошие руки, наверно,
Только то и осталось, что тени чудаческих снов
Меж болезнью тоски и созревшей по плану люцерной.

6 февраля 1991

* * *

Скороговорка истин и безумств
В календаре, запнувшемся на счете,
Пока февральский вдох прозрачно-пуст
И сиротлив, как соло на гавоте.

От снегопадов - эхо тишины,
Озябших пальцев чуткость и смиренность,
И боль души в преддверии Луны,
Бессонницы зеленое смятенье.

Протравлено проросшее зерно -
Такая мука от стеблей тревоги!
В чужих руках незрелое вино
Слепым толчком прольется на пороге.

А если бы беспомощный глоток
От пустоты, бытующей во благе,
Где старых лестниц гибельный виток
Хранит мерцанье розоватой влаги.

И нежностью царапает ростки,
Соблазн безумья трогает и ранит,
Нечетки и таинственно легки
Касанья слов в измученной гортани.

Сквозь занавески - влажна и слаба
Полоска света на исходе ночи,
Как ангел у немотствующего лба
В слезах и всхлипах поздних многоточий.

18 февраля 1991

СОН В СТИЛЕ БАРОККО

Песочные часы - ловцы минут,
Просроченных над хрупкостью пространства,
Зрочки воды в фарфоровом плену
Под тяжестью барочного убранства.

Эпохи дар - паденье и полет,
Округлость сна от хмеля урожая,
Торжественная выверенность нот
И в горле спазм в предощущенье края.

Смятенный день, почуявший распад,
Дыханье войн и пустоту Вселенной,
Беспомощность и блеск земных громад,
И рук тепло под кружевной пеной.

Как празднична сейчас печаль Ватто,
Как ярка и телесна боль открытий!
Все тот же ветер комкает пальто
В невыносимой тяжести отплытий.

Три века не исчерпают песка,
Сплетя корнями ненависть и ярость, -
Еще не заговорена тоска
Времен чужих, их жалоба и жалость.

Незримо равноденствие эпох,
Печать сиротства, ранящая души,
В запаянном стекле - смиренный вдох
Пловца, не притронувшегося к суше.

19 февраля 1991

* * *

Наверно, вы спите, хоть город расколот грозой,
Но сны на рассвете так лстивы и сахарно-сладки,
И мчится по волнам ваш дом, словно праведник Ной
Ковчег обменял на слепые огни коммуналки.

О, в ваших широтах, под сенью папирусных снов
Бесстрастный Озирис не губит главы непокорной,
И Нил полноводен, он жадных своих берегов
Несытую землю водой напитает, как зерна.

Коснувшись, отхлынет от смуглых мальчишеских плеч,
Назад убегая по горлу трубы водосточной...
А дождь продолжает свою сумасшедшую речь
В колодезном срубе двора, словно узник бессрочный.

[1991]

* * *

Прочистить от ила сквозные каналы,
Склерозных сосудов слепое течение,
По руслу которых сам Один в Вальгаллу
На лодке вершит круговое скольжение.
Старик одноглазый! И привкус железа,
И море, лизнувшее ситец подола,
И эти ладони в кухонных порезах,
И вялый, как сон, холодок валидола!
Налет известковый лучистых протоков,
Тромбозные мели с началом распада -
Беспомощной плоти ни сумрачных токов,
Ни всплесков жемчужных для жизни не надо.
Она не виновна, что вечно тоскуют
Какие-то души в бессилии роста.
Растительный шорох. Ракушку земную
Грызет изнутри черверодный отросток...

2 марта 1991

* * *

*Может, лучше и нету на свете
калитки в Ничто...*

И. Бродский.

Всего-то и нужно - тугую калитку плечом
Толкнуть незаметно и тихо взойти по ступеням,
И август забыть, золотое гудение пчел
В притихшем саду, подогнувшем худые колени.
Остывшего воздуха горечь над смятой травой
Глотнуть, удирая в туманное утро распада,
Где кроны то плачут, то тихо стоят над душой -
К щемящему звуку земного, последнего лада.
О жар нетерпенья! Шуршанье стрекоз у воды.
Смотри - [в] фиолетовый миф этих странных соблазнов,
И Соль колесницу ведет до истертой черты,
И грубо хохочет мне в спину старик одноглазый...

2 марта 1991

* * *

*Под небом голубым
Есть город золотой...*

П. Волконский.

Там небо серо-желто, как пустыня,
И камни хрупки и нежны, как дети.
Вода черней, чем очи Палестины
В наивных чашках розовых соцветий.
А в зданьях есть безумие симметрий,
Проказа и бессмысленность деянья,
В разрушенном развале геометрий -
Великий ужас вечного страданья.
И взгляды неподвижны, словно сфинксы,
И голос мысли шелестит, как ветер,
Со всех судов спасавшиеся крысы
Туда бегут в расставленные сети,

Со всех концов стремившиеся люди
Мрут в лабиринтах древности и жажды.
Сухой песок на дне пустых посудин
Хранит веками дремлющая стража.
Но есть воды единственная милость,
Царапины живая боль и радость -
Очнуться от бессмертия, что снилось
В слепых дождях и жалило, как жалость.

10 марта 1991

* * *

А если сумеешь врата Вавилона открыть,
То встанут безмолвно Египет, Шумеры и Крит
И глянут тревожно и нежно глаза
Иудейских пророков, и вновь разразится гроза...
Повилика сознания вдоль кладки китайской стены
Будет долго цепляться за их ненадежные сны,
Обвиваться вокруг запоздавших открытий,
Наблюдать, как ярость небес губит парус отплытий,
Завершать тетраграммус столикий.

10 марта 1991

* * *

Перечти от Омеги до Альфы - начало конца,
Там, где тени сознания, как мокрые простыни плещут,
Первым скрипкам зачтется горячая тяжесть свинца
И сплетенные корни, зажавшие горло, как клещи.

Только сняли печать - и нарушился строй кораблей,
И всплакнули в окне голубиные глазки бегоний,
Камышовые дудки в раскате апрельских полей
Повторили неверно барочную скорбь Альбиони.

И уже не понять серебристой геральдики снов,
Кто есть Альфа и Бета в недуге бесовских мистерий,
Под зеркальным прицелом направленных в небо мостов
Аспириново тает струна всенародных истерик.

6 апреля 1991

* * *

Выпрошенный у Бога крест - самый тяжелый...

Столько брести и споткнуться о запах жилья,
Словно о нитку льняную бездумных весталок,
В пыльном краю, где, наверное, новый Илья
Сиднем сидит тридцать лет и три года - вдобавок.

Так обольститься посулом житейской кирзы,
Равноугольным пространством заполненной соты,
Где вечерами экран, словно ласка гюрзы,
Страхом разит богоизбранный ум идиота.

О, западание клавиш, о, тяжба земель!
Прах землемеров в прогнивших шинелях пехоты.
Вся деревенская мудрость запечных емель,
Коим идти в никуда нипочем не охота.

Всех тетя Маш, раздобывших в обед молока,
Всех дядь Гриш, обожателей темного пива,
Чья бессловесная даль так пуста и легка,
Как и октябрь девяносто второго налива...

И перемены себе отлежали бока,
Долготерпенье сварилось вкрутую в водиче...
Только вздыхаешь. И дверь запираешь пока,
Тихо попросишь кого-то, чтоб вновь возвратиться.

16 октября 1991

* * *

За величье страха у нищей плошки,
Суетливую тайнопись приговоров,
За смиренность спин над бесхлебной сошкой
Азм воздастся тебе все одно - не скоро.
И покуда уходит свет, разжижая силы,
В поминальный сумрак у изголовий,
Не дари сей крест, отведи, помилуй,
Плотоядный ужас твоих любовей.

17 октября 1991

* * *

Раскинула карты - разлуки
Метнулась несчастная тень.
В ковчег твой, не знающий муки,
В души миротворную сень.

Отныне не видел, не помнил
Мой облик - раз выжжен дотла,
Печальный, плачевный садовник,
Познавший судьбы удила.

За сладким посулом о небе
И царстве полуденной тьмы
Свершали степные набеги
Твои беспокойные сны.

Но что мне на картах - разлуки
Червонная, звонкая масть -
Цвет горькой, сердечной науки
С пронзающим именем - страсть,

Когда у твоей колыбели
В дрожании светлых ресниц
Люблю лишь погасшие тени -
Как выходцы здешних больниц.

*А злая жена его, Марина, безбожница,
Сорокою обернулась и из палат она вылетела
(Из народной песни)*

МАРИНА МНИШЕК

(отрывок из поэмы)

1

Ясновельможная панна. Бунтарская кровь.
В ноги тебе, словно шкура, положена Польша,
Не оттого ль так надменно изломана бровь,
Что пожелала страны величавей и больше?
Повелевала мужами движеньем перста,
Но, равнодушно взирая на страсти стихию,
Гордо расправив точеный и царственный стан,
Синие очи вперяла на Кремль Московии.
Молодость - прочь! - не сокровище. Погружена
В пропасть ума, нарушавшим чужие границы.
Всем оборванцам отныне и вечно - жена,
Душу меняла на трон у лихих проходимцев...

2

Тише, полячка, погубит гордыня тебя,
Слышишь, Марина, смени по дороге коня!
Власть незаконная только имеет крыло,
Тяжесть короны навеки сломает его.
Руки - две трепетных птицы в мерцанье свечи,
Мысли, что обруч вокруг лба, на пороге ночи, -
Знала ли ты, как грубы и страшны топоры
Темной Московии - взятой обманом страны?
Все потеряешь, шагнув за последний предел,
Ева без рая, презревшая женский удел...

Вон над Кремлем -
 Стая ворон:
 Черным крылом,
 Страшным судом.
 Будет летать,
 Очи клевать,
 Благо пожива
 Нынче так жирна!
 Срублено - тыщи,
 Ты и не сыщешь
 Здесь никого...

- Сколько перстней в тонкой оправе!
 - Форму руки, губ ли опальных
 Не перепутаешь. Спит и не слышит
 Всея Руси самозванка - Марина Мнишек.

* * *

- Мне будет плохо без тебя!
 Сухого горла хрип:
 - Мне тоже...
 - Мой бедный брат, кругла земля,
 Но встрече это не поможет.
 - Остался бы, куда спешить -
 У нас всемирная бездомность,
 Нам бремя времени изжить
 Помогут окрики бессонниц.
 ...У поцелуя - воска вкус,
 Глаза - обрыв в зеленый омут:
 - Скажи друзьям, что я вернусь,
 Когда меня однажды вспомнят.

Найди в тетрадах дневники
И дом, где жил я летом,
А в нем - безбытности штрихи
И окна голубого цвета.
Еще скажи им всем, что я...
- Как ширится воды граница!
Я все скажу им за тебя,
Мой брат. Ведь ты - не возвратишься...

СРЕДНЕРУССКИЙ ГОРОДОК

В дымке садов, тополях и крапиве,
В тиши предутренних снов
Колос ячменный на середине
Русских земель и ветров.

Шелковый, мягкий, как лист лопушиный,
Город глухой тишины,
В нем на рассвете, под крик петушиный
Рвутся, как ниточки, сны.

Стекла, как кроткие взоры оленье,
Скорбные взгляды с икон
Смотрят с испугом на новое племя
Из почерневших окон.

Вписано «о» даже в вогнутость улиц,
В кружево над крыльцом,
Кажется, это века обернулись
Светлым блестящим кольцом.

Коркой ржаной разбухла дорога,
Чавкает глинистый хлеб.
Время засолено в кадке. До срока.
До перелома судеб.

Одинокий, как старый волк,
Не погладишь лесного зверя -
От такого и шерсти клочок
Обернется двойной потерей.

А глаза - все пески пустынь,
Суховеи и степи волчьи,
Взгляд их так безнадежно стыл
И затравлен, как стаей гончих.

О, не странник, среди огней
Волчий вой - провозвестник блуда,
Не пропавший в морях Эней,
Целовальник скупой - Иуда.

Так расчетлив жестокий дух:
Мех разнежит, да клык осадит,
За тобою, как кровь, испуг
Ржавой кровью струится сзади.

Шкура в шрамах - рассвету в масть
Кроет мускул борьбы и бега,
Незаконную - хищник! - власть
И полночное зло набега.

Не приручишь - один, как мир.
Но укусом догнавшей правды:
Равносущен ему, кто сир
И неистов, как меч Роланда.

* * *

Весенние зябкие холода,
Разодран воздух зеленым взрывом,
Томятся сонные деревья
В ладонях ветра, как струны лиры.

В тугих бутонах хранят белизну
Японские вишни в немом волненье,
Тягуч и влажен щебечущий звук,
А жесты неловки, как туши тюленей.

Мы бредим и бродим в зеленом раю
И воздуха кружку пускаем по кругу,
Из птичьего горла живую струю
Радостной песни вдруг ловим на губы.

Холодный резец заостряет черты,
Но мы говорим и живем безрассудней
Под тонким покровом дневной синевы,
На шкуре асфальтовой зреющих будней.

* * *

Перебирать, как волосы, слова,
Вдыхая запах тонкий и обманный.
Любви едва начатая глава
За белый лист уводит следом санным.

Туда, где в невозможном далеке
Созвездия, кометы и болиды,
Где параллельные - рука в руке -
Миры влюбленных - вопреки Евклиду.

* * *

Так странны Вы, как блики серебра,
И темны, как его происхождение,
Чуть дальше от меня, чем весь Евфрат
И арамеев прошлые движенья.

Фонарный свет разбавлен октябрём,
Его туман не разрешит загадок -
Что ищет под сегодняшним дождем
Рахиль навек утративший Иаков?

Кочевники - и врозь дороги нам,
Но только час: покой, простор, неспешность.
В них светлую водою Иордан
Поит сестру забывчивую - нежность.

* * *

До осени сложили чемоданы,
Послушайте - еще звучит мотив
Малейшего, незримого органа
Раскрытых душ, не знающих пути.

До просини. На простыне небесной,
До робких слез за утренним окном,
Пока не лязгнет стылое железо,
Оставив наше лето - за замком.

Мы встретимся. Но скорости иные
Нас понесут по рельсовым лучам
До осени. В каком еще разливе
Потянет сердце безнадежно к вам?

* * *

Душа стремится к перемене мест,
Как птица, иногда взмывая вверх,
Как ящерка отбрасывает хвост -
Когда-то он именовался «грех».

А то, что раньше называлось - Смерть,
На дно ложится и меняет цвет, -
Там, в глубине, ее не разглядеть -
Была и нет...

Вот мост самоубийц - Чернавский мост.
И гражданин - он встал на парапет,
В руке сжимая ящерицы хвост,
Как проездной билет...

* * *

Когда газет читатели роятся
И суетно хлопчут у киоска,
Я вижу, как их губы шевелятся
На лицах желтых, будто бы из воска.
Так странно мне их нервное круженье
Вокруг стеклянной будки со старухой,
И странные в нем чудятся знаменья,
И тайные какие-то подвохи.
Как будто кто заговорит со мною,
Толкнет или по имени окликнет.
Вот и стою не в силах обернуться
И думаю с тоскою: «Чтоб вам треснуть!»
От них бежать хочу и не вернуться,
И умереть хочу, и - не воскреснуть.

* * *

России

От плагиата чужих утопий
И повторенья недужных мыслей,
Разум, иди по сомнения топям
И временам, что, как ветви, нависли

К мифу, где снова двенадцать смертных
Из Петрограда идут к Чевенгуру,
К миру, где хищные наши ветры,
Переплетаясь, рождают бурю.

Там, где обломки былых империй
Братской могилой пыли остались
И превратились лихие перья
Вдруг в аргументы штыков из стали.

Не говори, что Россия - жертва
Как назиданье другим народам.
Это - до края, до - Пересвета,
До рокового речного брода

И травяного квадратного поля.
На Куликовой кровавой брани
Над головами павших за волю
В ужасе смерти простерты длани...

Господи, брат убивает брата!
Белый и красный - единой же крови.
Так почему же ничто не свято
В этой лавине кошмарной нови?

СОКРАТ

На яшме темной - белопенный след,
Но в нем не отыскать величия былого,
Как ныне не постичь сократовских бесед,
Ушедших от беды перевиранья злого.

Еще собачий знак не осквернил горы,
В изножии ее хозяйничает море,
Просаливая дым предутренней поры,
Махнувшей плавником над жертвенником горя.

И взбитые белки на острие гребней
Белее, чем хитон на теле жадных чаек.
Все изречения - дым, а зависть тем сильнее,
Чем строгий строй бесед точней и величавей.

Но издавна манит лисицы рыжий хвост
В храм хитрости и лжи, предательства и власти,
И жертвенный корабль от острова Делос
Не смоет с досок кровь до места новой казни.

* * *

Больничной простыней - сереющий рассвет,
Сыреющие дни апрельского созыва,
Тяжелый антрацит вернувшихся грачей,
Тяжелый дух хмельной в очередях за пивом.

У городской весны - наперечет примет,
Рекой из берегов не выйдет, но примет
Дар нежданных гостей, Надежды серый цвет
И обмороки слов от солнечных приливов.

Аллею тополей чернеющей строкой
В черновиках своих начертит и забудет,
Кошачий глаз воды изымет из оков,
Лишь жажду жадных горл она не образумит.

На скомороший пляс бутылочных господ,
На матершиный глас веселого разгула
Нет прав и у весны, лишь оторопь забот
Она оставит нам, как круглый бублик дула.

* * *

Скука зимует под крышами старых сараев
Бабочкой серой в тиши, как столетний равнин,
На дождевых золотых ободках умирают
Запахи неба в бесплодном раскате равнин.

Как далеко тут до неба и так же - до моря!
Эти пространства попробуют жизнь на разрыв:
Хруст раздираемой ткани на ниточки горя
И драгоценных зрачков виноватый отлив.

* * *

Здесь маленький город за мутной рекой -
За бледными стеклами сон и покой.
Здесь ветров осенних слышны голоса
И вой одинокий бездомного пса.
Здесь око стоячей глубокой воды
Усталых колодцев и шорох травы,
Холодный песок под холодной ногой
Калитки, что манит в покинутый дом.
И небо, и тучи нахмуренный лоб,
И сон, где лишь плачи, поклоны и гроб.

АЛЬБОМНОЕ

Как часовые на посту,
Они в твоём менялись доме,
Снижая планки высоты
Чужого горя.

Сплошным потоком дешевизн,
Интриг и лести
Тебя разменивала жизнь -
Тусклее жести.

Суровой ниткой шили дни,
И неизменно
Как слезы, падали огни
В окне за сценой.

Цвета волос и запах дней
Менялись в спешке,
Никто не горевал сильней
И неутешней

Тобой оставленной сестры
Души бесслезной,
Что погребала твой прорыв
Над серой бездной.

* * *

Как быстро созревают дни
На ветках мертвого сезона.
По-театральному условно
С рассветом блекнут фонари.

И жадно пожирает сад
Огонь сентябрьского пожара,
И, отворив, как окна, жабры,
Плывет плотвою листопад.

* * *

Травой на черных всхолмиях могил
Вернемся мы однажды в этот мир.
Прорвемся сквозь кошмар небытия
И ты, мой друг, и вы, и может - я.
С ладоней теплых дремлющей земли
Поднимемся - отточим стрелы,
Под тонкой сеткой солнечных лучей
На воздух - ныне наш, раз был ничей.
И наши позабытые слова
Прошелестят по миру, как мольба.
Старинный, темный заговор ветров
Наполним горькой музыкой стихов...



Степанным потоком дождевым,
Интим и востри
Травой из верных вострих
Варенцем или омываю в этот мир
Прорывом сквозя кошира неостри
И ты, мой друг, и вы, и может,
С явкою теплых дремлющих
Поднимается - оттоптом стреме
Под тонок селком, сонным душем
На востри - хушек - выны
И выны позываю слова
Пронзает по миру как молот
Старинный темный вострих
Напоином горьком мушкетером

Тобой оставленная сестра
Души бессонной,
Что негребала твоей прорыв
Над сестрой безымянной.

Как быстро созревает дин
На ветках медульто сезона
По-травяному, по-соловьиному
С радостью мушкетером.



В хушек
Сестра сестры
В хушек
Падает сестры

ДНЕВНИКИ

«...ТЫ УХОДИШЬ В ВЕЧНОСТЬ...»

«...ТрІ ХХОДНТр В ВЕрНОСТр...»
днЕвннкИ



На цыпочках уйду из жизни вашей, тихо-тихо, как падает снег на траур воротника, исчезну совсем незаметно, так, что вы не скоро ощутите мое отсутствие, а ощутив, не сразу поймете, что оно значит.

Если вам посчастливилось однажды испытать сильную любовь, всю свою жизнь вы будете снова и снова искать жар и свет. Чтобы отказаться от красоты и чувственного счастья, связанного с ней, и посвятить себя исключительно служению несчастным, нужно величие души, которого у меня нет.

Не быть любимым - всего лишь неудача, не любить - вот несчастье.

11 марта - грачи прилетели!

19/3 86. Сейчас знаю я только одно - никогда еще, даже в дни самых тяжелых неудач, потерь, не было так трудно. Это даже не боль, просто какая-то безысходность, от которой уже некуда. Похоже на рак - жди, с замирающим от ужаса сердцем... и ничего-то нельзя сделать или изменить.

Меня по ночам кошмары мучают. Мать говорит: «Катишься по жизни». Да, я боюсь только, особенно по вечерам, оставаясь наедине с собой, боюсь, что не выдержу. Я слабая. И впереди мне не сияет луч надежды. Я боюсь... иногда, что это все. Боюсь и знаю., что все.

Мне страшно.

8/7 87. Сегодня первый день в газете. Конечно же, бестолковый. И усталый. Сейчас я пишу, с наслаждением вытянув ноги на мягкой кровати. Я снова в общаге. Правда, теперь в пэтэушной. Завтра позвонит мама. На подоконнике закипает мой чай, а в большое окно хлещет дождь. На стене у меня картина в розовато-белых тонах. И странно: она придает комнате облик гостиничного номера того пошиба,

в каких наверняка любил останавливаться Рогожин. Я не зря о нем. Снова за горло хватает неминуемая тоска: одна, одна, одна. Всегда одна, везде одна.

А сегодня я получила задание. Нужно было написать о профилактории. Я шла пыльными Детскими закоулками и вдруг... Темная полоса сосен, белеющие в разломах меловые скалы, серебряная рыба озера с рыбачьими лодками и стремительными байдарками. После задания я спустилась к озеру по жесткой асфальтовой дорожке. Вода светилась цветом золотого нагретого песка, на глубине видны были стаи рыб, ракушки и водоросли. В небольшой заводи плескалось утиное семейство: один - самый маленький, пушистый, смешно махал крыльями и нырял. Я сделала несмелый заплыв - вода была обжигающе холодной. Где-то далеко на холмах плыл город (...). Я брела назад раздетая, ветер, сухой и горячий, обнимал жаром тело.

9/7. Утро жаркое и сонное, встать, идти в редакцию совсем не хочется. Скучно там, жутко скучно. Просто зубы сводит. Сдала свой грошовый материал - писала между телефонными разговорами. Да, это, конечно, не «Коммунар» с шикарными темами. Только сейчас ощутила пресность «районки», ее оторванность от мира и свою берложность.

Как-то, еще в Воронеже, зашла в церковь. Поставила свечку перед иконой божьей матери. Чтобы, коль не судьба, не одной - хоть сына бы дала. Но ты, которая не любила, разве можешь меня понять? Слезы, одиночество. Этому не будет конца. И все же надо звонить в Воронеж.

Сейчас читаю записки А. Цветаевой. По старой привычке заглянула в конец, там о смерти Марины. Ах, невосполнимая потеря. Но два года даже не знать, что она умерла! Человек умер в полном кошмарном одиночестве, какого же черта вы всхлипываете. Где вы были раньше? Так всегда, веревку намывают, положат в могилу, а потом оплакивать начнут - великий, незабвенный. Черта ли! Волки, одни. Так и живем.

Полет ласточки по высокому небу. Облака, словно ребра.

10/7. Кажется, жанр советской публицистики и новеллистики идет по простейшему принципу: пишу, что вижу. Хуже или лучше - это у каждого в меру способностей и таланта. Но описывают, не давая себе даже труда проанализировать. И недоуменный вопрос: «Зачем?» так и напрашивается сам собой. (...) Просто поражаешься, откуда они берут такую галиматью. Чем они, пардон, видят?

11/7. День. Шел дождь - сквозь ленивый сон: не размежить веки, и снилось горячее солнце, луг, как нерв, крики, потный ветер удачи, белые бинты на ногах лошадей, хлысты жокеев, люди и лошади. Вечером (со стоном!) нашла в себе силы встать. Компенсация годовых недосыпаний. Шла густеющими сумерками - вглубь вишенных зарослей, исподтишка уворовывая черные вишни.

Читала сегодня А.Ц. И тяжело, и больно, и непонятно. Непонятно рожденное состояние. Память о деревенском детстве, некошенных лугах, запахе чистой избы, пирогов и свежего молока - простой немудреной жизни, в которой - все. Я затосковала. Захотелось увидеть бабушку.

День убывает - темнеет уже в 10. Странно: ведь скоро на пороге станет осень, а мы еще и лета не видели.

12/7. Утро. Озеро Богатое. Шла к нему лениво и долго, срывая горстями спеющие вишни и бросая в рот. Сок резкий, горьковато-сладкий, течет по губам, пальцам. На озере - народ, тут же утиное семейство. Светящаяся золотом вода. Я читаю А.Ц., сквозь солнечный сон слышу разговоры об огурцах на базаре.

17/7. Осознание этого конца как предчувствие смерти.

Да это и есть смерть. Небо бесконечно, как жизнь. Но это - не жизнь. Только боль. И одиночество.

Я выбираю это сама. И уже обманываю себя. Ты это выбрал раньше меня.

Но знаешь, я не могу больше. Маленький кукушонок, ты поедает всех своих братьев и матерей. Я знаю - порыв. Его можно простить. Понять. Но ты не знаешь порыва. Ты - расчет. Изменить можно в гневе обиды, боли. Ты же свое предательство просчитываешь, внося в план. Но это же невозможно!

19/7. Газета, газета... Смех в кабинете «сельхозников», бред совещания. Мелкий крапчатый дождь - зеленый, как недозревший крыжовник, который мы едим. Лето уходит, словно вода сквозь пальцы. Еще чуть, и небо начнет тяжелеть осенней прохладой темных вечеров и упадет - короткой вспышкой августовской звезды. Мы слушаем шум дождя в твоём сарайчике - шуршащий, поющий на разные голоса. Вдалеке за серой паутиной - Дон, зеленая даль, от которой становится по-детски счастливо и тесно.

20/7. Бессонная ночь, пустая, как светлая промоина в темном, сливающимся с домами небе. Все сипели, разгоряченные, словно кони, несутся - не остановить. Удила закушены, бока в пене... Не знаю, откуда взялось это вязкое чувство тревоги, щемящее, долгое. Я не спала. Почему-то так остро, словно лезвие клинка, всплыло то, старое, что невозможно было уснуть. Сашка... Никто из живущих ныне не любил меня столь сильно. Бросал, оставлял на улице, плевал в лицо. Странно: и никто из них не был мне дороже и ближе этого сумасшедшего дурня.

Завтра?... Но не стоит об этом.

О ХРИСТЕ.

- Знаешь, Пилата я любила, как живого человека. А Христос... Но ведь есть люди, которые любят его, как

человека.

- У Булгакова Христос - не бог. Он человек, в лохмотьях, язвах на голом теле. Грязный.

- Он телесный. А Христос - настолько искусственное порождение, что его трудно вообразить. «Плод искусственного осеменения...»

- Но ведь есть люди, что любят его очень искренне. Знаешь, если можно искренно любить моего соседа Диму, то почему же нельзя Христа? И тут, и там - плод воображения, и больше ничего.

- Но он - ничто. Дух. Разве можно любить духа?

- Его делают телесным. Материализуют. А потом любят, как человека. Все сводят до понятного уровня.

Развенчание Христа.

21/7. В замершей боли ночи, с оголенными проводами нервов. Вот идет кто-то. Торопливые шаги... Спи.

- Полно. Это ветер играет в уснувшей листве.

- Идет. Галька хрустит под ногами. Спи.

- Это бабочки бьются в окно мягкими крыльями.

- Нет. Шаги! Спи.

- Это утро. Первый прохожий.

- Ничего не вернута. Спи, моя потерянная.

23/7. Твои потери так велики, что странно - как можно пережить их? Они глубоки, ведь еще Лорка говорил, что человек прирастает к сердцу железными путями. А когда он уходит - прутья выламываются, и в сердце остается рана. Но когда устаешь вести им счет, помнишь ли о боли?

Я отпускаю тебя - легкой лодкой в тихие воды реки, я смиряюсь перед одним, жестоким - не судьба. Иди - да хранит тебя Бог! Я старалась, другое дело, что не смогла. Но не жалею. Значит - не хотел. И люблю.

Боль будет неотступна. Но путеводительна. И добра. Он ведь тоже был добр ко мне и всегда видел во мне человека. И даже - талантливого журналиста. Все так. Пусть. Нужно оставлять храмы, а не загаженные конюшни. И виноват ли

он в том, что совсем не любил меня?

Кто бы ты ни был, всем или ничем, я пойду до конца своей судьбы! Ибо одно по крайней мере принадлежит мне - моя воля.

Печаль не сближает. Она отдаляет от тебя людей. Свобода печали...

24/7. Сегодня мне 21!.

28/7. Когда же появится тот, кто скажет: приходи в любое время дня, ночи, потому что ты нужна мне не сегодня, не завтра - всегда. И не по частичкам - вся. И кому это нужно?

Ночью сидела и слушала, как стучат поезда. В раскрытую форточку лилась темнота. Я плакала. О чем? Все в конце концов проходит когда-то.

Сажу на крылечке и грызу зеленые кислые яблоки. Ну кто скажет после этого, что жизнь не хороша?

Прочитала вчера ночью две подборки писем: Булгакова и Маяковского. До чего же судьба у них похожа! И странно: хоть Булгаков-то о белогвардейщине писал, его за это и травили. А тот-то о революции. И то же, правда, менее явно, исподтишка. Может, за меру данного таланта? Обоих ведь одно объединяет - талантливы были.

29/7. Снова листала сегодня очерки о Маяковском. И сквозь строчки о нем встают сухие и жесткие о Л.Брик. Словно идет она по выровненным строкам - рыжая, хищная, властная. Сразу вспомнилась Г.

Маяковский - громада, а подчинился крашеной пошлой бабенке, содержал ее и ее мужа, не устроил личную жизнь... Любил, и странно - ни одной женщины, которая бы все это чувство на плечах выдержала. И согрела бы теплым ровным огнем. Не было. Один жил. Волком. Они шли, шли, как в кадрах фильма, он покупал цветы - киосками, духи, писал. А они шли дальше, мимо. По своей дороге. Его никто не хотел разделить. Они погибали: от пули, петли, яда. От

одиночества они погибали, уходили от него - в смерть. От ненужности своей. Никому не нужности.

Хочется каких-то кардинальных перемен, и со страхом жду своего возвращения в Воронеж. Не хочется. Не жизнь - пытка неустроенностью и одиночеством. Хочется работы. Серьезной. Друзей. Может, любви, не омраченной страхом, неуверенностью. Хочется... а где взять?

9/8. Холодный, влажный вечер, капли дождя каплют с железных крыш. Дон в белесом тумане. Острый запах мокрых листьев земли. Осень.

Совсем не могу писать. В руках - Пастернак, проза. Полная, как река в разлив. Ее можно попробовать наощупь. И на вкус. Чудо!

«Апеллесова черта» - блеск. «Детство Люверс» чем-то близко к А.Ц. Но - мужской вариант. Так писать? Но как?

12/8. А сегодня был Плес. День хмурый, в тучах, лужах и промокших ногах. (...) По дороге стояли полки соснового бора с развернутыми знаменами ветвей. Плес был сонным и мирным. Захолустье запущенное, отданное на откуп местным предпринимателям и туристам. На горе, самой высокой точке города, которую зовут соборной, Волга видна до самого горизонта, и ощущение, будто Волга - опрокинутое небо, врезанное блеклым кусочком в буйную зелень зрелого лета. Улочки, переулки, мощенные бульжником, сползают, сцепясь за руки, по вертикальным горам и утыкаются фасадами в набережную: у поросших мхом громадных валунов плещутся зеленоватые волны, кармин спеющей рябины за заборами - знак наступающей жестокой зимы.

Из домов запомнился один: большая деревянная веранда с круглым окном, разрезанным рейками на углы и квадраты. Бордо вместо скучно-чопорной белизны набережных купеческих домов, изукрашенных лепниной.

Но самое удивительное - приткнувшиеся кругом

церквушки, стройные, в жестких стилях старой застройки. В одной уже кончались работы по реставрации, два пьяненьких мужичка замешивали белила. В углу стояла банка с самогоном. Один подошел к нам с очищенной рыбой в руке. Белорозовая мякоть напомнила сразу Варлаама из «Покаяния».

- Тут баба одна из Москвы приезжала, - начал он, заикаясь. - Говорит, на стенах все сюжеты из Е-ангали.

И начал тыкать пальцем в густо населенное поднебесье храма.

- А к-кавалеры с вами? - спросил, мутно глянув на наших спутников. - Да ну их! С нами оставайтесь.

И, пошатываясь, закрыл лверь.

Я зашла на место, бывшее прежде алтарной. Женщины-то раньше не пускали туда. А теперь весь храм безъязыкий, безголосый, игрушечный какой-то.

А потом мы долго брели по мощным булыжником улочкам, мимо старых домиков с вечными палисадниками, одуряюще пахло флоксами, под ноги падали яркие листья, будто подсвеченные изнутри солнцем.

И все было грустно-грустно, и мне подумалось, что я скоро умру.

Я ничем не могу помочь человеку. Знаю, даже если попросят, не смогу. Моя помощь, в принципе, избирательна.

Все началось с утра.

Куковала кукушка, пахло тинной. Вечер был густым.

Костянка была холодной и людной. Мальчишки прямо в трико и кедах радостно бултыхались у берега, закидывали удочки и с восторгом показывали нам водяных блох. Я оглянулась. Вишни на макушках уже чернели. «А ведь недавно еще стояли в кружеве цветов», - мелькнуло в голове.

Лето казалось коротким, словно вспышка. Хотелось коснуться его руками и подержать, как холодную воду в пригоршнях. Хотелось жить.

Разговор в поезде:

- Я почувствовала, что мне нужно уйти, чтобы разобраться в себе. Но иногда...

- Знаешь, иногда у меня возникает такое чувство, что ты анатомируешь труп. Ты свои поступки вычисляешь, а не совершаешь. А нужно жить.

- Так можно наломать дров.

- А так можно ничего не сделать, понимаешь. Так и увязнуть в клейстере собственных догм. Ведь все они в принципе верны. Но опыта за ними нет, пустая оболочка. Знаешь, чтобы построить дом, можно выбрать два пути: вычертить все до деталей или строить, как древние мастера храмы.

- Может упасть.

- Самое страшное, что вычерченное падает не реде. Но никогда не рождает Спаса на Нерли.

- Ведь это тоже теория и больше ничего.

- Теория? В жизни вообще нет никакой теории. Вся жизнь - Случай и сплетение миров Человека. Тут может быть теория? Ведь это что-то постоянное, как теорема. В жизни этого нет.

- Ты что, предлагаешь вконец не думать?

- Нет, но ты только и делаешь это. Больше - ничего! Понимаешь, есть вещи, которым нужно отдаваться бездумно, без анализа.

- Но это жестоко.

- Похоже, ты даже свои поцелуи будешь анализировать. Это не сюда. Но близко. Очень.

Сентябрь: бархат ночного окна выпит дождем. Ох, как же я ненавижу треугольники!

Сон. Дом с легкой верандой. В комнате люди, молчат, прячут глаза за занавеси век, скрывают друг от друга тоскливо - жуткую мысль - одну, одну на всех! И чугунная необходимость: убить. Помню свой крик: нельзя! И рука на плече, не голос, но прочитанная, угаданная мысль: нет. Потом мутное стекло комнаты, в которое - неподвижным взглядом, пытаюсь вспомнить ожог лезвия, - это не больно,

не больно... А там, внутри, что-то мягко-большое падает, и крик, разрывающий все внутри: не больно.

Полупроснувшись, понимаю, что резали моего деда - давно умершего. А потом нужно ведь еще было войти в эту комнату, где это, мокро-кровавое. Тошнота...

Дай покой моим ночам - детская просьба!

13/11 88. Верно, что необсуждаемость есть благословение любовью. Все говорят, что он - изверг. А мне ведь все равно, какой он.

Октябрь. На холодных плитках детского парка - сморщенные ладони листьев. В белом свете фонарей восковые клены, прячущие в кронах ветер. Наш костер, тлеющий, как ночной город. Я думала (всегда - одно!) о тебе. О моем вечном вокзальном ожидании тебя. Может, ожидании чего-то гораздо большего, чем ты можешь дать, ты, не отдающий никогда.

Другое «может»: я иду по скользкому пути дьявола, требуя душу. Хочу обладать. Чем? Душой! Немыслимая наглость.

У нас, в нашем краю (на краю!), над полем вчера - черное крыло стаи ворон, словно крыло твоих волос над тяжелым и беззащитным лбом.

Ночь. Опаловый язык свечи. Утро - бело от выпавшего снега. Когда мы вышли, он валил рваными комками размокшей ваты на волосы и плечи. Я - в туфельках, по лужам ледяной воды, так боялась выронить из ладони эту бессонную ночь в тонкой серебряной оправе снега, словно дымчатый камень с прожилками теней. Полная оторванность и призрачность, неотягощенность именами и датами.

21/11. Взбешенная до слез. Бессильная. К. изволил меня в мое самое потыкать носом. Изобличал мою страсть додумывать за человека да и вообще его придумывать.

В конце концов ведь для меня почти невозможно по-другому.

22/11. Каким бы ни был адский круг, в котором мы пребываем, я думаю, мы свободны его сломать. Только ручаться за это, что за первым не появится и второй (Дантов ад!), можно лишь при условии полного сведения счетов с жизнью. А если там - еще не конец?

Октябрь. Гуляла в Березовой роще. Там пахнет дымом, в домиках за оградами хрипло лают собаки, под больным светом фонарей продают маленькие хризантемы с острым запахом тлена. На том - черном - берегу капли огней.

Ранние сумерки, шепот в простуженной, нетопленной комнате, неумолимое бегство часовых стрелок.

Пламя свечи - взмах лисьего хвоста - и темнота. Глухие разговоры за двойными рамами холода. Я так материализовала эту комнату, что смогла увидеть трещинки в деревянных рамах. Очнувшись, подобрала на асфальте среди светлых печатей листьев каштан, по форме - женская грудь с темным и округлым соском. Он лежит у меня с тех пор в кармане. Греет.

Ну, у вас-то цианистый каламбур всегда наготове.

24/11. Я плутала сегодня по переулкам города. Со сдавленным горлом и раненым сердцем. Воздух любви и одиночества. Мятежный дух отверженности. Как таинственны, непредсказуемы изгибы твоей души! Уставшей от - чего? Торга и мести? От непомерной - для ее слабых крыльев - тяжести любви? Или от немого присутствия чужой души - рядом?

Как удержать тебя? И зачем, когда «сухой хлеб долга» давно съеден до корки?

А для меня:

Но слито с полем воронье -
Черней крыла измен.
Моей души слепой полет
Не выше этих стен.

25/11. Даже теперь ты догоняешь меня, обгоняешь, зовя вперед, вперед, не понимая, что крыльев у меня нет.

28/11. Почти все эти дни во мне два человека, два имени, два - Гения. Оба - мускулистый и мужественный Дух. Семижилная, непородистая, загнанная (не вывезла!) судьба. Оба, вопреки всем мнениям о нелепой и безвременной смерти, ушли, не сопротивляясь - внутри, в полной невозможности дальше жить здесь. В полном космическом одиночестве, холоде отверженности - не вниз, а на немыслимые вершины крылатого Духа. Замерзшие до смерти на своих Джомолунгмах.

Удел Гения? Удел Поэта!

Пушкинский Петр.

Жестоковыйный. Один - без. Безжалостный. Беспощадный. Слишком монарх по крови, чтобы не быть тираном, слишком стервятник, чтобы не любить падали.

1/12. Мой круг - заклятый, как у Хомы Брута. Мама, мама - единственная душа, нарушающая этот круг, неутомимая, будящая во мне - все, что растила с малых лет, не дающая даже впасть в отчаяние, моя защитница и берегиня. Просто в жизни рано или поздно настает час, когда дети и родители словно бы меняются местами, и для меня он - уже настал.

4/12. За окном - город во всем своем зимнем великолепии. Толстые махровые ветки деревьев, белизна (таких не белых обычно) домов, в ярком солнце кажущихся

розоватыми и потому - пряничными. А под моими глазами разлилась темно-фиолетовая лужа, так же, как в груди - тоска, тоска, тоска. И нет никого, кто бы вывел меня в этот просвеченный насквозь день.

Сон. Почти монтаж. Снимки невиданных мною никогда городов, сахарных колоколен и - огромная река, где-то у берега рассеченная волнорезом из перевернутых баркасов. Нужно пробираться по склизким камням - осторожно, до первого этого баркаса. Пробую ступить с жесткой устойчивости берега на эти подгнившие доски и - просыпаюсь.

5/12. Получить доверенность на квартиру не так-то просто, для этого потребовалось потратить день и ... не получить. Черт с ней. Ехала в троллейбусе - глаза в стекло уперлись, слепое от лохматого снега, тут же тающего. Сумерки шли на город осторожно и чутко, как сон. Он смотрел на меня своими янтарными слезящимися глазами, удивленно подняв надменные брови арок. Я смотрела, как улицы касаются друг друга холодными пальцами. Боже, как им, должно быть, неудобно в своей вытянутой прокрустовым ложем генплана позе и порой хочется размяться, хлопнуть друг друга по плечу. Только деревья, по-моему, не одобряли моих фантазий, они мерзли под тюлевыми снежными накидками. Из всех из них, узловатых и старых, самый любимый - большой серебристый тополь у твоего дома, как и твой дом - любимый из всех домов.

Мой декабрист разыгрался не на шутку. Солнца нет.

10/12. Вчера купила фиолетовый елочный шар с затуманенным боком - все фонарные ночи, все сказки мира. Стоило лишь вынуть его из сумки, он таинственно вспыхивал. У стекла - ночного - способность отражать (созвездие Медведицы ночного окна, оказалось, - лишь цепь отраженных огней). Шар все забирает в себя и всех, как сказка, ведет нас за собой, уводя - в себя.

В свете фонарей у вагона Твое сейчас совсем юное лицо с твердыми выступами скул, ресницы вспархивают со щек, открывая непереносимость твоего взгляда и - талый воск губ на моей щеке. И все это в стремительной декабрьской метели. Так и сочинилось:

Слетает звездами на мех воротника

Снежинья стая.

Тень кружевная в свете фонаря -

Метель ночная.

И Ваши - цвет апрельских гроз -

Глаза больные,

И все, не помнящие слез,

Мечты шальные.

Запомните - озябший сад

В снегу роскошном.

Не помните пути назад,

Лишь - бездорожье.

Оставьте писем лепестки

Нежнейшим вздохом.

Край одиночеств и тоски

Покиньте с богом!

13/12. О, как от всей этой милоты-лепоты рвусь в твой колючий сад (рифм. с ад?), но, ужаленная, с прелестным ядом твоим возвращаюсь назад. Остаюсь стоять, повернувшись вполоборота. Ни здесь, ни там. Вся «от гребенок до ног» - к твоим скифским очам, столетиями настоящим на зелени весенней степи, и к радостно-пестрым словам твоим, живущим во мне.

Но цепью на ногах - надо быть здесь. Где-то, не с тобой? С теми, кто так сейчас холоден и морозен? Ужас! «Любить - знать, любить - мочь, любить - платить по счету... Любить море - обязывает быть рыбаком, матросом... Лежать возле моря... не значит любить».

14/12. Иней и дым. Горизонтальность вдруг пошатнулась, перевернувшись - в вертикальную толщу воды. И словно на глубине увидела коралловый снежный сад и ослепительный

город. И тишина такая же, как на глубине, только иногда с веток - снежная белоперая стая летит вниз. Завороженность - сказочная. Вчера снова чужие о М.И. Читала их и думала, что для меня страшно долго молчали ее стихи. Не увиденное Нечто, обращенное в слова, а суть - в слове (не глазами - так все пишут). Но эти звуковые столкновения мне, одними глазами живущей, долго не открывались. Пока за каждым стихотворением не выросла длинная ассоциативная цепь и не встала Она во весь рост своей гордыни - из судьбы.

В холодных, надменных российских храмах царит тишина, в которую, как ладан, курится звук шагов в мертвую высь. Только голос, множимый другими, отталкиваясь от стен, несется вверх, делая поднебесную синь родной и ранящей. Так и ее стихи: их надо услышать. Позже М.Ц. подошла еще ближе в чужом (родном!) облике Галы, в ее полудетских округлых улыбках, прищуре близоруких глаз и порывистости, нетерпеливости ребенка. Галин заповедный край, весь из сказок и восхищений так похож был на описанный А.Ц. детский цветаевский мир! Столько совпадений до сушащего песка зрелости...

16/12. Мои письма во все концы страны, моя беда в них, мое утешение: беда - не вина. Сжатые до боли зубы, но все равно бедные слезы нищего, замерзающего и нагого в двадцатиградусном морозном дне у закрытых наглухо дверей. Как и знание четкое - мне эту дверь никто не откроеет. Некому.

17/12. Пока на М.Ц. мы еще смотрим в замочную скважину. Три-четыре книги воспоминаний, немного стихов. Двойники ее души, ее слепки еще в ЦГАЛИ. И, быть может, нам предстоит потрясающее открытие Ее, которое перевернет всех нас изнутри, оводом-Зевсом погонит прочь от кормушек и из спален - жить! О, какая это будет ослепительная Звезда! Так хочется дожить.

23/12. И горек, и нежен мой университетский год, сколько раз зажигалось (жгло!) сердце от людей, кровотока нежностью бессловесной, когда, затаившись, чтобы лишь не нарушить краткой гармонии, я - вся глаза, стояла в немом любовании или плакала от горечи этих затаиваний. Можно ли восхищаться человеком вслух? Но я же совсем не восхищаюсь, вернее, только в парении мига, но тогда я так нежно обнимаю, принимая всего человека сердцем, что я уже дальше всего от любования, я уже только любовь, хоть и на пылинку минуты. Сколько (не счастье!) было этих пылинок. Сколько раз останавливалась я, раненная любовью, в невозможности дышать и двигаться. Помню лица мужчин, женщин, глаза брошенных дворняг, яблоки и тополя, которых любила всей огромностью и краткостью жгучего чувства? Сейчас уже - нет. Но если бы именно в миг моей восхищенной любви этот человек вдруг надумал бы умереть, то объемящая и любящая его душа моя была бы так сильна, что не дала бы ему умереть.

24/12. У-у! Какой стылый был день! Зябнувший. Хотя утром еще капли, срываясь с карниза, попадали в стекло, и в мягком, комнатном, прирученном полумраке, разбиваемом стуком будильника, стояла плотно сбитая, ленивая теплота. И чувствовалось, что в узком, глубоком колодце двора, на самом его дне - весна, снег пухнет и чернеет, как труп. Декабрь.

Утром, отдернув с окна занавески, закрывающие туманный детский рисунок города и странноватую дорогу нашего лабиринтового дна, впила в нее глазами, хищно вглядываясь в фигуры всех идущих в направлении *к*, презрительно отшвыривая разные - *из*. И все, опущенное - внутрь, как топят на дне морей, в толще воды для забвения, все это - моя ничего забывать не желающая душа и острая пронзенность памятью запахов, звуков и прикосновений - все это подняло голову со дна, обратив всю меня в глаза и в слух. Уши настороже, как у волчицы: каждый шорох у двери ударяет в грудь, заставляя сердце гремять, каждый чуть похожий на тебя силуэт отшатывает,

словно властной рукой в грудь толкнули, от окна.

Странное сосредоточие наших чувств - у сердца, чуть выше, в самой грудной ямке, и выше, выше, словно кровотоком мучая гортань. Но когда час прошел, то, заставляя себя от окна оторваться, не удержалась на проволоке надежды и разбилась вдребезги. Те самые «сердечные дребезги...»

Странно, что лишь к двадцати двум жизнь начала открывать свои окна настежь, толкая меня к миру. А мир обрушивает на меня малые подробности бытия, переиначивает людей, пишет всеми стилями и красками и затопляет меня нежнейшей нежностью к деревьям, псам и котам, к полужнакомым людям. Только душа - как зверь - всегда (и все-таки!) настороже, словно бы она начала жить раньше мира, накопив горький опыт ушибов отдельно от него. Она, словно «Титаник», затоплена всеми хлынувшими в меня чувствами, затоплена, но не ранена - обязательное условие любви, ибо всякая любовь начинается и кончается раной, и мной почему-то всегда и ассоциируется с болью (эта вечная сжатость сердца: от разлуки до счастья обретения), с болью в один ряд ставится, как родственные понятия. Боль *за*. Короткая чужая ласточка боли - Жалость, в одном ряду с любовью стоящая.

Иногда мне казалось, что с этой болью, этой вечной жалостью сердца я рождена, ибо еще в раннем детстве ласточка и стриж (синий цвет восторга) неслись в моей душе рядом. И только теперь эту свою уязвленность любовью - с детства - я поняла, вместив ее в форму слова.

P.S. О господи, куда заводит наши мысли бумага!

Зима весь день жила остервенясь, нервно засыпая город снегом: невиданные огромные хлопья, словно мягкие, тяжелые ночные бабочки, беспомощно быстро летят в короб двора: иногда эта истеричка злобно швыряла влажный снег в лицо, всхлипывая полуоторванной подъездной дверью. Тающая Пенелопа, обманутая календарем! По теплой коже открытой шеи уже сползали в ложбинку ключицы тяжелые капли холода, и сердце, отбирая воздух у горла, на тонких постромках легко опускалось вниз.

Ниже, к кошачьему глазу зеленой воды, по узким,

ныряющим вниз головой тропинкам, через незабываемые дворы неспешного бытия и скоромного быта, всего этого скроморощьего существования, наскоро построенного, словно театральная декорация. Реальной была лишь светлая нагота влажных стволов тополей, упертых в горло неба, и сизый запах реки в вдовороте снега. Вниз - по высокогорной дороге сердца, не вздыхая - нечем!, единственно реальностью оставшейся, как клочок одежд для опознания, из двух лет летучей любви.

Еще ниже, в пучину, к черепашьей коробке моего одиночества, неизменной данности и реальности - неизбежной.

Стоп! Сигналит кошачий глаз залива, двоясь, обрастая плотью, шерстью, оборачиваясь заливом-оборотнем и гибкой спиной ласкаясь о мои ноги. Я беру его в руки осторожно (оборотень!), ладонями чувствуя мягкость и жар шерсти и сердцем - шерстяной рокот внутри кота. Но кот, с рук соскользнув, бежит вдоль, припадая к терракотовой влажной земле, быстро, и вот уже он - точка, и его не догнать, но гнаться и незачем, я знаю его дорогу и иду по ней невидящим шагом памяти - по слуху и по духу, почти бегу за... О как естественно было бы - щенок и побережье! Но был кот и двуединая кошачья порода памяти, неприручимая.

30/6 89. И над этим городом тот же великолепный (осаженный ветром) ливень. Все, что и есть моего в чужом неприятном городе - этот дождь и пара берез под окном. Мое, потому что ничье, потому что любимое долго, длящееся (вечное!) присутствие их рядом со мной, во мне. Потому что только они меня со всем остальным - мирят.

Ко всякому большому голосу я прислушиваюсь, чей бы он ни был.

Кого еще я слушаю, кроме голоса природы и мудрости? Голос всех мастеровых и мастеров.

Во всем, что не душа, мне нужен - другой!

В этом городе, где моего окна - нет, как и в этой стране...

3/7. Первая поездка за пределы города: дорога, одна бесконечная российская дорога мимо хат, стад - вглубь, из которой вынырнул и остался в памяти остов церкви, почти ручной, крохотный, без куполов, словно бы их листовое золото утекло в поникшие от зрелости и тяжести поля. Цвет - медвяно-липово-золотой с родниковой наледью васильков и цикория. Под низкими, сплошными, ржавой иголкой схваченными облаками...

5/7. Меня сейчас так много, что я боюсь человека затопить - собой. Я твоего письма не ждала - вынашивала его мысленно, будто младенца под сердцем, выпрашивала, и когда оно было в моих руках, мне показалось, что я из него каждое слово знаю. Это было мне как награда за одиночество.

Иногда кажется, что голова моя бедная расколется и от одного желания вместить все судьбы, поступки, отношения. Она сейчас - улей, мысли в нем - еще не набравшие нектар пчелы, голодные, разбуженные. Но какое счастье им еще предстоит - все цветы человеческой души.

6/7. Не хватает требовательного стука в дверь - требования меня в любой день и час, требования меня именно в этом стуке, потому что обо мне могут и забыть: на весь день и вечер близости, ведь они ко мне приходят требовать моей любви, не меня, любви как зеркала своих достоинств, тогда как моя любовь слепа и никогда их не видит. Следовательно, надобно во мне только и длится короткий момент стука, которого мне так не хватает...

7/7. Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно глубоким, кажется, так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слезы глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное воспоминание счастья, - женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского

забвения, - вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу - голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.

11/7. Командировка. Местечко Острый Камень, уже где-то внутри ранящее остро, слабый укол шпилья темной (запекшейся крови) церкви, кажется, стоящей не в полумгле кладбища - на дне озера. И в полуденном меде и золоте кажущейся - утопленной.

Зной, в нем, чудилось, горчил нектар в кулачках многолетних (столетних!) цветов, и ласточки отяжелели, к самому дну дна приникая, его руслу, сухому, словно скошенная пшеница. И я медленно думала, что вот если бы в жизни - хоть на месяц! - оказался человек, который бы никуда от меня не спешил, не потому что некуда, а потому что никуда, кроме меня, не нужно, потому что куда бы ни шел, ощущал бы, что его со мной, наше с ним важнее и больше того, к чему он спешит.

И еще в жизни своей в чудесном порядке чуда хочу - братства: честнее любви, роднее и надежнее.

13/7. Сон о каком-то доме, бревенчатом, окна в сад... Дом - корабль, дом - судьба, дом - чудо. Как у Олега Чухонцева... Этот дом для меня, этот двор, этот сад-огород как Эгейское море, наверно, и Крит для Гомера: колыбель и очаг, и судьба, и последний оплот переплывшая в шторм на обглоданных веслах триера. Дом, в котором парил свободно-счастливый миг: все могу! Над моей обреченностью любить и лелеять - невозможность.

14/7. Господи, какой от меда пудовый этот разнеженный июль!

Вчера по городу шла, от зноя ничего не видя, как собака - на слух, угадывая его по рокоту автобусов и машин. У старушки купила вишни. Худенькая такая старушка, вся в

темном, настоящая хохольская старушка. Руки рабочие, в морщинах. Почему всегда так сердце пронзают такие, такая старость? Потому что и в старости - не беспомощность, твердая способность дойти свой путь до конца. Без поводырей дойти.

Вся моя жизнь расплескивается, выплескивается на ладони листов. Дневник почти не требуется, когда в стихах все уже записано. Стихи - это всегда обращение внутрь себя, дневник - из себя. Но об одном и том же.

О, как хочу (всею собою!), чтобы нашелся на всем свете человек, который бы со мною всю мою страну исходил: от детства с его звездами и лошадиными (жесткими!) гривами до сегодняшнего дня, и чтоб не устал ходить, не разочаровался, ходивши. Открыть себя можно только так, все остальное будет - навязывание. Любопытствование. А его лучше - одиночество.

"Мой отрыв от жизни становится все непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью - обескровленной, а столько ее унося, что надоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!"

15/7. Целый день просидела в библиотеке: руки - в волосы, глаза - в строки, в полном изнеможении слушая чужие голоса, все их оттенки улавливая.

Я так понимаю Алю Эфрон - ей крест Марины достался с колыбели, у нее и своей судьбы не было не только оттого, что вся на лагеря ушла, а потому что при марининой безмерности и двух, и ста(!) судеб мало. Аля, потом уже в ее бездну заглянув (которую дочерям до смерти не показывают), потеряла и последнее право на свою судьбу. Мур это раньше понял, он хотел сам сбиться сыном своей матери, собой. Вырваться от этой юдоли захотел. Но это разве возможно?

А я сейчас по ломкому насту, как волк в погоню, лапы - в кровь, теряя след, несусь за этой судьбой, как на Роландов рог - не спи! Каждым прыжком дальше, потому что и оглянуться нельзя - некуда. Но я без всего могу (без

всех, даже - без Него), а без этого - нет. Она, верно, была вещунья, колдунья, всех, через сто лет по ее следу мчащихся, предвосхитила, словно видела, что помчатся.

Я в ней разгадку своего - с детства - сиротства ищу. Ведь она о душе - все знала!

И я так ревнива к ней, что ни с кем, губы закусив - до ненависти! - [делить] ее не могу... Только с ветром, злым, всем бунтарям сопутствовавшим, делить могу. Пугает, с ума сводит мысль о юбилее (1991 год - ей 100 лет).

Вчера у старухи покупала вишни, взглянула в полупустую корзину, даже покачнуло: прекрасное ахматовское лицо (с того снимка, где вся из углов) со дна с подтеками вишневого сока на щеках.

Да, господи! Если ваши газеты ни на что, кроме обертки, не годны, зачем им Ахматова? Они ведь и с Мариной это будут делать. Лучше бы, как О.М., - забыли. Значит, любили бы (тот, кто любит, не забудет!).

16/7. А сегодня проснулась от дождя: все отмыто, и запах густой стал, как хорошее вино. Чудо! Ухожу в него - бродить.

Добродилась! В дожде, под рябинами - вонючее, крошечное, глаза гноем залеплены, короча, нечто. Котенок. Взяла в руки: шерсть склеена, по ней - блоха на блохе. (Ох, уж потом и проклинала я того Левшу, который ее ковал!). Взяла, в сумке принесла в гостиничный номер.

Начала мыть - оказался в крови весь (только из-под матери? велик! Но почему даже не вылизан?). Потом я этих блох вымывала, выдирала - плачу, а выбираю.

Высох, поел - спит в шкафу на моих брюках. Но что с ним дальше делать?

Везет мне на бездомных котов! Или...

17/7. Нет, не место мне в их системе. Не место. А где же мое?

25/7. Почти кончается тетрадь. На полплотка осталось июля. Размываемого дождем, смываемого. И загорающиеся

рябины (сколько их здесь и какие!)! И конец практики. Странно: вынесенная за круг воронежского притяжения, я стала совершенно спокойна и... свободна. Я вернулась к себе самой после трех лет служения другому сердцу. Я, освободившись от чужой боли, парализовавшей свою, стала собой. И мне такой, свободной, своей, страшно даже подумать, что Воронеж может снова разбередить меня...

Будет ли это когда-нибудь понято? Но я настолько сильна внутри себя, что ничего, кроме моей души, этих дождей и рябин, мне не нужно. Воздух. А к человеку я прихожу с одним - любить. Ничего другого мне от него не нужно. Ни на что иное тратиться не хочу. Потому стою и смотрю, как они падают беззвучно августовской звездой - вниз, все, кого пыталась любить, от кого вспыхивала, кого любила. Пусть раздробленное мгновение, но в него, беспомощно-недвижимое, умирала от любви, и если не умерла, то лишь потому, что любила снова - другого, других... Не я для любви создана, а любовь - в моем сердце, мое сердце создала... Не я для, не она - из, а просто без всякой возможности выбора мне один дар - любить.

Не вздохнуть. Странное, беспомощное одиночество. В городе, который старше истории, старше старости. Растущем - из памяти.

Поняла окончательно - не умею устраиваться, продираться, там, где это необходимо, впадаю в полное безразличие. А вся газета - это штурм кабинетов для того, чтобы извлечь слабую дешевизну на газетном листе. Ненавижу! Как я буду жить? Где и чем?

10/8. ЛЮБИМ.

По преданию, любимое место соколиных охот Ивана Грозного. Лю-бим - любимый - любим. Надо же городу было дать имя любви! Имя, меня и за тысячу верст погнавшее, под ноги травой легшее, его часовенкой на дороге вставшее, его рябинами - непереносимо вспыхнувшее.

«Лю» - растянуто-сладостное, на полувыдохе, сведенными округло губами - «лю», и, как в пропасть бросаясь с

зажмуренными глазами, - «бим». Любим!

Город, растущий, как трава из земли, старый, покорный, безмолвный. За пять веков истоптавший улицы, забывший, что - город. Не помнящий уже себя городом. Торговые ряды, улицы высоких деревянных домов, резьба, отяжелевшие кистями рябины, самые разномастные кошки, и до задыханья - чувство безысходности, осенней российской тоски. Тоски не по лету, которое в этой северной стороне почти ушло с долгим прохладным зевком и дождями, тоски российской - от рыжеватой насытой земли и низких, словно в землю растущих, полей до обшарпанных стен, заплеванных, забросанных сором улиц, от разорения, запустения и обнищания. Тоски, равносильной любви, тоски сильнее любви, ибо она ничего не ждет: страждет и действует. Тоски и долга - ответственности.

Да, насыты, неказисты и неярки эти края. Но так мать потаенно любит из всех - меньшенького, слабенького. Это тоска матери о любимом сыне, несостоявшемся. Потому что только она знала, что ему дано было (сама давала!). Только она могла измерить глубину его нераскрытости.

Когда при мне начинают ругать их - чувствую стыд: мало дала, недодала, чтобы и они любили, как я, понимая, что любить так не будут: силой моей тоски, нежности, боли - не будут.

Ах, не ругайте за несовременность Торопец или Любим! В их округлых «о», в этих тяжелых темных руках, сумою оттянутых, судьбою оттянутых - юдолью, в этих улочках пешеходных, неторопливостью того века живущих, - последний вздох России века отходящего, бедности ее - бедственности - беды, горечи ее рябиновой, жара - Души!

Из Ярославля выезжали мимо кладбища: светлый, невысокий подшерсток, дыбом каменным вставший. Лес без одной ограды, без контура границы, словно конечности жизни тут дается утешение пространственной бесконечностью, уносящей воистину бесконечность и ничего взамен не дающей. Неограниченность ограниченности. И от этой-то без-границы разбегается вдаль, вглубь, ввысь - до слияния с небом поле, уравнивая

все, замыкая круг, давая уже всему бесконечность. Природный круг. Богов круг. Таинство.

Так и осталось: лежат мертвые, ногами в саму жизнь упираясь (так близко!), с этой жизнью в одну темноту опущенные (зерно), под одним богом дремлющие (солнце). Но - два разнополюсных магнита, системы с разными знаками: чем больше движения и ярости жизни в одном, тем страшнее навсегда вниз притянута, неподвижность других.

11/8. Глубокий вечер.

На дне - дождя, лета, одиночества. Ехали - плыли в плотных, косых (ветром скошенных) волнах дождя, продолжающего бесцветную необозримую - небо всей России, ее неуют. Плыли и плыли мимо легших на землю колосьев, словно от отчаянья упавших, мимо пик алебард - пиковых тузов остриев - шпилей черных елей, деревень, мимо всей российской бескормицы, незащищенности, бездорожья - не физического, размытой рыжей глиной топящего ноги, колеса, жизнь.

Из тяжелой, комьями, земли тянулась еле зеленая трава. Но откуда на этой земле, у такой земли такая тайная мощь - горький рябиновый жар? Откуда порой такие лица и глаза, точно всю жизнь за ее страдальчество печалившиеся, вдаль смотревшие, вглубь то есть.

Как из сна осталась картинка: место, бывшее жилое, потому что только по жилому ползет упырь-репей, на остатках жизни вымахавший - мне в рост. Среди репья дом, огромный, каменный с ободранным цоколем, со сквозными глазницами, не-жизнью сквозящими, разрухой глядящими, не-жильем. Кто в нем жил, почему здесь стоят такие дома именно в деревнях - на семью, на две? Кому они? Из этой разрухи - последним огнем любви и крови - рябина. И все водой смывается, как в библейском сне, уже в навсегда.

Закобякино. Шли туда вдвоем: Николай, проклинавший новые кроссовки, и я - на ногах огромные калоши, в руках - босоножки. Размешивая грязь, увязая, уже на центральной

усадьбе, с остатками торговых рядов, первое: как здесь жить? Ни травы, ни земли - асфальт, покрытый глинистым киселем. На бледных, невымытых стеклах магазинов, контор - мухи. Неуют.

На трассе, в машине председателя отогревались, на себя эту усадьбу примеряя. Он, осторожно, точно испугать боясь:

- А ты бы осталась здесь жить?

Вслух - категорично, в противоречие им предугаданному:

- Да!

Всему в противоречие. Из ненависти к тем, кто людям на всю жизнь в конце XX века ничего, кроме борьбы за выживание, не оставляет. Кроме первобытного круга: расти, ешь, расти - живи. Бейся и бойся - всего.

Когда выезжали из того неюта в городской, глянула с ужасом, словно из века минувшего перебралась в нынешний... за 100 километров дороги!

Осень - сентябрь - сень листвы,

Заговоренной дождем.

В склянке густой синевы

Вечера медленный бром.

Ворон к ворону летит...

Мы все живем под своей звездой, а он под своей кометой.

Герцен.

Август немощен, в него дышит сентябрь первым вздохом, не спасая, а стылым своим дыханьем отнимая у лета последнего сына, младшенького. Желтизной катящихся по асфальту листьев, небом выцветшим, зонтами и плащами, сменившими ситцы, крадется сентябрь - сень - о, сень!

Сентябрь - месяц самых горьких моих дат, рябиново-горьких, жарко-горьких: от жара любви. Месяц потерь, утрат. С тонкими иглами астр, глянцевыми боками яблок, ржавчиной листьев. Самой любви месяц, вспыхнувшей рябиновой кистью да так и горящей... Любви, пришедшей в меня, как вор. Вор - вороний - врать. Воронова крыла - ворона, в мою жизнь обманом влетевшего. Черно-красный месяц (Кармен!) горькой рябины и черного пера. Из всего обмана - последняя моя собственность, потому что не твоя,

тебе меньше всего нужная. (Нет душевного сходства без физического). По городам и весям странница, это сходство выискивавшая - в каждом, свидетельствую : твоих черт у живущих нет, твоей души среди живущих нет. Одинок. Своей единственностью, своим небом, которое тебе дано без права - хоть раз! - опуститься на землю - повториться. Даже на не-детей своих обречен, черный ворон, и пера на земле не оставивший. Чтобы тебя увидеть, нужно голову запрокинуть, хоть взглядом от земли оторваться: парит огромный черный ворон. Один. Не приласкать, не приручить, не пролюбить. Стой и смотри. Люби.

Но одна связь с землей у тебя все же есть - глаза. Травно-зеленые, молодого крыжовника цвет, опаленный чернотой рясниц. Все травы, все листья, тянущиеся к небу, помнят о тебе. Так и выискиваю - твою черноту в глубоких переливах агата, в вороньем грае, ночной безнадежности. И последнее - глухая чернота небытия, чернота могильной пасти (Аида) - будет твоей. Последним даром на земле между астральным переходом в твое небо.

Вран - врал. Но нет - не обманом вошел, я могла обмануться (оборотень!), но ты не врал - даже не снисходил. Врать - это ведь чего-то хотеть, зачем-то достичь. Не хотел и не достигал. Приходил и брал, как свое. И даже не брал, отдавали сами без единого слова, зачарованные. Не обман - чара, глубокое ночное «ч», ночи, чуда, че... Дьявольское.

Богов дар - в людях есть. В тебе был - его дар. Его не начало (ибо он - бесконечность), а водворение. Знала бы, с кем имею дело... Не знала. Чара была. Тебе призванность. Стояла перед тобой, ничего вокруг не видя, никого не зная, божьего мира не зная. Стояла и смотрела, и шла, хоть и не звал: как сомнамбула, мимо людей, сквозь них проходила, забыв все до этого любимое (что забыв! Уже навсегда - предав). И любовь ли это была с ее «желать» и «ждать»? Ведь не могла же я желать и ждать ответного чувства, потому что это было не чувство - чара. Даже неба твоего желать не могла, неба через пасть Аидову. Глотала слезы и дни - смотрела. Искала - в тенетах темных душ, в разбойничьих кудеяровых повадках, ножах - во зле искала. Зря. Злым

никогда не был. И если зло это вершилось под покровом твоей тьмы, вашей с ним тьмы - безнадежного покоя Вечности, то лишь потому, что опять же - не снисходил, даже не глянул ни разу на тех, кто покрывался его именем. И все же - не мог не знать. Не звал меня - да, не видел - да, но не знать! Вряд ли. Иногда посылал приветы, словно господин, невидимый, дарящий золушке, падчерице - подарки.

Одним дыханием гасил рвущееся в ночь пламя свечей, когда слишком в комнате засиживались, когда меня заговаривали, - напоминал. Мог бы и *не* - ни на минуту не забывала. Под крылом ночи всегда и везде шла свободно и спокойно.

- Как ты дошла, в такой час!

Берег. До самого дома - вел, зная, что через черную воду стекол стану смотреть на него. Как-то пролетел мимо нестерпимо горячей рябины, низко, чернотой этот жар отметив (недаром от огня всегда - зола и угли - черные). Так и осталось: красное и черное, кровь и крыло, любовь и ты. Зачем нужны были тебе мои глаза, одного тебя видящие? Не сердце, не голос - глаза, полные черноты, ночь отражающие, - тебя? Земные глаза, никак бы тебя там не упрочившие? Ни власть, ни сила, ни жестокость тобой не двигали, когда напоминал (а сам всегда помнил - знал!). Одиночество. Крест избранности. Позвать в него не мог, увести не мог, даже виду подать, что заметил, - не мог - пошла бы! Оставалось одно - тебе обо мне знать. А мне на тебя - через всех смотреть. И вот сегодня, когда зрочки мои отражают только небесную синь, в которой и капли чернил нет, когда ты своей волей чару снял, освободил, догадка: а если наш молчаливый союз, крест одиночества, если эта чара без единого желания (кроме - видеть, знать, что есмь), без единого движения навстречу есть чистейшее пламя самой любви, той любви? Когда одной сущности - достаточно. Ничего кроме и сверх. Что если ты, его избранник, меня так любил, как никто уж больше, - одну из всех, так любил, что увести не захотел, так любил, что приблизиться не смог, как и я? Астрально. Душа - зрочки, на дне которых моя душа.

13/8. Непроходимое одиночество. Ни к одной душе не пройти, не подойти. Одна.

Читаю пушкинские дневники: боже, какое непоправимо земное! Сплетни, анекдоты, рассказ, как N примерял костюм и т.д. Самая обыденная, округлая жизнь без одного угла. И как мог от этой земли отрываться, когда писал? А тогда - все мог!

После Пушкина ходила по городу - страдала. От всей его красоты и старости, и памяти. Что мне все это, когда во всем городе ни одной души нет, чтобы окликнуть? Некому радоваться.

14/8. ИСАКИЙ.

Исакиев было три. Исакиевский собор - Исакий, темный, угрюмый, златоглавый, самый нерусский собор, иноземного звучания громада на блеклом петербургском небе, словно вклеенная чужими руками на полувывцветший шелк. Как последний врубелевский портрет Брюсова, где он из всего цветисто-наивного фона - выламывается. Брюсов - Исакий - родство тяжелой громады стиха, отшлифованного и рассчитанного до последней рифмы и строгой правильности, вымеренности пространства собора. Темное, тайное, тяжелое величие ограниченности. Давление потолка и там, и там ощутимое - физически.

Второй Исакий был тоже... собор. Вяло-серого цвета с блестящим железом куполов. Страшный, странный, заблудший, из смещенных расстояний, из провинциального уюта и тишины, лебедянской крапивы-лебеды плывущий пасмурно-серебряным лебедем. Откуда в тихой, смиренной, купеческой Лебедяни вырос второй Исакий? (Точная копия). На вопрос этот так никто и не ответил. А храм стоял, как сон, нездешний, неспешный, даже и в значении овощного склада величия своего не потерявший...

Третий Исакий вышел из липкой серости дряблого, застуженного утра. С зонтом, привязанным к длинной палке, в невозможной, полудетской курточке, с книгой в руке - путешественник? Из ничьей земли, вечный скиталец не по землям: из книги в книгу, от души к душе. В мир, где

он - такой взрослый, с таким огромным умом - живет весь, оставаясь в этом почти ребенком.

На его кабинет в редакции (единственный - без единого опознавательного знака) набрела. Отыскивая, кажется, кого-то, ведающего гранками и запятыми. Так набредают иногда на последний дом или тополь, так случайно скучающие глаза застывают на строках, так - случайно, никогда не от поиска, всегда, как дар, - открываешь именно ту дверь. Того человека.

Он сидел в огромном старом кресле, черкал листок с надписью «макет» и ныл. Точнее - выл. От растущей белой стопы правительственных материалов: смотрел на них невидя, ненавидя, и - выл. На последнем причитании, окончании: о-о-о! - оборвала. И он, совсем спокойно, свободно, будто обрадовавшись возможности от своей мертвой горы оторваться, обрушил на меня двухчасовой разговор.

О часах вспомнили позднее с сердитым ропотом редактора по - еще несуществующей! - полосе. С удивлением: а разве уже два часа? О чем же мы столько, так..? О каучуке. Можно или нет делать его предметом поэзии? Вернее, каучук был предлог, материальная жесткость, упругость для воспарения. От нее оттолкнувшись, парил и царил в мире, ему открытом, как своя ладонь, где каждая тропа своей ногой выхожена, каждый темный угол своими глазами высмотрен. Повторить его речь? Невозможно! Полубред, неостановимый (невосстановимый), лирическое бормотание, уводящее собеседника из века в век, из страны в страну.

В его кабинет приходила с тайным жаром (любовью) и открытой робостью. Не от его замредакторства - этой субординации никогда не ощутила, от вечной ступени между Учителем и учеником. От тайного, страстного поклонения «уходящей расе», почти страдая от его необычности - от невозможности вместить. Приходила не учиться: разве мог научить своей обращенности к звездам? На это нужен - дар! Приходила - слушать. Как зачарованная.

Впрочем, иногда учил. Приходил ко мне, опираясь на

тяжелую палку, постукивая ею по дереву паркета. Раздражаясь:

- Почему Вы, Алена, свой материал не дострадали до обличения?

Я, почти беспомощно, лопоча вялые оправдания, стою. И просяив:

- Да ведь это - прошибать лбом стену!

- М-м, гм-м, - через постукивание палкой, на этот раз совсем уж угрожающе, кажется - побьет!

- В молодости полезно пробивать лбом стены. Хорошо помогает для укрепления лба!

Странное было учительство. Без малейшей попытки меня по себе раскроить, без единого вторжения в пределы чужой души. Поиски одних только созвучий со старательнейшим обхождением всех выпадающих, несовпадающих строк. При высоком титуле Учителя это был странник, спутник вашей души, которую вы перед ним, подчиненные чаре, раскрывали. И которую он, казалось, и не замечал, от которой, думалось, уходил прочь. Выходило - к вам. Ах, на это тоже нужен дар - бережения!

Сам ребенок, непрактичный, беспомощный в житейских делах, он меня от своих оценок - берег, от суетного шума берег, от жизни в самом последнем ее значении. О друге друге почти не спрашивали.

Знала, что одинок, в своем одиночестве несчастен и стар. Стар своей памятью, сущностью: много жил, сильно жил. Стар в том, четвертом своем измерении, стар, как камень, оставленный языком ледника. И даже не несчастен - не счастья у него не было, а души рядом с таким же стремлением к звезде. В его странничествах за ним - не попевали.

Наше с ним одиночество было - родство. О котором уж ничего не надо говорить и спрашивать.

- Ах, Алена, зачем вы тут битый час со мной, старым, сидите, шли бы к молодежи.

И тут уж я, даже не дав закончить, взвизывалась:

- Ей и с самой собой скучно. А мне с ними с-ку-ч-но! (С таким вот длинным «у»).

Но, милый Исаак Моисеевич! Я, из всего материального

любящая только неоспоримо старое, из живущих - только блестящие умы, канувшие или уже на пороге стоящие, Вас любила не за старость, которой в Ваши 43 у Вас физически не было, за суть, за есмь, за не потолок - небо над Вашей черной, без волоса седины, головой. За Вас.

Однажды, слушая его очередную импровизацию на тему «Борис Леонидович Пастернак», дождавшись, пока в изнеможении не откинулся на спинку кресла, осторожно:

- Исаак Моисеевич, да почему ж Вы всего этого не пишете? Просто греховно распылять по миру сокровище.

Может быть, он, очнувшись, меня тогда рядом с собой увидел? В который раз? Впервые? И в своем кресле устав, встал, мне - грозно и горько:

- Да какую же наглость надо иметь, чтобы в стране Гоголя и Достоевского пи-са-ть!

Думаю, отговаривался, меня от этого - уводил. Не мог же, всем другим оставляя право после Гоголя писать, у себя его отнять. Думаю: и писал, и когда б попросила очень старательно, даже и показал бы.

Не посмела. Его границу так и не переступила (а зря!).

Так или иначе - книга была. Всякая его речь была страницей, час за часом ее листая, можно было прочесть главу.

Как-то, опаздывая в редакцию к назначенному часу, влетев, изумилась: двери - настезь, в кабинетах - пусто! И, открывая свою спасительную дверь, заглядываю приветствие - вокруг кресла Исаакия вся молодая журналистская братия ловит, распахнув глаза, за ним, в его страну устремленные, каждое его слово. А он, шагнув в свои неистощимые широты, уже и не видит тех, кто идет вслед. Почтительно прикрыв дверь, кидаюсь к первому попавшемуся живому (в этом царстве уведенных за волшебной флейтой, зачарованных):

- Что же происходит? О чем он говорит?

Тот со всей непочтительностью непосвященного:

- Пришли к нему спросить о каком-то газетном пустяке.

И вот - никого нет!

Оказалось, говорили о Данте! Как я потом жалела - целая глава из книги была выпущена.

Кто-то однажды рассказывал мне, что речь Исаакия была совсем невнятна, он заикался. Слушала, как о чужом человеке, потому что всего этого никогда даже и не заметила, казалось - не только не заикался, не спотыкался, а галопом несся по чудесной российской словесности, сам ее детище, ее баловень. Речь его была - мысли и мысли, впрессованные в образы.

Никогда не оспаривал. Брал за руку и уводил с собой. Не убеждение - увожение.

- Зачем, Алена, Вы отрицаете политику как одного из китов поэзии? Поймите, что она, конечно, выражена не в зарифмованных постановлениях ЦК. Но даже полет снега можно описать, отразив время, эпоху. Дух. А выше этого никто не стоял. Ни Державин, ни Пушкин не боялись конкретности политических установок, они жили в том веке, они писали его. Это позже символисты уходили от всякой привязанности к земному - и не уходили ни от чего. Вы еще мало знаете стихи...

И неужели французская революция и ее последствия, оставшаяся в томах не только посредственных писателей, достойна отражения более, нежели наша? А этот вождь, демон, темное водворение зла, неужели же не будет мощи пера, достойного его понять?

Тайна ведь в том, что поэт из знакомого и всем доступного создает миф. Не придуманность, а обобщенность, которая уже и останется на века. Сознание наше творят не постановления. Его творят мифы. И даже если он в чем-то не совпадет, мы примем его, потому что он - последнее приближение к душе, ради которой все постановления и должны бы писаться, но о которой ни один из пишущих не помнит и на своем смертном одре. Помнит другой - поэт. Он - творит. Историю души века. А Вы говорите - политика...

Что я сейчас делаю? Пытаюсь неуклюжей рукой подмастерья записать мастера. Могла бы, записала бы всю его книгу до последнего слова, раз сам так к ней небрежителен. Не могла - для того нужно быть ему вровень.

Напоследок меня - задаривал. Сидя на его подоконнике,

внимала и внимала его речам: за спиной сумерки смывали лиловой тряпкой город, лица его в серебристом тумане вечера уже почти не видела, а он говорил, вел через лесные чащи, полные таинства, через чужие города и веси... Сколько бы это могло длиться, если б не вмешивалась жизнь? Когда бы мерзлым страшным пальцем неизбежности не грозил мне отъезд? В последний час, вынимая из своей необозримой сумки (в которую все ныряли - за книгами) томики стихов, словно стесняясь жеста дара, мне, действительно заикаясь, их протянул, отговариваясь:

- Ах, Алена, мне показалось, Вы не очень хорошо знаете их... (Что не знаю! В глаза не видывала!). Этим жестом, этой явной робостью на миг не уравнив - уроднив меня с собой. Не одного ствола - одного корня, однокоренные. Именно потому тот, первый разговор и начался с полуслова приветствия, что нюхом почуяли - родство.

А последним встает почему-то в глазах его первое в моей жизни водворение, появление этой фантастической фигуры путешественника с сумками, палками, зонтами, книгами.

Шли от остановки к редакции под ударяющими волнами дождя, как прибой в нас бьющимися. Мой спутник вдруг, завидев впереди фигуру Исаакия, извиняясь, сказал:

- Это наш Исаак, Леночка. Мне серьезно нужно его догна...

И, оставив меня, на полуслове в серые волны бросившись, поплыл к уходящему Исаакию. От меня к нему - уплыл. Шторм ли был силен, пловец ли слаб, но рука Исака уже ручки двери коснулась, а тот все еще не догнал. Вспоминая этот эпизод сейчас, знаю - и не мог догнать. Его во всех дальних и тяжелых странствиях в этой жизни не догонял никто. Так и остался: одинокий, под негодующим дождем, идущий и идущий пешеход по своей дороге к звезде. И мы - бегущие ему вслед. В полной невозможности - догнать.

23/8. Липецк был состоянием жаркого и яркого творчества, отяжелевшей от строк и мыслей радости. Словно пчелиногудящий улей. (Я этот блаженный июль, от зноя и меда пудовый...)

Ярославль с холодом отринутости от общего хода жизни и осенней мокорью, липкой до одури, меня смывает своими дождями начисто. До зеркала черного асфальта с желтыми листьями липы, похожими на маковки сказочных ярославских храмов.

Церковь в лице многих рядовых своих служителей сможет сказать народу именно то слово, какое необходимо ныне для спасения нашего общего земного Отечества. А вот будет ли способен народ услышать это слово, зависит от отношения руководящих кадров к церкви и от духовной зрелости народа. Священнослужители и монахи немало сделали для облагораживания народной нравственности. Церкви и монастыри были рассадниками культуры и просвещения. Монахами были величайшие писатели и просветители, мыслители, церковные и общественные деятели Древней Руси - Нестор-летописец, Антоний и Феодосий Печерские, Андрей Рублев, Феофан Грек, Сергей Радонежский и др.

30/8. Любовь, особенно большая любовь - состояние, которое не может длиться. Оно предназначено для того, чтобы соединить двух людей; для того же, чтоб двое могли оставаться в соединении, любовь должна закрепиться на другом соц.материале.

Первоначальное чувство - совершенно беспримесное - попробуйте мысленно продолжить до бесконечности. Вы получите сразу трагическое, никуда не ведущее напряжение, которое граничит с необходимостью катастрофы. В «Прощай, оружие!» - большая любовь, ни во что не переходящая (этот ребенок, которого они рожают, им ведь совершенно не нужен). И скоро мы начинаем понимать, что это не может не кончиться и не может длиться. И когда Кэт умирает от родов, мы понимаем, что это еще не самое страшное, что там могло случиться.

Так любит человек безытнный и изолированный в мире, где все движущееся (например, война) угрожает ему уничтожением, а все стабильное и спокойное угрожает пустотой. Любовь же несет иллюзию эквивалента мира единственному человеку.

[Октябрь] Ночной солженицынский ужас - фактов, имен, событий. Кровавое ристалище власти, оторвав взгляд от которого, губами только одно: не-на-ви-жу! Ничто в мире не стоило столько жизней. И никто - ни один человек мира (разумный!) ни ради какой идеи (а просто ради - часа сего), не мог... Мог. Эпоха тьмы, ненависти, слез, варварства. Все могли, ибо была сила одного - власти. Власти ради и убивали, оправдываясь будущим и не думая, что будущее, выплыв из крови, содрогнется от мерзости. Была ли в истории хоть одна равная идея, равная на гекалитры крови - больше измерить нечем?

«И тот, кто сегодня поет не с нами, -

Тот

против

нас». (Маяковский).

Боже мой, как страшно с таким даром *служить* даже такой всезаглатывающей идее, как эта. Думал ведь, верно, что говорит за народ, ведь должен же был за этот молчащий, как рыба, народ кто-то говорить! Но никакая идея ничему не служит, она - единица самостоятельная, ни для народа, ни народу. Маяковский стал служителем идеи, поэтом идейным, а не народным. Поэзию - птицу души - заставить петь о классе? Для класса? Рифмовал бы тогда строчки постановлений ЦК (наш спор с Исааком!).

Но ведь когда любил, уходя от всей политической грязи, тогда мог все!

(Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил).

Г.Иванов о Блоке.

Д.Андреев.

Блок еще в начале века провидел и прочувствовал хаос и жуть, уложенные в нашу систему. Он стоял на дне бездны, тогда как Лермонтов только лишь на краю ее. Лермонтов лишь смутно догадывался о чем-то. Блок - провидел. Не обозначая ничего материально и вещественно - знал.

Зная, был детски-беззащитен. Порода нерешительных ангелов, отвергнутых богом и не принятых - туда. И уж

совсем без тени сожаления в принадлежности к черной масти - Лермонтов. Жгучей, беспощадной масти страдания и решимости. Может быть, потому, что знал, что за ним стоит?

И Блок - ничьего лагеря. Один.

Что быть бесстрастным? Что - крылатым?

Если сердце хочет гибели,

Тайно просится на дно...

На дне уже был, а просилось сердце за него, в глубину вечной черноты, куда не брали, как, впрочем, и в лазурь, к крыльям.

Как я жила - годы с вечносведенным сердцем? Откуда у меня брались силы улыбаться тополю, солнцу? Неужели же одно - чувство необходимости кому-то?

ЕЛЕЦ

Странно, что собрали всю нашу дружбу - в одно, всех бродячих, бездомных, изредка залетающих на огонек - соединили. Утром, наливая в термос кофе, услышала их шаги еще в коридоре и, улыбаясь блаженно: - наконец-то! (Неужели все вместе? - про себя).

Олег с Димкой запаковывали какие-то сумки. Светка пила таблетки, а я, как во сне, боялась поверить, прикоснуться ладонью к реальности дня.

И уже в автобусе, читая Олегу какие-то строки, вздохнула полной грудью, чувствуя, как ослабевает напряжение внутри, как отпускает меня от себя этот город, снимая свою бетонную плиту с груди.

Ехали, не заботясь ни о билетах, ни о гостинице, грызя яблоки и светлея от улыбок друг друга. Господи, как же давно мы не были так - вместе!

В Ельце, на его старых улицах (Олег - коммунисты не досмотрели, не разрушили!), в перевернутом времени шли, как сомнабулы, гремя бутылками, термосами и рифмами.

В гостинице - слабая имитация терний - мест нам не дали, от обиды пошли в городской парк, на маленькие качели, стоящие напротив окон пединститута. Холодный ветер залезал, словно котенок, в сухие листья и леденил пальцы, а мы пили кофе и водку, жевали бутерброды и в

своем кратком единстве были непростительно счастливы. О чем-то шуршал ветер, били часы на башне, я подошла ворох листьев, и великолепная белая грива дыма опутала деревья. И была рядом тишина легкого субботнего дня, его медлительность и беспечность.

Потом, смешные, счастливые, ходили по елецким музеям, говоря, верно, что-то ужасное, шумно рассматривая почерневшие бердыши и непозволительно разрушая почтительность пустынных залов. Пусть простят - мы ворвались вместе с ветром, единственным нашим поводом, мы, забывшие, что такое дом и покой, - в тишину этих залов не умещались. Присмирели лишь в разрушенной церкви, куда в полутьме шли со свечой, выше - поднимаясь по разбитой лестнице на звонницу, а там молчали, слушая, как запеваает ветер и тяжело режут воздух черные вороны крылья.

Очнулись от колокольного звона - единственный действующий елецкий собор звонил вечером, и к ней шли обессиленные, смиренные. И крестящийся размашисто Димка, и молчаливый Олег - все ушло, в который раз с таким вот израненным сердцем я приходила к этим темнооким инокам, к легкому ознобу свечей, к бесполезнейшим просьбам помочь и тихим голосам, поющим славу вечному человеческому страданию.

Верно, большой грех - просить у Него света и дороги к тебе, но просила о мечтанном, а это не сбывается никогда, как не повторяются судьбы.

Выйдя вон, всю темнеющую громаду собора обошли, чувствуя запах не остывшей еще реки и шорох плакучих ив у могил. Шли навстречу соскучившемуся по нам ветру, лизавшему нам руки, будто щенок, а замерзнув, грелись в крошечном кафе. Ребята взяли капусту с котлетами, открыли термос с вином, и мы, обалдев от голода, жевали свой ужин, запивая его прямо из общепитовских стаканов, не таясь.

Может быть, я сильная, мне никто не нужен, я могу и одна, ни с кем, ведь в круг моей души все одно никто никогда не ступит.

16/11. Сегодня выпал первый снег. Первая линька ангелов.

Сон. Ты идешь со мной рядом: рука в руке, ведешь меня куда-то против моей воли. Мы проходим мимо всех, мимо нее, и даже бред подсознания не дает забыть, что этого никогда не случится - невозможно! И от чугуна безнадежности - просыпаюсь.

И тогда остывшими, как первый снег у заборов, губами: зачем ты приходишь ко мне сиротскими, холодными ночами, ты, так счастливый с *той*? Зачем твоему беспощадному вороньему одиночеству нужна еще и моя душа?

Рано утром во влажных сумерках долго стояла на остановке, глядя, как из последних сил втискивают свои тела в переполненные автобусы люди, чтобы увезти их - на службу и привезти обратно - для сна. И снова - такое нищенство эта наша нормальная жизнь! Так и простояла два часа, всюду опоздав; на ресницы мне падали мохнатые бабочки снега, руки совсем остыли, а мне плевать было на все, кроме этого тумана и снега, и одиночества в моем сердце.

По застывшему, зачарованному саду шли со Светкой, пронзенные холодом, в легких пальтишках, без шапок, к такому стабильному, солидному зданию «Коммуны» с виражами карьеры, женами, машинами, гаражами, любовницами, и я, соотнеся нас со всем этим бараклом, с длиннейшим зевком: «ску-у-чно!» повернула назад: к свечам, ночам, дешевому сигаретному дыму, разговорам и истрепанной родной тетрадке. По дороге купила большие рябиновокрасные яблоки, холодные, жесткие. Одно несла в руке и, уже издали завидев возвращающуюся Светку, посигналила ей яблоком, нагретым, кричащим, радостным.

Все смешалось: ноябрь с мартом, снег с грязью, слезы с дождем, мешаясь, капнуло в мою жизнь - ручьями слез от полной безысходности моего сего часа и сего дня. После маминого: «Я уже почти не могу ходить, только чуть-чуть», я на полный рост падения души ощутила ужас потери,

осязая, как выскальзывает из моих ладоней какая-то, казавшаяся столь прочной, нить, подчас становившаяся канатом, меня из пропасти поднимавшим. Единственный раз дающаяся нам нить - дочерности. Я с этим «чуть-чуть» каждый день начинаю, словно с ней рядом беспомощно-мелкими шажочками, умоляюще: «Ну еще чуть-чуть, еще шажочек, еще денечек. Только - живи!» И я об это «чуть-чуть» разбиваюсь сильнее, чем о скалу, потому что оно меня возвращает к реальности и безысходности. О, мама, моя неизлечимая боль! Так долго ждала, пока вырастем, потом - когда пойдем, когда придем, так и не дождавшаяся (как любая мать), так и не разрушившая своего одиночества.

Светкин сон на манер Кафки, рваный, страшный. Будто нас приговаривают к расстрелу - безоговорочно, и пытаются расстрелять, и не могут, а потом помещают в какую-то комнату типа бани и снова пытаются умертвить, и когда уже из нее выходим, то Светка со свойственной ей простотой: «Ну хватит уже убивать нас, хватит!» На чем он закончился, не помню...

[13/12] Если бы я владела набоковским даром описывать состояние... Странное, непредсказуемое, тайное. Мы были в больнице, и циничный усталый хирург показывал ожоговых больных, заставляя делать им перевязки. Он обнажил мясно-вздутую рану, дал мне в руку корцанг и почти крикнул: «Перевязывай!» Все наши изнеженные девицы попятились с тихими повизгиваниями. Первый порыв - не делать, взорваться. Но - вопреки, назло, беру бинт, наклоняясь над этим развороченным мясом. Под брезгливыми взглядами - бинтую, бинтую.

14/12. Чем дальше, тем больше хочется мне уйти - глубже и глубже, в себя, в ночь, в мир. Но не к людям. Я, как ударом тока, вся захвачена дрожью этой драмы, и из всех мне нужны только двое, два ее героя. Не могу рассказать никому, у слов тоже есть тайна, как у чувства. Здесь - тяжесть двойной тайны. Когда ни слово, ни чувство

не хотят быть сказанными (тайна души?).

16/12. Утром лил дождь. Капли его медленно падали в сон, наполняя его тепловатой водой. Я проснулась и слушала блаженно, долго-долго мартовскую перебранку капель. И было грустно, что кончается год бездарно, год моей потери, разлуки. Страшный кусочек в две недели - предновогодье, когда хочешь придать году жизни хоть какую-то завершенность и... бесполезно. А может, лучше всего, правильнее - лежать и слушать мартовские голоса в декабре?

Как бы хотелось, затаенно и сильно, в новогоднюю ночь остаться совсем одной, со свечой и тетрадь. Верно, хорошо бы думалось и писалось в такую ночь!

Странно, мне все тяжелее разговаривать с людьми и легче - с дневником, ведь он - двойник моей души. Я даже письма перестала писать, все - ему. А сегодня вечером внезапно, стихийно пришли ребята (Олег и Эдик) с вином, и впервые во мне шевельнулась обида - что ж это, никогда никто просто - поговорить, спросить, помочь. Только одно - пить. И бестолково терзаться нехваткой, и дергаться, и... Когда все расходятся, то ничего, кроме усталости и облегчения - ну, все! Никто из них никогда не приходит к душе и, присутствуя, отсутствует напрочь. Мне так больно было понять это. После ухода - плакала.

20/12. Не спрашивайте меня ни о чем! Господи, что за мучительнейшая жизнь у моей души! Рано утром села в заспанную «тридцатку» ради того, чтобы увидеть бледный свет окна, всколыхнув все - непоправимо. Приехала слишком рано и где-то бродила в морозной, ломкой мгле. Что-то вдруг выпрямилось, царапая душу, понеслось, мне странно было увидеть людские глаза, слышать их голоса, я бежала во дворы, закоулки, тупики. Куда я несла свое расхристанное сердце?

27/12. Мир считается творением божьим. Демон - его

бывший возлюбленный ангел, оклеветанный и отринутый. Высота трагедии бывшего. Неперекрещивающиеся параллельные любви и нелюбви.

Демон в своей отвергнутости на мир не покушался (а мог бы!), ни на одну травинку и былинку, ни одной твари земной зла не делал (и после этого - демон зла?), никакой беды на человечество не насылал (а сколько было наказаний божьих!). Он был в стороне, вдалеке, в одиночестве и холоде, залюбленный ранее - забыл последнее тепло любви.

Что же он делал? Искушал? Нет. Кажется, он хотел разделить свое сиротство. Но с кем? А кто в этом мире был так же забыт? Душа человека! Демон совершенно бескорыстен, ему, кроме души, ничего не надо, к ней он и идет, приближаясь выше края человеческого. Ближе его - никто. Не темные, тайные порывы зла он диктует. Он и совсем ни с каким земным злом не связан, оно его преследовало с того самого мига проклятья и низвержения, но ведь с самого начала оно шло не от него. Он судьбой человека не владел, а только душой. И все беды, канавы и раны - не его. Но есть особые, избранные, обласканные его взглядом. И напряжение этой избранности - в их нечеловеческой власти над душой.

Не доверяй свою жизнь литературе. Ведь все произведения и пишут оттого, что не знали и не знают, как жить.

Мне несчастье нужно, как бич. Обыкновенный характер, чтобы придать ему значительность, судьба должна выбросить из рамы маленькой и спокойной жизни. Чтобы осуществить свой высший замысел, она будет преследовать меня несчастьями.

7/1 90. В который раз - Булгаков. Его дьявольский дар, его последняя тайна - слов. Мне иногда хочется попробовать их пальцем, они ведь словно живые, и такие обычные. Но вот в сотый раз: и лунная река, и любовь, и храпящие черные кони. Что нужно было знать, чтобы это - жило?

Мы 70 лет жили оторванными от мира. Больше того - система нашего образования закрывала нам любой путь общения. Современные духовные достижения были нам недоступны и потому неинтересны. Да, оставались и Платон, и Шиллер. Но за ними не было очень важного - языка, страны, истории, выпадали пласты культуры, не держали сваи, дом, построенный из обломков леса культуры, не стоял. И ведь мы рождались и росли в таком доме, дышали его затхлым воздухом. Мы - страшные уроды от культуры. Радиационные мутанты духа от излучения социализма. Бедные мы, бедные, как же теперь жить дальше?

Ленин... Сталин... Какая разница, какие лица у фигур истории этой страны. Не они не могли появиться, потому что не вложились бы в программу. Здесь любая случайность была исключена. Для выполнения сатанинского замысла требовались такие фигуры, необходим был террор, чтобы заставить играть в их игру миллионы людей. Таким образом, истребление было заложено самой идеей. Ведь надо было - покорить, утратить, заставить подчиняться. Не Сталин стал виновником террора, в большей степени он же и был его порождением. Программа требовала такого исполнителя и таких мер. И любой другой, борясь за идею, исполнял бы так же.

Мне кажется, нам просто стыдно признать свою невытравленную холопскую сущность, которой было все равно от века, под чьим игом жить - татарским или советским. Нам страшно было свое рабство - назвать. А причем здесь, собственно, Сталин?

Простите, дорогие мои странички. Я не могу положить на вас страшную пустоту моих дней. Потом...

(...). Почему-то понравились первые стихи в трепаном томике Вознесенского:

Отчего в наклонившихся ивах -
ведь не только же от воды, -

как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаясь, поверя, -
ведь не только же до звезды, -
посвящаемый в эти деревья,
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, -
ведь не только же от любви -
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

и

Мы живем между звездами и пастухами
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.
Нам в стекло постучали:
«Погасите окно - нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну,
из двух разных светил выбирайте одно.
Чтоб в саду расцвели гефсиманские дикие вишни,
погасите окно.

Мы окно погасили, дали Цезарю цезарево.
Но сквозь тысячи лет - это было давно! -
пробивается свет, что с тобой мы зарезали.
Погасите звезду - мне не видно окно.

1990 г. 10 лет до конца второго тысячелетия со дня рождения Христа. Человеческие страдания начались не с него и не им закончились, даже в минуты казни он был не один (Дисмас и Гестас). Но через него было осмыслено высокое назначение муки - возводить души к небесному порогу, раскрывать их в божественном замысле. Вот и думай после этого, что мы рождаемся для счастья.

С утра до вечера - лавина информации: от рассуждений экономистов до ерничанья сатириков. И у всех только одна подпорка, гамлетовское: «Быть или не быть?» - державе. Жаль, что положение м.-л. диалектики о роли масс не стоит ни гроша, как бы сейчас эта роль пригодилась, потому что больше уже ни одна личность, похоже, не спасет страну.

Или: монарх, облаченный абсолютной властью. Но это будет кровавый диктат. Хотя у истории: или - или. Хочешь страну или свободу? Выбирай.

Все мужчины от рождения до самой смерти - дитяти женщины, и им всю жизнь от нее что-нибудь нужно, и они никогда не отдадут ей то, что берут.

Мир сотни лет смотрит одни и те же трагедии. Разнятся лишь декорации и действующие лица. Все мы чувствуем очень похоже. Почему же нам так трудно понимать друг друга? И еще труднее - любить.

Конец февраля. Ворчание грома. Серое, тяжелое небо, куски размокшего снега и тут же - ливень. Теплые, живые ветки и бред почек. И мне жаль измученной людьми зимы.

Что может быть жесточе человеческого разума? Его не мог создать бог, ибо не мог дать столь разрушительную силу своему творенью.

Спорное утверждение (но верное для меня): величайший роман Булгакова - «Белая гвардия».

Он да еще Марина Цветаева оплакали и оставили нам уникальное явление России и ее духа, а для этого нужно было быть сильными. А серебряный, перекатывающийся в горле, изу-ми-тельный язык! А темный, тревожный, живой Киев! А комнаты Турбиных! Перелистни, вдохни - чудо, чудо, чудо.

Роман, который я не читаю - вижу и слышу, как Максудов видел свои фигуры в крохотной светящейся коробке.

Который перехватывает дух, как морозный воздух черной

высоты и тоска расставаний. Роман, от которого жжет у сердца.

25 февраля. Прощеное воскресенье.

Я помню утро с мига распахнутых ресниц. В открытые, сонные, ошалевшие глаза рухнуло солнце, мир вспыхнул и не погас, а плыл в окне меж вербных веток - осиянный, влажный, протяжный. Словно небо сняло февральское серое заклатье - до ноября.

Боже, как хороши первые, солнечно-голубые прохладные дни, не измученные, легкие!

Я улетала в Воронеж, и на душе было страшно спокойно. Я улыбалась солнцу, ветру, дышала пряным запахом земли. Лягушачья шкурка влажного асфальта переливалась нефтяными разводами, и было страшно серьезно чувство уходящего мига и щемяще дорогого.

Нет, нет, есть еще один дом моей души, тоже ее растивший и принимавший - люблю. Маленький, затерянный, чуть заспанный дом моей бабушки. Но это всегда возвращение, поворот назад, я оглядываюсь на себя - ту, тоскую, блаженствую, жалею и люблю, но я там не живу.

И все-таки две березы в окне, тридцать лет назад посаженные отцом, отполированные прикосновениями рук бревна, черные заросли терновника и обнажающаяся в полях рыжеватая земля - это, может, больше, чем жизнь. Это - душа.

Бабушка вышла проводить меня, но, заскользив по февральскому хрусталу, остановилась, выдохнув: «Помогай тебе бог!» Я уходила, часто оглядываясь, а она все стояла, смотрела мне вслед, и был в моем сердце миг огромного горя разлуки, когда еще чуть-чуть и - останешься от невыносимости помнить заплаканные родные глаза. Сколько лет живет моя бабушка одна? 14 или 15?

Я не малодушничала. Никто из вас не мог заглянуть мне в душу, угадать мою боль. Только я сама знаю, чего мне это

стоило.

И ты - ничего не узнал.

28/2. Сегодня было первое, нараспашку открытое окно, в которое вместе с низким, но легким весенним небом плыл запах дождя. Так блаженно: закинуть голову и вдохнуть полно и счастливо (лишь на песчинку минуты!) этот запах. У меня в голове было мно-о-го не слов, нет, а чего-то бесподобно зовущего, взрывчатого, как случается иногда в предрассветные июньские часы: тонкий сумрак разрезают лезвия крыльев стрижей и ласточек, освобождая столбы света, и вот над ресницами медленно и невыносимо встает день. От невыносимой медлительности что-то внутри взрывается, руки наспех хватают одежду, и, не успев додумать, уже идешь, почти бежишь по влажному асфальту улиц, сворачивая в самые глухие, где растет мокрая от рассветной росы трава. Вкус росы на губах, гром первых машин, теплый, карманный запах хлеба.

У этого первого раскрытого окна, робкого обещания весны мне было - так. Безмятежно влюбленно, оттого, что влюбленно паряще, безмятежно оттого, что всякий мой взгляд и всякое действие, диктуемое жаром в груди, было, не родившись, обречено и, может быть, потому, что надежд не было, я всегда любила так, как хотела моя душа, а не так, как бы того хотела другая. При всех горестях неразделенной любви я никогда не знала внутри себя мятежа, борьбы за кого-то (а может, этот кто-то просто бы мешал - его любить?). Отсюда - безмятежность.

Меня звал и дразнил ветер. Звал поздороваться с ним, пойти за ним, прочь от этих нежилых домов, из этого города... Он ластился, лизал руки, он подвывал, уговаривая меня шагнуть. И я - впервые! - от него отмахнулась. Мне ведь некуда идти и нечего искать, кроме своего одиночества.

1 марта. Твои - темные - окна. Узкое лезвие месяца на черном, остывшем небе. Где ты теперь?

3 марта. Особое, сосущее, пустое мартовское небо, разведенное ранней холодной водой. И - застывшая тоска о крепком, срывающем дыханье воздухе зимы. И - рухнувший в пустоту день, в конце которого - звонок Олега, как всегда, радостно-теплый, родной.

Зачем я так часто вспоминаю и рассказываю себя в последнее время?

Я хочу и боюсь даже шепнуть, чтобы не затуманить темного прозрачного стекла моих ночей, - я стала свободной, шелест твоего имени отзывается во мне тянущей пустотой, словно стук в двери осиротевшего дома. Ты из моей души ушел, оставляя, забывая ключи, книги, вздохи, осевшие в грудной ямке, но уже - не лгушие, и когда я вдруг почувствовала себя - своей, вместе со сквозняками, шорохами пришло такое новое чувство сиротства, что я - шенком на привязь - рванулась искать твои следы по вымокшим от вялого снега улицам. Вернулась спокойная, словно вся пена и муть осела на дно, с любопытством заглядывая в завтра, во встречные лица, очнувшись от страшного, кафковского сна. И уже счастливая от светозарности дня, бесконечности мира, блаженно, тайно, свободно - отрелась. (Мне тебя уже не надо!)

Вот все эти люди, которые значат в моей жизни столько же, сколько и стул, стол... что нужно, чтобы ощутить совместный кровоток их с миром, с жизнями других людей? Может, перестать видеть вместо них - стул, стол? Перестать - значит, полюбить. Полюбить... а как это происходит? Я всегда благодарно и горько чувствовала занимающийся жар, но никогда не спросила: «Откуда мне сие?» Совпадение часа, места, дыхания, взгляда? Или рана души, в которую этот чужой входит по-хозяйски? Нет, что-то другое, иначе откуда бы такая действенность добра и жалость, и жар, и прощение?.. Или это невесомая радостная разгадка родства?

Сейчас идет такой влажный, вялый снег, тающий на черном асфальте, и сад стоит сиротливый, сонный,

неразбуженный даже темными стаями воронья. В этот промозглый сезон, когда небо полно особой сосущей пустотой и холодный тяжелый воздух вливается за шиворот, другие нужны силы, чтобы не отчуждаться от мира, не уходить за прозрачное, звенящее от прикосновений стекло отчаянья. Выйти навстречу уличному шуму и ветру, вдохнуть остывший воздух и почувствовать, как все это, словно кусочки византийской мозаики, складывается в то сокровище жизни, которое на короткое мгновение легкого вдоха и значит - счастье.

И все же так холодно и одиноко в этом отсыревшем марте, что дожди и мглистый воздух окраин ранят безнадежностью. В этой сквозняковой печали хочется, словно героям Хэма, в горы, где крепкий, как яблоко, снег сахаристо блестит на солнце и воздух, томный, легкий, шелковистый, где по вечерам тебя бы ждала теплая комната, и у камина, греясь, раскуривая сигарету, можно было бы щуриться на свет, прихлебывать кофе и думать о чем угодно - даже, если хотите, о сегодняшних мартовских дождях.

Сон - владение души, и тело здесь - участник пассивный. Здесь она свободна от всего, вступая в нейтральную зону между землей и небом. Все построения разума перед снами бессильны, ведь сон - последняя честность души - выдать то, что прячешь, а может, и не зная, хранишь. Мы пытаемся разгадать сны по внешним знакам, которые в них содержатся, хотя лучше бы вспоминать чувства, которые они рождают. Это самый верный флюгер для сердечных ветров. В их тайнах, пророчествах, загадках - все наши тайны и все загадки, начиная с младенчества.

Молчите, мои сны. Мне нечем от вас защититься. Потому всякий - прямое попадание в цель.

2 часа ночи. Я люблю это время, когда ночь раскрывает роскошные, чуть присыпанные пылью крылья махаона с яркими пятнами фонарей вдали. Я люблю город, отмытый тишиной до звука далеких шагов по мокрому асфальту, и особую, колодезную глубину снов, и стеклянное одиночество бессонниц. Время тихого вдоха и неслышного взмаха

крыла ресниц проснувшегося ребенка. Час горчайшего, неисцелимого сиротства, безнадежности. Когда кажется, что не хватит сил дождаться утра.

Девочка. Девочка моей души... Будет ли это когда-то? Всякая радость мне недоступна, кроме одной - одиночества.

Пришурясь, я постигну даль
В молочном, слипшемся тумане,
И обозначится февраль,
Как карта темная скитаний.

8/3. Я бы, верно, чувствовала себя страшно одиноко, если б не ребята. Когда мы сидели все вместе, я думала: «Да, у них особая, молодая жизнь, и она будет уходить от меня все дальше, но то чувство родства - было, и как бы там ни повернулось, я очень им благодарна». Я пишу это так, словно уже прощаюсь с ними. Но ведь это произойдет когда-то, и я знаю, что часто и много буду совершать в моей жизни поступки в память о них. Потому что они вряд ли вернуться... У меня никогда не бывало ни с кем - до конца.

16/3. Как это легко - не любить человека! Презрение, неуважение, ненависть - все они сложнее и активнее нелюбви. Когда не любишь, человека отражаешь полностью, ни один его луч не проникает внутрь. Ты его просто не видишь (или, по Марине, видишь вместо него - стул, стол). Все эти люди взялись меня сегодня обливать презрением. Какая тщета! Разве может презирать - стул, стол?

Я - жестока? Да, но я во всем требую подлинности. Своих страданий, чужого презрения... А причем здесь столы и стулья?

Я всегда буду любить ветреность, нежность, измену, буду жестоко страдать от них и все-таки - любить. Может, мне всегда не хватало такого, во мне не хватало? Легкости, игры, азарта, бессердечности. Хватало одного - любви.

Это и был грабеж со взломом счастливого часа. Да неужели никогда не рухнет этот ледяной ад? Душа, очнись!

Год активного солнца.

Сыграем в четыре руки,
Живой, светозарный апрель,
Пока небеса так легки
И капли синеют, как гжель.

Литинститут, прощай!

Кто тебе так позволит петь? Пой в одиночестве, но не в Литературном институте.

Сходить в церковь, поставить свечку. Не молиться и не просить. Когда бы исполнилось, было б чересчур просто, как в лотерее. Зажечь свечу - это ведь просто вспомнить о ком-то и простить его. Если по славянскому поверью горящая свеча - это душа, то вызвать душу и покаяться ей и, может, пожелать добра.

Интересно, а чувствуют ли это те? И не лучше ли было бы эти души согревать живыми?

21/3. Я от усталости словно перешла в другое измерение, воспринимая мир, словно сквозь толщу воды, - почти не видя, не слыша, не чувствуя. И только сны выдают царапающую тревогу. Сегодня - непереносимый красный цвет липкой крови, которая натекает лужами на грязный пол. Господи, только бы не слепое пророчество души!

22/3. Ночь - своеобразный вопрос высоты над уровнем моря. Вся пряность, горечь, рисковость от дрожащей тишины, оттого, что, когда все спят, ты особо не спишь. Чем ближе к рассвету, тем сильнее смывается захватывающая необычность... И когда рассветные лучи лизнут стекла, в них отразится другое лицо, измененное ночью. Из нее никогда не бывает возврата совершенного, она не отпускает человека - всего, отмечая его своими темными печатями.

28/3. Зачем же ты случайно, походя, превратила свою жизнь в ад? Ад? Нет, другое. Ад - это засыпать и просыпаться с одним именем на губах, со сведенным сердцем от чугуна безнадежности. Я жила и бедствовала в нем долго, я не могла дышать - так больно было в груди, и я эту боль хранила (для чего?), как первый зеленый росток, гладила бездомных котят, деля с ними свое сиротство. И ничего не могло случиться, никто не мог изменить меня. Но когда, когда же настал миг блаженного покоя, настолько покоя, что я малодушно взмолилась: «Только не это!» Кажется, я даже помню день - прощенное воскресенье, да. Сквозь усталость, дороги, тревоги это проскользнуло внезапно и точно, рая, как небрежный и злой взгляд.

Именно с этого мига, с колокольного праздничного звона душа начала изнывать от пустоты (ведь человек, ею владевший, один владевший, - ушел), от безнадежности, но другой, от покоя, похожего на смерть. Именно тогда она попыталась сбежать, беспомощно, глупо, ведь бежать было не во что, точнее - не к кому. Она дрожала от тишины комнаты и холода влажного марта, изнывала, пока, наконец, не выдохнула тайного: «Любить!».

Я не помню себя нелюбящей или просто - не влюбленной. Без синего стрижа восхищения, врывающегося утром в распахнутое летнее окно.

Но влюбленность - это рискованная игра с огнем. И я так хорошо знаю все ее ступени, как помнят с детства ступени родного дома, ногой зная каждую выбоину, наизусть, сердцем, чутьем.

И в той, отравленной воде, что я хлебнула сейчас, нет ее ни капли. Ни восхищения, ни счастливой улыбки. Только сердце начинает предательски дрожать, ныть, как больной ребенок. Может, это и есть - болезнь? Не полюбить и не влюбиться. Заболеть человеком.

Чудно и больно - пройти примолкшим, затаившимся от внезапного холода садом, зная, что никогда уже в моей жизни сад так вот по-мальчишески не подбежит к порогу, не позовет к себе. И я не смогу отмечать свою жизнь по жизни сада и слушать волшебство его живых веток, бродить по

нему утром, исчерканным крыльями ворон.

Я заболела людьми, завладевала душами, завладевали моей душой и бросали (все бросали!), я дремала, плакала, дышала, но в моей жизни два года (три!) было одно неизменное - сад. Но и он менялся, часто внезапно, спешно, и я спасалась в него, как в дом, - от всех. Через него шла дорога к тебе, через него все дороги - от тебя.

Что у вас было в эти три года?

- Сад!

Ты не услышишь. Надвинулись стены,

Все потухает, сливается все...

Не было, нет и не будет замены,

Мальчик мой, сердце мое!

29/3. Я боюсь взглянуть на них пристальнее, зная - один бесстрашный взгляд беспощадно оценит, а, оценив, рухнет все. Потому что, когда не будет любви, суть - без всех личин - будет так незащитна и, может быть, - немощна? Мне от них никогда ничего не было нужно, я приближалась лишь с одним - любить и уходила одна в свое одиночество, в которое меня даже никто не провожал. Я их не взвешивала на своих весах, это было бы, иди мы рука об руку, я, верно, не пыталась даже приблизиться к ним так, как положено в дружбе, нет, я их любила, забирая в тот миг, когда были рядом - всех, со всеми пороками и пробелами. И я уже тогда знала, что в их жизни мне не будет места («в жизни людей я - ничто»). Ведь как бы там ни было, любила я, а не они, и моей единственной свободой была свобода уйти.

А сегодня я словно предчувствую тот миг, когда, подставив лицо ветру, я уйду от них в свое одиночество. Любить других, пугая их своей чрезмерностью и понимая одно - как им все это мало нужно. Да никто ведь не гонит тебя!

Я не умею быть жесткой, это лишь словами прикрываюсь, будто ладонями. И ни одно слово не попадает в цель!

31/3. «Меня обвесили на 17 грамм и обсчитали на 13 коп». Дорогой мой! Вас обвесили на жизнь и обсчитали на счастье.

Студенческая жизнь, да. Высасывающий душу холод коридоров, ламповый ночной круг, шелест страниц и прикуренный бычок, подобранный с грязного пола. А все радости, что настигали внезапно, как дождь, разве не могли бы они существовать в любой другой жизни? Ведь во мне никогда не было тяги к общности (той, что, по замыслу, должно давать студенчество). Тяга была к душе, к миру, к саду, к ветру. Но причем здесь студенческая жизнь?

Серую воду дня забелил
Перистый, влажный снег,
Словно не хватит у марта сил
Снова начать разбег!

Это низкое небо, затянутое рваным войлоком туч, в промоинах зеленого света на западе. Узкий, гнутый турецкий ножик луны - почти что твое лицо в тишине и одиночестве этих холодных дней.

После Октябрьской революции общая линия истории, конечно, не изменилась. Но мы выпали из нее. Ведь революция как раз и занималась тем, что на захваченной ею территории пресекала, сметала важнейшие общемировые послышки цивилизации, чем, в свою очередь, предопределился путь развития, уводящий далеко в сторону от «общей линии мировой истории».

3/4. Крошечный, пушистый комочек в моих ладонях - чужой звереныш, которому пока ничего не нужно, кроме тепла, и который мне будет (стал бы, если б был моим) всегда радоваться. Почему это умеют животные и так мало умеют - люди?

Я так много смеюсь, так лучезарно улыбаюсь, столько говорю и вожусь с чужими зверятами только лишь для того, чтобы не кормить с ладоней свою тоску.

Как нестерпимо скучны счастливые люди.

Счастье всегда одинаково, как несчастье - изощренно в многообразии.

Литературные дамы с декольте, но с грязными шеями.

Сесть на 3-й трамвай и выйти на конечной остановке, от которой убегает из-под ног зеленое поле, а ныне - все эти райские кущи, запахи, шорохи, удрать в эту дивную, влажную, блаженную весну.

24/4. Мне рядом с людьми одиноко так, словно мое одиночество выставляют напоказ.

А я все эти дни ни на минуту не осталась одна. Да простят меня они все, верно, не желавшие мне зла, - я их, скрепя сердце, дотерпела, всю их жизнь рядом, ни разу по-настоящему не оглянувшуюся на меня. И когда все разошлись, я почувствовала, какое это огромное счастье - быть одной.

26/4. Был полумрак, полный шумом дождя и весны. Что-то тревожило и тормозило пасмурный, клейкий сон. Шелестело, глюкало, радостно колотилось о железо подоконника. В открытое окно, в открытые глаза - ливень, смывший утреннюю сонливость, смывший все царапающие углы города, оставивший, как волна отлива, юную зелень сада, одиноких тополей, которыми пропахла улица, сбивчивую, торопливую речь тяжелых капель. Запах. Сладковатый, кладбищенский запах влажной земли и апрельского утра, и коры, и совсем пронзительный (до тоски) запах цветения.

Я ушла в эти звуки, запахи, как в сон. Намокшие пряди прилипали к щеке, ноги вымокли в одну минуту, и я словно бы сливалась с этим дарованным часом, торжествуя, ликуя, преклоняясь перед его величием.

Троллейбус был полон, люди стояли в нем хмурые, подавленные (ни одной улыбки не засветилось). А я сидела, боясь поднять глаза, пряча их. Мне чуть-чуть было

стыдно за непростительное счастье, что плескало во мне.

Вот ведь странно: когда все уходит и остается такая отличная, сияющая тишина, тогда (редко-редко) приходит кто-то, захлестывая меня, как прилив, и все во мне поет, парит, переливается и звенит, пока волна не откатит, а ты все еще стоишь, оглушенная, понимая, что вода прилива и звалась «счастье».

Я не помню ни дня, когда бы я была счастлива с человеком. Люди всегда приводили с собой боль. Порой она была так сильна, что я принимала ее за счастье. Но у нее много личин, и только одна истина.

А счастья с людьми никогда не было.

А тут я шла, и мне хотелось жить сейчас, сейчас, не оставляя ничего никаким будущим, не размазывать себя по шестидесяти годам, а вдохнуть все в один день, потому что и вдыхать было нечего (по меркам житейским), кроме этого ликования, влажного, настоящего воздуха счастья. И, вдохнув, тихонько притворить за собой дверь, чтобы не шел сквозняк печали. Я брела в этом ливне, страшно ревнуя его к будущему, ревнуя час этот, который неумолимое Время отберет, а взамен даст одинокий ноябрьский страх в холодной пустоте комнат.

Мое счастье было полно прошлым, в шелесте я узнавала забытое имя, и тополя пахли так же остро, и огромная любовь была знакома, знакома - из тех проклятых, горевших лет, но было легко и безбольно, словно выдернули торчавший в виске осколок.

Я пошла на рынок, наверх, где продавали цветы - пахучие, безмятежные, в каплях утреннего дождя розы, пионы, фиолетовую сирень и еще что-то притихшее, трепетное, шла в этих райских кущах, пока не наткнулась на длинные, в розовых цветках ветки миндаля, словно на седьмое чудо света. Купила, потратив последний рубль.

4/5. Как я легко, походя обижаю людей! С улыбкой обнажая свою беспощадную суть раньше, чем ее кто-либо поймет. Я, наверное, просто очень устаю от людей, устаю, взрываясь, освобождаясь. А когда освобождаюсь, приходит

такая боль за них (ведь я обижаю от своей же слабости, от такой же слабости!). И первое - сбежать. Сбежать, как тому волку, который всегда смотрит в один и тот же лес (столетия идут, меняются руки кормящие, а он все-е-о смотрит). Сбежать в лес, который зовется: одиночество, в дожди и шорохи, и пустые улицы - все, что делает меня счастливой настолько, насколько люди - несчастной.

Я ведь только бессмысленно и упорно притворяюсь прописанной в этой жизни. Меня ничто в ней не интересует, ничто из нее не будет утратой. И никто, кроме одного, который бы за мной в мою страну ушел и который невозможен. Вот оно, пойманное: мне в этой жизни никто не нужен; и еще точнее, вернее, губельнее: я в этой жизни никого не люблю. А думала, что уберегу свое сердце от такой юродствующей пустоты.

Всякий раз, когда я уезжаю от бабушки, она благословляет мою черную, горькую душу. Думает ли она обо мне хоть когда-то в реальном человеческом плане, догадывается ли, какая я? Верно, нет. И единственная сила, заставляющая ее поднимать для креста руку и до-о-лго, пока не скроется вдали точка, стоять у палисадника, - родство по крови, которое, в отличие от родства по избранию, грубо и прочно - на жизнь.

Когда я приехала к ней, у меня заболело сердце: не только сам дом полоснул видом своей нищеты, но и сама весна вокруг - какая-то бледная, вялая, бедная. Все стало иным (или я просто перестала это любить?). В доме у нее есть такая щербатая светлая дощечка со штриховкой, сделанной ручками, карандашами, ножом. У каждой черточки - свой год и инициалы. Я пробежала по ним глазами, вспомнив, как мы радовались своему росту. И еще под пальцами памяти ожили зарубки всех лет, меня словно обдало влажноватым, прохладным потоком воздуха с вечернего, благоухающего полем луга, когда так здорово было закрыть дверь и сесть за старый стол под вечными ходиками и слушать какие-то басни, глядя, как клубы тумана в окне обволакивают траву и ветки берез, и небо спело, словно черная смородина на бабушкиных кустах. У меня ведь было очень счастливое детство, в нем не было

всех трагедий, настигших меня потом, в нем были такие вот вечера и ослепительные утра, липы, трава, роса, туманы и бесконечность детства - вся свобода, которая уже не пришла никогда. Мне, может быть, и придется платить за это привилегированное детство (привилегированное свободой расти, как хотела душа).

Тогда, вечерами, когда день был изжит до края, жара уходила, на луг падала роса, воздух становился струящимся, как водный поток, и таким же прохладным. И я окуналась в него, отдыхая, - смуглые ноги болели от бега, руки саднило от черной деревенской работы, и вдруг их окутывала такая прохлада, воздух прошивал насквозь стрекот кузнечиков, пахло лугом, сеном и хлебом, в доме скрипели полы и двери, а от леса ползли тайные, синие тени, съедая куски луга и огородов. И это был час глубокого покоя и мира, и любви. Эту-то глубину, верно, я и пытаюсь сегодня вернуть своей жизни.

Но вернуть - это ведь не просто вернуться в такой вот вечер, на такое крыльцо. Бесполезно. Нужно чувствовать и другое так же глубоко.

Копала грядку у бабушки в огороде и подумала - вот она всю жизнь кланялась этой земле (в которую все ляжем), чтобы вырастить свой кусок. Утро, день, вечер были забиты делами: лилось в подойник молоко, пеклись пироги, зеленели огуречные листья, валилось на головы свил ломкое, колючее сено... Это был - уклад. В нем была сила и мудрость пращуров, которые жили так, растили детей, внуков, правнуков, оставляя в их сердце навсегда - тепло очага, радость мирной, кропотливой работы. Ради куска? Да. Но и ради чего-то еще, может быть, того благодарного тепла и силы устоя, который был дарован каждому из них?

5/5. Мы сегодня вечер провели на реке, у самой воды, под шумящими лапами сосен. Ветер трепал их, как гривы, и шмыгал куда-то в поле, за которым мир расстился тревожно и раняще, осиянный закатным солнцем и наполнявший прощенной добротой, открывавший чудные

тайники моей памяти.

Пахло дымом, и, раскачивая густую тишину, пела птица, и на высоком холме в молочно-зеленой юной дымке втыкалась в небо шпилями чудная церковь. Я лежала на холодной еще земле и смотрела на лапы сосен и на небо, и на всю эту трепетную волшбу, и такой в эти минуты полусмеженных ресниц в сердце был мир! И я перебирала, словно бусины на ожерелье, зелено-золото-голубые дни моего детства, их вечерний покой. Все вокруг что-то говорили, и я со всем соглашалась, тихо перебирая свои четки (господи, сколько, оказывается, я помню!).

11/5. Почему мы всегда думали, что война - это какой-то односторонний ужас, а та (враждебная) сторона - темное, страшное пятно под общим названием «враг». Когда я читаю Ремарка, изумляясь глубине человеческого в военно-окопном свинстве, только чужие слуху имена напоминают, что это - они (под общим названием «враг»). И если война так одинакова для обеих сторон, то какой чудовищный механизм власти вынуждал ее продолжать годами?

Когда при мне пытаются оскорбить солдата любой войны, я изумляюсь какой-то потрясающей душевной тупости: ненавидьте войну, но уважайте солдата. Менее всего в ней виновен тот, кто убивал. Это не парадокс.

В моей недлинной жизни еще не было книги о войне пристальнее, трагичнее и человечнее, чем книги Ремарка. Хоть, верно, я и не специалист в области такой литературы.

12/5. С нелюбимым человеком душа не может быть счастлива. А была ли она у тебя - хоть один день - счастлива с любимым?

И все-таки, мне кажется, что такой шаг лишил бы мою душу последнего полета. Превозмогать себя всю жизнь, чтобы жить, и превозмогать еще и свою душу?

И как все легко для этих людей и как я с ними весело смеюсь до тех пор, как останусь одна.

Как со всеми - посторонними.

19/5. Смутный и мягкий сон под струями дождя: сотни бархатистых крыльев бабочек, мечущихся в пустоте комнаты, задевающих меня шуршащими крыльями. И от этих всех метаний - паника, ужас, какой-то разор души. И мысль, что он, может быть, уже никогда не придет. Близкий сон чужого мне человека. Глубоко и человечно. Совсем не похоже на то, что было 4 года назад.

- А счастья с людьми никогда не было.

Неправда! Когда приходил Олег, начинавшийся с порога и за ним - кончавшийся, я была счастлива на всю бесконечность минуты - нашего с ним, которое было вернее, проще и глубже любви. Я в себе не творила о нем мифа, Олег был постулатом, богоданностью, приходивший из бездны своей жизни и в нее уходящий.

Да, я виновата, я виновата, потому что нельзя быть так непростительно, жестоко и бездушно счастливой. И неужели счастье может быть только таким?

Если дар, то только божий. Бог дал... Дал, не спрашивая, и так же, не спрашивая, отнял. А если я его насильственных даров с обязательной уплатой в срок - не хочу?

У меня с людьми судьбы нет, но Случай. Не часы - минуты, выкраденные, золотые (ведь это всегда грабеж со взломом счастливого часа!). Минуты, в которые я до задыхания, до губительного сердечного боя люблю приближающегося ко мне человека. Его избранничество, его небо, его черную прелестную голову на моих коленях.

Все в мире велико и даровано. С тех пор, как я научилась жить и быть одна, не пуская душу на покаяние, у меня не было такого высокого часа горения, такой палящей нежности ключам, нежности, которую я кормила встречами и восхищением, как кормят голодное пламя с ладоней.

6/7. Темное, холодное таинство речной воды, отражающей легкое, с червоточиной облаков небо. Опро-

кинуться на спину и тихонько плыть, учась «искусству быть смиренным». Смирила в себе пожар июля, жизни, молодости, безнадежности.

Я хочу любить, любить, ревнуя и жадничая.

13/7. Съезд компартии. Похоже, на нем пресловутые коммунисты забыли, что в их руках развалившаяся экономика и голодный, озлобленный, неверящий им народ. Решали не проблемы страны (которые ни одна партия решить не в силах - не подчиняются экономические законы партиям), а грязно и злобно грызлись за власть.

Народ из партии уходит шеренгами «по восемь», вчера президент России положил на стол партбилет, а эти скоморохи радуются: меньше вас, сильнее мы, - гаддя, словно переродившиеся, чудовищные чайки над городскими помойками, над проблемой членских взносов.

Партийный Апокалипсис в бедной, разоренной, бездушной стране.

Самое долгое приведение в жизнь утопии, обернувшейся - кошмаром.

Племя манкуртов, забывших о себе все. Поруганная жизнь миллионов до и миллионов - после.

Вчера: Венечка Ерофеев со своими похмельно-хмельными, юродивыми и изумительно талантливыми страничками, населенными пьяницами, ангелами, ангелоподобными детьми и белоглазыми женщинами с русалочьим телом, - по сути одной-единственной человеческой душой пьяного поэта.

Юдоль. Какое изумительное по звучанию слово в церковнославянском! Здесь и долина, и доля, и удаль. И какая человеческая печаль в этом «ю».

22/7. Весь день - у бабушки, в ее маленьком, спокойном и ладном доме. Утром по лугу полз туман, пахло душицей и донником, шелестели огромные березы, навевая покой и сон, как и черный кот, заспавший, казалось, весь дом.

Еще раз удивилась - откуда в этой крестьянке с высоким лицом в короне черно-седых волос такая сдержанность, такое достоинство, сегодня называемое интеллигентностью? Никогда не повысит голоса, не сорвется, не сказать не в лад, не пожаловаться и не попросить.

- Что ты, бабушка, не едешь к нам жить?

- Меня только там не хватало! Тут мой дом, здесь со мной каждое бревно разговаривает.

Святость дома, в котором никогда не бывает одиноко и страшно, сила дома, которая сильнее всех родственных связей. Сиротство ведь и рождает не отсутствие людей, а неприсутствие этой вот святости, особая бездомность человека, лишенного корней.

Я жила пестро и шумно - хоровод людей и событий, восхищение и невозможность постичь, бессонницы, бездомность, нарядный содом сиротства. Но когда все это ушло, я не ощутила укола потери, потому что в жизни моей души не произошло никаких перемен, ни-че-го, поколебавшего бы мою беспощадную суть.

23/7. Я пришла в тот дом, где не была уже 5 лет. Шлепал зануда-дождь, у ворот мокла рябина (вторую спилили) сиротски, и дух этого сиротства начинался с порога, с полуупавшего забора и выбитого стекла на веранде, с разномастных чашек на столе, пустого холодильника и улыбок с фотографий уже умерших людей, бывших когда-то семьей. Вкус утраты пополам с махорочным дымом, обнимающим кольцом одиночество отца и сына, потерявших всех, кроме друг друга, и вот этого дома, хранящего тени ушедших, фотографии и письма, вещи, вздохи и слезы, даже восемнадцатилетнюю меня.

Борис Константинович не узнал меня, долго щурился, присматривался и потом забыто и облегченно: «А-а... Леночка!» Мне было неловко с ними, как бывает, наверное, неловко мирским в обители - за свою мирскость, вихры и прокуренные пальцы, неловко, потому что я была слишком благополучной и оттого слишком виноватой в этих

бесчеловечных потерях. На столе стояла бутылка водки, Б.К. разлил ее по стаканам, а я даже не притронулась и говорила мало, ткнувшись взглядом в окно. Мне ничего не помнилось здесь, кроме ужасающего сквозняка смерти, сковавшего душу. Я рассматривала Сережины книги и фотографии, а в глазах стояло одно - холодно-прекрасное лицо моей детской, придуманной любви. Я нашла у Сережи свои письма и фотографии, всю себя - ту, потому что меня, оказывается, бережно хранили все пять лет, как пять лет хранила я в коробке незначительные письма с нервно-изящным почерком.

Мы курили с С. на веранде, в выбитом окне прорисовывались макушки лиственниц, и под речитатив дождя я, насколько могла, осторожно рассказала ему о своей взлохмаченной любви, чтобы не оставалось места для наивно присужденной мне роли плакальщицы. Я ведь жила и любила другого человека, зачем был бы нужен такой обман? Нужна достоверность человека перед прошлым. И вновь кто-то ждал от меня невозможного, смуты, которую я давно не пускала на свой порог, кто-то ловил любую зацепку в моих словах, выстраивая все новые ступени безнадежности в своем сердце.

- Пойдем, Сережа, - торопила я, устав от молчания и невозможности его ожиданий, прощаясь с Б.К. Выскользнула в дождь (в который раз ускользая ящерицей от чужого огня и желания) и, идя в ногу со спутником, мысленно ушла вперед, отвечая невпопад на вопросы - сухо и кратко, словно отмахиваясь. Я, наверное, какое-то чудовище, потому что так нельзя с людьми, но бывает же такое сердце, у которого все наперекосяк!

25/7. Партия отказалась от руководства над экономикой страны. После 70-ти лет диктата и развала эта людоедка сиротливо отошла в тень, кивнув: «Разбирайтесь-ка без меня. Но не троньте достояний социализма - общественную собственность и пр». Читай - не троньте меня.

26/7. Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю.

27/7. Сегодня на четвертой полосе, в самом углу, маленьким шрифтом - сообщение о смерти Параджанова. Диковинный мир его быта, осиянная и цветущая земля его фильмов. Он был «таким ребенком и таким поэтом...» Как жаль, мой бог, как жаль!

28/7. Что такое, в сущности, идея тысячелетнего царства, этого Эдема, другого мира? Все, что в наши времена пишется и что стоит читать, настояно на этой ностальгии.

Комплекс Аркадии, возвращения в великое лоно...
Потерян рай, и я его ищу, и я теперь лишен навеки света...

...Дело не в том, что новый мир обернется оруэлловским кошмаром; все будет гораздо хуже, это будет уютненький мир по вкусу его обитателей, где не будет клопов и неграмотных, а куры - гигантских размеров и, наверное, о восемнадцати ножек каждая...

29/7. У Ходасевича в «Помпейском ужасе» мысль о том, что после безвзлетности, плотскости и тоски античности христианство принесло в мир готическое острие - взлет вывьсь.

Нет, от духоты, жары, плоти и пепла готическое острие было лишь мечтой единиц среди той же духоты, того же мрака и пепла, умервщленной плоти. Не расцвет духа, а робкая мечта о нем. Недаром ведь следующим шел Ренессанс - воскрешение свободы, внутренней свободы античности, без которой не живет душа. Острие готики дотянулось и донесло великолепие выстоявшего духа в лицемерном смирении и жестокости Средних веков, а Ренессанс подарил

этому высокому и мужественному духу свободу. Тоска по Спасителю родила готику, но готика, постоянно напоминая о душе, ее запугала безмерно. Душа не может расти в страхе, и чистота не создается под угрозой адовых страданий. Антика, готика. Возрождение, русские революции - и везде, везде тот же готический укол тоски о Духе, о Спасителе, о взлете, которого так и не было. Мир века жил этой тоской, и она сохраняла и растила самые тонкие побеги человечности.

Как мне надоело ожидание жизни - вот будет, вот наступит. Я просто могу жить.

Проза твоя умнее стихов.

Старые газеты. 1923 год. Обвесы, кражи, райкомы, фабрики. Люди смеялись, любили друг друга, воровали, дарили, строили и ломали - почти такие же, как мы, только с озоном непокая и веры. У них впереди для разочарований и отрицаний было еще 70 лет. А мы за все эти годы в своей великодержавной гордыне ни разу не оглянулись, не достали эти самые бесстрастные протоколы времени и не поняли, как мало мы изменились с начала того семидесятилетнего пути.

6/8. В стране нет табаку. По утрам встревоженные мужики, идущие на работу, только и говорят об этом. Сигареты, папиросы, махорка - нет ничего. В глазах курящей половины страны - тоска, голодный огонь. На «барахолке» есть сигареты любого сорта - 3 рубля пачка. Здесь есть, а у страны нет? Нет табаку, одежды, обуви, пищи, а тут, как из рога изобилия, - любой цвет, фасон, размер. Вот вам и рыночная экономика.

Все, что было на этом рынке мне по средствам, - книга Камю, на которую еле насобирала 7 рублей с мелочью. Листала ее в машине, и снова - тайна случайно открытой страницы. В «Постороннем» Мерсо, размышляя о свойствах человеческой природы, сказал, что если бы ему пришлось

жить в дупле старого ствола и всю жизнь видеть лишь кусочек неба, он бы, верно, привык и считал свою жизнь довольно сносной.

Изумляющий и изумленный язык Булгакова. Сколько я перечитывала его «Белую гвардию» и сколько раз охватывает меня нервная дрожь от победоносного величия этого романа.

Мир рушится, в мире - грабежи и убийства, страх завтрашнего дня, но это все ерунда, потому что есть бессмертный Фауст и Саардамский плотник, старые часы, играющие гавот, и булавки звезд, и вечный Город - то, что живет даже после смерти всей цивилизации. Не надо ничего бояться. На крайний случай останутся кусочек неба и лица людей, которые любили и которые уже никогда не придут к тебе в этой жизни.

7/8. Я вчера рассказывала Женьке сказку. Он лежал рядом в темноте с широко открытыми глазами - темнее темноты - и слушал так тихо, что я подумала было - заснул.

- Еще, - потребовал его ангельский голосок, как только я остановилась. Все же это необычайно - захватить так вот чье-то воображение и увести - в лес, замок, в пещеру - куда угодно.

Ах, бедный ребенок, лишенный сказок и стихов. Маленький, гибнущий ангел.

8/8. Листья стареют, стареют небо и ветер и стареют мои одинокие, горькие дни.

10/8. Прозрачный жасминовый лепесток луны на утреннем небе. Ура-ура-ура! Сегодня пятница, а впереди два солнечных, брэдберивских выходных и тихая радость неторопливого утра.

«С милого севера в сторону южную» письма не идут, письменной связи нет с половиной российских областей.

Что же теперь, как в гражданскую войну - отправлять с нарочным?

11/8. Человек - совершенно замкнутая духовная система. Лишь малую часть может он выразить словом, музыкой, жестом. И это страшно, потому что это-то и есть исток потрясающего одиночества человека в мире. И потому еще, когда гибнет человек, вместе с ним гибнет и все человечество и возрождается в каждом младенце.

Плоды существования целой цивилизации есть только капли, пролитые из чаши духовности, которые вот уже тысячелетия человечество несет в неизвестность.

15/8. Сегодня разбился на шоссе Виктор Цой. Он ехал из Юрмалы и заснул за рулем. Больше ничего не известно. Но ничего и не надо, кроме достоверного: был-жил и - нет. Ничего больше, кроме протокольного факта смерти. Кроме перевода в прошлое системы одной планеты.

Сначала было слово. Точнее - песня. Не одна. Много песен. Наш бессонный, лихаческий, прокуренный колхозный быт ерошили эти необычные, не похожие ни на что песни: с утра и до утра, потому что дня, казалось, не было вовсе, был только вечер, незаметно переходивший в рассвет, и рассвет этот длился и длился в разговорах, спорах, дыму, в тоске, поцелуях, в робкой надежде некоего сообщества, отметившего нас на годы. И в тон всему этому, в лад жили милые, детские еще песни Цоя. «Дай мне руку, сестра», «Верь мне, я знаю - нам надо быть вместе», «Я люблю этот город, но зима в нем слишком длинна...», «Уходи, но оставь мне свой номер», «Ты выглядишь так несовременно рядом со мной». Я тогда даже не знала, кто их автор, я с ними засыпала и просыпалась. Все, все ушло, все ушли (даже Цой!) - песни остались.

Стоит услышать их, как победоносная моя юность в пронизанном шафранными лучами сентябре оживает и по ночам шелестит яблоневый сад, и тяжело стучат о землю яблоки, и чужой человек (уже чужой) ведет меня за руку в

неведомое, имя которому - Воронеж.

Мы выросли, и щенячи песни Цоя - тоже, он стал известен, его портреты появились в газетах - так я и увидела его впервые, человека, чьи песни вызывали у меня теперь бешеную ностальгию и отметили мою юность, словно печать. (...). Я любила его и все его знаки, его имидж, его слова, его жизнь - назло, по-мальчишески назло. Холодный Питер, кочегарка, повзрослевшие, но так и не выросшие песни. Я любила дух его сопротивления и что-то в нем, что ему никогда не давалось в руки. Что исходило от него, независимо от его усилий. Сила планетарного свойства, да.

21/8. Ночью читала эскизы Сергея Параджанова к непоставленной «Исповеди». Фантастический, яркий, добрый мир души романтика. Вива, романтика! Сменяются эпохи и президенты, нормы и права, ты одна неизменна, бессмертна, потому что ты есть - душа, стремящаяся быть умелой.

Озноб изнутри.

23/8. Знакомство с Н.Н.Коганом, директором страствующего цирка, балаганно и празднично торчавшего у окон райкома партии.

Его кабинет чуть покачивало от чых-то шагов: маленькую комнату на колесах, где едва-едва умещается рабочий стол, пара стульев и телевизор. И в этой тесноте, с дымящейся папиросой, ослепительно белый: от гривы волос до туфель, он свою импозантность не терял. Вокруг него жила знакомая атмосфера нервозности и непокоя. И царило достоинство, с каким он и его спутники несли свою цирковую безбытность.

За полторы сотни качаться на колесах тысячи километров, не имея возможности постирать, искупаться, нормально поесть. И все лишь - из любви к искусству. Из любви к романтике.

Мне был знаком и дорог царственный, безалаберный и нищий быт этой романтики.

Натан Наумович об этом городе говорил с ненавистью: почему у всех людей здесь такие суровые, неулыбающиеся

лица? Хотя что я спрашиваю? Жить радостно, да и вообще жить - это искусство, которому у нас не учат.

Он закончил высшее хореографическое училище в Питере и юридический институт.

«Как причудливо тасуется колода!» - восклицал Булгаков о хитросплетениях царственных судеб. Его хитросплетения привели в цирк.

Он все сидел царственно напротив меня, кроша сигарету, за перегородкой на плитке помощница разогревала поздний обед, пол под нами покачивался, а я любовалась им, чужим, дышащим одним со мной ветром и оттого все же более близким, чем самые близкие домашние люди.

26/8. Боже, как блестящи и непредсказуемы были судьбы XVIII века: Сен-Жермен, Калиостро, Лозен, Казанова, Стюарт, Мария-Антуанетта... Величие на тонкой проволоке авантюризма, власть над умами и душами, чреватая заточением и эшафотом.

Великий обманщик Калиостро по описаниям чем-то похож на Гудвина Изумрудного города. Мистификатор, отмеченный печатью дара. Неординарный характер, прищпориваемый судьбой.

Совсем не понравился Калиостро у Кузмина. По его версии, силу чужодейства в Калиостро вдыхает ангел и тем самым личность как бы умалывается. Я верую не в магию и не в провидческий дар сего человека, а в знания, авантюризм и черный, неприручимый ветер вокруг него. Загадочен был оттого, что никто не мог одомашнить скитальца, бродяжничество даровало независимость, а деньги ее отнимали. Между двумя берегами и висел, и лишь чудовищная сила самое себя не давала ему до известного дня рухнуть вниз, в лапы римской церкви.

5/9. На рассвете снился дикий сон со множеством отвратительных подробностей. Будто мать кончает жизнь самоубийством. Детали уже растворились, но один эпизод остался отчетливо: я пришла (почему-то) на кладбище, где из развалившегося склепа мне должны были выдать тело. Баба чего-то возилась внизу, ворчала, а потом передала мне

в руки сгнившие доски гроба, проворчав: «Схоронили уже, все там, все», указуя пальцем в пустоту. И еще она, кажется, отдала какие-то вещи, их я не запомнила, помню лишь ужасный цвет пышащей крови, которая хлюпала кругом. И ужас - даже во сне, даже и после сна, ужас и ужас.

Зеленое солнце сквозь листья, скрывающие мое сиротство.

«Человек - это мир, который стоит любых миров».

Модильяни.

25/9. Русская душа с малолетства заражена, ей еще до рождения словно приснился сон: золотой город с цветущим садом, «травами и цветами, животными невиданной красы». И никогда ей не найти покоя - она будет тосковать и томиться, все, сделанное на земле, будет казаться ей недостойным, и она всегда будет рваться - вверх, в сторону, куда-нибудь, лишь бы не знать покоя. Этот сад рождает мятеж и тоску, и горечь. Он все переворачивает вверх дном: русские - неисправимые идеалисты, они даже в марксизм - самую приемлемую теорию - натащили идеализма. Какого-то сатанинского идеализма. И что есть этот сад и город, выплывающий каждое столетие?

26/9. Никогда не любила креста, не могла надеть. Все равно, что носить на шее виселицу. Не понимала войн за веру: чей бог лучше? Какой же это бог, если его правоту и высоту нужно доказывать уничтожением? И еще инквизиция. Вбивание бога, сжигание груд человеческого мяса. Да кому нужен ваш кровавый, насильственный боженька? Почему человек считает, что он обязан ему всей высотой и красотой (как красота, так - божественно! А калеки, они чьи?)

Дьявол, наверное, гуманнее по замыслу: его имя не славили с амвонов, из-за него не убивали друг друга, хотя он должен нести в себе ту же космичность иного знака. Только нам в нашей малости разве можно эту полярность увидеть?

Из всего православия люблю только безнадежно-огромные глаза старых икон и тонкие, горящие свечи, легкий взлет колоколен (также свеча) - все, чего коснулись руки человека и осыятили любовью и стремлением ввысь - единственное божественное в вере.

27/9. Листья на деревьях поредели, и сквозь ветки - такие черные - просочилось жиденькое небо предвзята цвета безнадежности и терпенья. Небо - за полчаса до снега.

Скорее всего, дивный текст «Под небом голубым есть город золотой» принадлежит не Б.Г., но авторство не очень важно, важнее подтверждение приснившегося когда-то невозможного города. Это всплывает то там, то сям: у Достоевского или Кортасара - Аркадия, тысячелетний рай, память об изгнании. Сон или смутное, хранящееся в генах воспоминание о золотом ли городе, золотом ли веке. Это не могло возникнуть и сохраниться не из чего. Но разве самые дерзкие мечты не росли от противного или вовсе - из пустоты?

Странная ягода виноград. Скажи - и оживет: нагретый запах лета и чьи-то жадные губы, чудесная сладость и бесконечность утр. Библейский символ изобилия, обращенный в символ любви - внезапной и проливной, после которой хоть библейский потоп, хоть дешевенький гроб.

Георгий Победоносец - любимый святой и герой.

1/10. Почему Достоевский в «Идиоте» упоминает о том, что бы произошло, выйди Н.Ф. за Рогожина - «нудная драма с утюгом в валенке»: он бы зверел, копил деньги и, теряя человеческий облик, бил ее, а она бы, верно, сломилась и считала бы с ним деньги, забывая чудо своих прежних порывов?

А что было бы с ней и Мышкиным? Если бы она только

смогла любить его, ее бы ждало короткое, горчайшее счастье, и его утраты она бы даже не заметила, потому что взяла бы уже на себя всю его беспомощность, покорила бы его слабости.

Но беда в том, что Н.Ф., как и многие героини Достоевского, совершенно нежизнеспособна, у нее почти нет человеческого лица, а потому, сколько ни описывай ее красоту, она всегда будет чем-то отстраненным и мертвым. Н.Ф. за жизнь зацепиться нечем - у нее за всю книгу ни одной любви, ни дружбы, ни привязанности, одна непрекращающаяся истерия, и даже смутные тени страдальчества ее не спасают, ничто не спасает и не держит, а потому у автора и выбора нет, кроме как прикончить свою героиню, не вести же ее в драму с утюгом и не отдавать новому мессии, когда она ни его, ни кого другого совсем не любит.

2/10. Утром сыпал лохматый, стремительный снег, рождая озноб и тоску сиротства, и я впервые сказала себе, что не люблю осень.

Темный и влажный знак Водолея, в который вступает наша земля.

Сонный бог довольства.

Жизнь сегодня весела и безумна, невменяема, как бормотание идиота. Всякое ее движение в этом неразмыкаемом кругу рождает смех, опустошающий и отчаянный смех висельника на помостках театра абсурда. Наташа плачет из-за пяти кусков мыла, Л.Н. третий день не может купить хлеба, и все в напряженной стойке охотничьей собаки, почуявшей дичь. Как мне жаль их всех, как жаль мне, не имеющей ни угла, ни денег, ни талонов, на которые можно было бы это мыло купить. Потому что в наше беспощадное время самым нужным остается не то, что можно (или уже нельзя) купить, а добро, сохраняющее душу от распада. Я не хочу умереть с голоду или ходить босиком, но меньше того хочу превратиться в животное благодаря радению общества светлого будущего, сегодня бьющего по лицу друг друга из-за буханки хлеба и пачки сигарет и воруящего у бабки последнюю трешку. Я не хочу

среди всеобщего озверения забыть себя и человеческое в себе.

32-х рублевая колбаса, которую можно было бы положить на могилу марксовой утопии, когда бы не жадная очередь, пугающаяся, что не достанется последним. Далеко еще до могилы, пока можно заткнуть глотки вот этой колбасой, приправленной идеей обновленного социализма.

Маркс в своих расчетах на быстрое создание идеального человека не учел интересов человека, его корыстности. Но и мы сегодня, борясь с марксовой утопией и говоря о торжестве разума над мифами, забываем эти же факторы: корысть, из-за которой прошлая власть будет драться с разумом до последнего талона. Если разум будет торжествовать силой оружия, это приведет к губительным результатам, потому что такое возможно в глубоко больном обществе. Как может быть здоровой экономика у такого общества?

4/10. Дикое угнетение внутри: кражи, грабежи и убийства затмеваются сладостным замучиванием жертв с какой-то китайской изощренностью. Это затопило жизнь и пугает своей безнаказанностью. Я всегда боялась не смерти, нет, а насилия, унижений, отбирающих у человека право умереть человеком. Боялась человеческого зверья, вечный символ которого - пинок сапогом в лицо.

Милицейская хроника сообщила, что в канаве утонула бабуля. Какой XX век - время гоголевских ревизоров и городничих! Бабки, тонущие в канавах, и воры, тягающие у этих бабок 2 супа-письма и трешку. Ну, че?

Вечер. Полнолуние. Нестерпимый серебристый мяч лунищи над недвижимым, замерзшим городом.

Листья на асфальте словно тают: темнеют, становятся полупрозрачными, потом остается только контур и, в конце концов, неясное пятно.

У меня не осталось надежд и радостей, кроме каких-то девяностолетних - тепла, книг, ветхой позолоты листьев, случайных, подозрительных котов... Все это такая малость, о которой не стоит говорить. Хотя разве весь человек не

есть такая малость, о которой не стоит?

Лжив, как китайский будда.

10/10. Вчера ночью прямо в глаза - драгоценный, тревожный свет луны, не дававший уснуть. Мысли плыли в голове, как рыбы, медленно шевеля хвостами, и у одной были такие знакомые глаза, что я удивилась: я ведь давно не вспоминаю о тебе, ты не тревожишь моих снов, «насколько ты был, настолько тебя больше нет». Но эта рыба, поднывавшая из глубин, она - часть меня, и, значит, в какой-то части ты еще жив.

28/10. Воронеж. Я впервые чувствовала свое изгнанничество из этого города, ничто не держалось и не держало здесь больше. Я пустилась собирать остатки братства: лица были все те же, и вино было, и розоватый южный виноград, а радости не было - Светка с Косовым обживали квартиру, и я в этой квартире с креслами и тахтой стала вдруг какой-то неуместной и поспешила уйти. И еще, уходя, подумала, что, верно, из моего дома не так торопились уходить друзья, как я - из их. И это темное чувство распада - всего и страх чистого места этого года, и - пустота. Я вовсе не была так обрадована, как ждала, я, верно, все пережгла в себе, а чувства сравнения с реальностью не выдерживают.

Ничего ни от кого не надо, кроме одной боли и радости - любви. Ничего не хочу от жизни, кроме спасения от пустоты сердца, от его бесчувственного убожества.

А выжившие будут приравняться к участникам наполеоновских войн и пр., и пр. - участник перестройки: льготы на мебель, холодильники, пайки к празднику, если останутся таковые.

Дни стоят отяжелевшие, парные, клейкий воздух забивает дыхание. Бывшее черным стало серым: город с бесконечной вереницей домов в шинелях, деревья, земля. И только рябиновые кисти победоносны и праздничны, ее красные

коралловые камешки на мокром асфальте и вяжущая горечь во рту, а еще - черные огромные коты, смежающие зеленые раскосые глаза, теплота их шерсти, диковатость, никогда нельзя до конца приручить - то, что так люблю в людях.

25/11. Город в хрусталиках: на ветках, под ногами мерзлое стекло, делающее шаг старчески бережным и терпеливым. И где-то - голубой туман залива, его сонное дыхание. И город какой-то сиротски серый, сжавшийся в ощущении беды. Господи, как мне жаль эту страну, эту великую нищенку, гениальную побирушку, жаль ее замученных городов, ее измятых лиц, лишь изредка вспоминающих, что живы.

26/11. Кусочек века, данный нам, как кусочек пирога, - мы не поймем его вкуса, мы его проживем, а вся романтика и аромат, и кровь, и ужас крошечный останутся не нам. Играем роли в пьесе, целиком которую не прочитаем. Мы читаем пьесы умерших веков, играя в нынешнем. Часто без особой охоты играя и без боли уходя. Даже если роль неудачна, на отстоянии века в тексте пьесы это сотрется - кто будет там разбираться в перепутанных репликах и поступках? Но ведь иногда нам удается почувствовать то, как человеку в такой пьесе было тесно. Значит, кроме роли, мы можем как-то передавать положение сверх роли, свою неместимость - в текст, в век.

29/11. Самое точное восприятие художника или поэта - отбросив все культурные слои. Узнавание - когда-то виденного сна, сна - предателя нашей души, выбалтывающего ее тайны. Сон делает явной смуту и тайну одной души - для одного. Картина или поэма рассказывает ее же - для всех.

Боттичелли, перепутавший эпохи, наградивший своих Венер и пр. сиротством XX века, разъедающим комплексом

скорби, которого в эпоху Ренессанса просто не могло еще быть.

А если предположить, что Бах тоже спутал эпохи и писал в 1700 каком-то году страшный сон Инквизиции, только сон - не эпоху, в которую его и зачислили?

Сон как единственное предвосхищение души. Первое и последнее ее откровение.

Жизнь все чаще напоминает сюжет детской сказки про девочку, кувшинчик и дудочку. Всегда не хватает то дудочки, то кувшинчика.

Человек, проживающий несколько жизней. Душа моя будет вселяться в лягушку или куст, или кого-то еще. И никто все же не вспомнит о том, что было. Восточные религии утверждают такую преемственность и непрерывность, но если нет памяти, то нет и никакой преемственности. Что толку, что я прожила уже десять жизней, если ни одной из них я не помню?

Говорят, что информация хранится на подсознательном уровне. Но на нашем подсознательном уровне должен как-то сохраниться путь в миллионы лет: от единичной клетки до нас самих. Мы можем чувствовать себя лягушкой, и папоротником, и каплей воды, потому что мы были ими когда-то, глубина наших ассоциаций - это глубина нашей миллионлетней памяти. И бывает обидно за обедненность человеческой жизни, которая прошла тысячи ступеней, чтобы достичь совершенства. А теперь эти совершенства убиваются из-за сапог и стенок, за всю жизнь ни разу не востребуя впиханную в них информацию. Только когда начинается обратный путь, человек может постигнуть не открывающуюся перед ним бездну, а в нем самом бездну, но, как всегда, - поздно.

8/12. Морозный дым в окнах шестого этажа и вычищенное морозом просиявшее небо, строгая нищета моей временной комнаты и не менее строгое одиночество последних дней прожитого года.

На кухне у своей двоюродной воронежской бабушки

Маруси, где уж меня точно никто никогда не сыщет. Как только появилась возможность, я начала упорно и наивно отстраняться от людей, от всех своих шумных когда-то друзей. Раз сообщества, суть которого была - любовь, не стало, отпала и надобность совместности, и тогда я тихонько, под общий, пока еще не затихший шум, сбежала. Глава «Друзья» была дописана.

А что, если все это - только мой абсолютистский эгоизм? Но если кто-то из них скажет, что я нужна им, как когда-то, я буду с ним до той последней минуточки, пока эта нужность не истечет. А пока мы играем в игру: я всячески скрываю свое сиротство, а они меня в этом старательно поддерживают. Хотя еще хуже было бы это сиротство навязывать.

Нет денег, нет писем от мамы.

Я как-то слепо живу. Со слепым и глухим сердцем.

10/12. Меня неразделяемая мной чья-то любовь ко мне душит, словно кто-то хочет посягнуть на единственную свободу - быть моей души. Но если любовь видеть именно как посягательство на, то надо отвергнуть все добро, нежность, ласку и мир, которые она несет в себе.

Я боюсь устойчивости, мне страшно выбрать сейчас какой-то город «на старость» и понимать, что все в нем - дано до смерти и ничего в устойчивом мире не случится. Комплекс «перекати-поля» или яд сиротства? Но страшнее устойчивости сейчас для меня нет ничего.

«Красота спасет мир», - утверждал Достоевский. А у Стриндберга - ангел лжи, засыпающий розами помойки. Второе, по-моему, более вероятно.

Философствующий слон.

13/12. Может быть, не надо бояться этой терпеливой поры ожидания, весь этот сон и покой - равнодушный расчет звезд. Читала вчера манфредовского «Наполеона» и убеждалась в этом: пять лет бездействия - и Тулон, еще пять лет - Лоди. Смешно равнять себя с Наполеоном, но речь

не о славе, а о путаных путях судьбы и воли.

Мир не замечает моего присутствия, как не заметит и моего отсутствия. Значит, я легко могла не быть. Так могла бы или все-таки нет?

«Будет и мой черед...»

Смотрела фильм по бессмертному Ростану: Фильм отвратительный, а Ростан прекрасен: ни плохая игра, ни бездарный сценарий, ни даже самая условность Ростана не убили жизни-легенды и волшебно-горького: «Зашла моя звезда...»

Трагедия у Ростана в том, что никто не умеет увидеть суть за сетью личин. Трагедия Сирано в том, что он слишком он, чересчур был и жил, его слова «все в жизни мне не удалось» не более, чем кокетство. В жизни не удалось, но жизнь удалась, потому что душа - сбывлась.

14/12. Вечером выпал снег. Как прощение над этой уставшей, сухой, как слоновою кожей, землей. Он падал безнадежно-стремительно, неся запах сломанной ивовой ветки и намокших без шапки волос, беспомощно тая в мертвенном свете фонарей.

Похоже, действительно удачей в этом году станет случайно выменянная квартира, в итоге свалившаяся, как нынешний снег, - с неба.

24/12. Постфактум. 15-16 декабря. Так бывает: мутная, стоячая вода схлынет, оставляя запах тины, ракушки, ил, но дышать уже можно легко, вялый воздух крепнет, и медленно, тайно рождается рыжая радость, распаивающая дни настезь, дни, которые проживаешь на этом легком, пахнущем яблоком вдохе. (...)

В Москве было холодно и призрачно, город стоял в утренней мгле, размытой фонарями, словно фантом: грандиозный, помпезный, азиатский; рубиново горели звезды сквозь ветки Александровского сада, и кованые боковые двери Манежа, казалось, ждали, когда улицы содрогнутся от грома копыт, чтобы распахнуться, принять

в свою пасть всадников минувшего века. Я брела тихонечко, перебирая Арбатские переулки: Староконюшенный, Серебряный, где-то внутри этой социалистической столичной громады жили милые, старые камни, и от этих камней становилось внутри горячо, возвращался детски радостный стук сердца от знакомых этих улиц, особого запаха метро, ужас быть раздавленной уходил от милых названий, и странен был мой поход в половине седьмого утра, в понедельник, задолго до рассвета, одинокий, сиротский поход вокруг Кремля, щетинившегося оружием постовых, по глотающей пасти Ленинского проспекта, по неродному городу, который уже потерял понятие «город», стал чудовищем, мегаполисом.

Всякий раз, проезжая от Москвы до Владимира, по сплошной улице III Интернационала (в каждом проезжаемом городишке) вздрагиваю при пронсящейся мимо надписи «Петушки», за которой - бессмертная именем Венечки крошечная станция и весь пронзительный, пьяный Венечкин путь «Москва-Петушки», оконченный шилом в горле, когда весь смех обрывается перед российской трагедией, выросшей на этих замшелых станциях, богом и веком забытых, опухших от пьянки и горькой российской тоски.

1/1 91. Распечатать последнее десятилетие века и тысячелетия, как пачку сигарет. Полнолуние, дразнящее и тревожащее, поселившее неясную смуту в душе, которая одиноко по веселящимся улицам выхаживала (...), притихшая и взъерошенная внезапным порывом, прорывом - сквозь молчание, ненавистный покой, безлюбное небытие души.

4/1. Петя сегодня - с глубокой обидой на мои невизиты к нему. Предэкзаменационная ночь, шуршание листами и словами сообща - когда это еще будет в нашей жизни?

Морозная ночь протекает в комнату через открытый настежь балкон, съедая сигаретный дым и запах чужого жилья.

7/1. Впервые за столько лет разрешенное официально белое православное рождество.

Стоит ли теперь гадать: был или не был, родился или не родился, когда идея христианства живет почти две тысячи лет?

Снег, внезапный и стремительный, как взгляд, брошенный на ходу.

1/2. Ночью снова читала Карабчиевского - о Маяковском. И еще его же стихи. Стихи плохие, но книга - у-ди-вительна. Меня всегда поражало это изысканное чувство слова, тончайший слух - у людей, не способных создать ни одной талантливой строки. Очевидно, их дар только перемещен в иную плоскость. То, что Карабчиевский пишет о Маяковском, - во многом поразительно точно и не только точно, но и талантливо.

3/2. Еле выбралась в морозный, застывающий на вдохе день. Пошла (снова - мука газетного заработка) на восхваляемую всеми выставку Исачева. Там играла такая занятная музыка и ходили, и вздыхали принаряженные дамы.

- Боже, - думала я в ужасе, - если я напишу: «Я на левую ногу надела ботинок с правой ноги», то все в голос скажут, что я - эпигон. А тут все ходят и вздыхают, а че вздыхать-то над этими вымученными картинками а-ля Иванов (и много кто еще а-ля), когда в них самого главного нет - авторства. Конечно, можно и после Рафаэля и Тинторетто говорить их языком, кто же спорит, но невозможно да и немислимо говорить еще и их же словами. Дело не в том, что он в XX веке рисует пророков и библейские сюжеты. Все дело в том, как он это делает. Уж если кожа, то - ни одной царапины, ни одного человеческого изъяна, даже морщины какие-то выглаженные и театральные, глаза - громадно-мертвые, лишённые всякой выразительности, груди - идеальной формы с обведенными циркулем розовыми сосками. Лица - золотые маски с полным набором драгоценных вкраплений, совершенно лишённые «необ-

щего выражения». От всей этой слащавой красоты становится тоскливо-приторно, и с какой-то особой любовью видишь реальные краски живых лиц, а не зеленовато-розовые маски. У самых красивых мадонн Рафаэля и да Винчи то нос длинен, то губы тонки, и эти нескрытые художником недостатки оставляют этих женщин на земле: они земные, они просты и человечны, потому что они ни в чем не противопоставлены нам. У Исачева красота - понятие надчеловеческое, в его лицах всего сверх - гладкости, ровности, красоты. Ни одному этому лицу, самостоятельной его скорби (без привлечения Библии как первоисточника) просто не веришь: маска не может страдать.

Немного странно так же головы тех же библейских пророков видеть в помойке у Аполлона, где и Египет, и кобры, и розы, и самое странное - то ли барабан, то ли бубен (вместо кифары!) в руках у златокудрого любимца. Всего для этих простеньких залов слишком много: упругих грудей, ясных очей, резиновых губ и пр. Простое, конечно, писать труднее. А когда Исачев пытается найти в языке иные слова, получается нечто невпечатляющее, вроде «Голубого Арлекина».

Во всем этом - поздно сформировавшийся, выпренный вкус человека с катастрофическим недостатком культуры. И еще одно, что включает дар, отсутствует напрочь - сверхчутье на правду полотна, его соотнесенность с мировым культурным рядом. Так пишет обычно заурядность и, конечно, находит свой восхищенный круг.

Рембо - торговый агент в Абиссинии. Рембо, после всех своих озарений и восстаний, добровольно надевший на себя восьмикилограммовый золотой пояс, и мальчишка - Рембо, мучивший когда-то Верлена, прощавшего ему за дар - все. Его детское восстание у пропасти: «Я протестую против смерти!»

21/2. Как много значит в этой стране то, где человек родился. В этой стране, где, по сути, не нужен никто - ни поэт, ни мессия, ни посредственность. Где все одинаково равны в этой своей ненужности.

Время. Это лишь наше ощущение перспективы пространства и действия. Время, запаянное в стеклянную сферу нашей планеты, время в наших ощущениях и только для нас (интересно, чувствуют ли его животные?). У Вселенной никакого времени нет. Может, это и есть вечность? «Ты уходишь в вечность» - значит лишь то, что ты перестаешь ощущать муку времени.

Вечность как свобода от страха конца. Нет ни конца, ни начала без времени. Конец и начало знаменуют его движение. Оно не может существовать без нас.

25/2. Светка. Странный поход в странную квартиру воронежских мальчиков. Стихи, музыка, пиво - все так похоже на нас, все так никому не нужно. Поэзия и музыка подполья, помоек. Мы - уродливое племя, растущее у помойных ведер.

Иногда все стихотворение как опорная конструкция существует, как крепеж для одной-двух драгоценных строк. И редко - неразрывно, едино и бесценно, как, например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...».

2/4. Липкий, задыхающийся денек. Цены. Головокружение политических войн, как в преддверии 17-го. Невозможность куда-нибудь уехать (деньги!). Неспособность тронуться с места (душа!). Душа, в которой пусто, пусто, пусто. Пустыня. Без тени - качающейся тени, дающей захлебывающуюся надежду. Вся действительность, эти бесконечные, пронумерованные печальные граждане в очередях, списки обменов, нищета и скотство российских городов, все это - пустыня, где душе нечем дышать и быть счастливой. Идти, идти сквозь это и где-то, в маленькой деревне, как в старой немецкой легенде, встретить не половину души, не созвучие, а зеркального двойника - и умереть.

Будьте честны - у нас, на всю протяженность жизни, нет надежды. Этому веку не до нас, ему вовсе ни до чего. Ему

нас - не надо. Ответного отказа не получится (смерть - не в счет; это не от века отказ, от жизни!). «Времена не выбирают...». Жить. Сейчас и сегодня. Сил нет. Заснуть. Сновидеть. Сновидя, уйти назад или вперед, скользнуть, как рыба, из руки сна - с реку. Не хочу знать ее названий.

Дали бы жизнь так - сказали б: «Ничего не будет - любви, привязанностей, быта. Но ты пройдешь мимо погибших цивилизаций и увидишь (на миг) их в блеске могущества, ты коснешься ладонью афинских стен, пыли Египта, почувствуешь прохладу Персеполя, заснешь у Царских врат, заглянешь в грустноглазые лица Аравии. Ты будешь понимать их жизнь, их язык, их книги. А потом, где-нибудь в пути, умрешь.» Я бы ответила: «Да! Да! Да!». Словно какая-то толика души уже вошла там.

Страна, как Уголино, пожирающая своих детей. Когда же ей, наконец, дадут затылок епископа Руджери?

5/4. Страстная пятница. Этот помойный город. Окно. Черные ветки яблони, орущие коты. Днем - теплынь, в полях - вода, ринувшаяся, казалось бы, чуть не из-под земли. Леса по колено в воде. Мое невиданное одиночество здесь и безнадежность.

Сказать: мне плохо и даже - очень плохо - ничего не сказать. Судьба, которую никак не перешибешь...

У меня от всего этого не душа устала, а души не стало, вот.

6/4. Дом для меня везде, где есть окно, куда можно смотреть (до-олго смотреть, как тот волк - в темный и странный лес, он же - жизнь), стул и стол, куда можно положить тетрадь. А лес ли, жизнь ли - все одно будут где-то сбоку, за окном, я в ней всегда, как в приличных домах - посидели на краешках стульев с прямыми спинами, прожевали вату любезностей - и разошлись, а разойдясь, тотчас друг о друге и забыли.

Воронез, зачаровавший меня, как флейтист - крысу, как мрамор фонтанов Равенны того дикаря, пришедшего

завоевывать и ставшего - завоеваньем. Город, приручивший меня, как бродячего пса. У меня нет ничего - роднее (ненавистная «малая родина» - не в счет), никого роднее, ибо Город уже стал живым, знаемым, как любимый человек - наизусть.

7/4. Христос выгнал меня из храма, и я-таки пошла в светлый праздник на базар - так нужны были деньги. Продала платье. За два часа в итоге заработала 230 рублей. Как понимаю я любителей легких заработков!

Должно же все-таки хоть что-то измениться в моей ничтожной судьбе. Должно? Кто тебе эдакую чушь сказал?

Ходят, ходят с обменами и морщатся: нет ванной, нет балкона! Как будто это я виновата, что какие-то дураки настряпали такое убогое жильё (и такому рада, да не здесь).

Пасхальная трескотня с утра до ночи, служение на Красной площади в соборе Василия Блаженного. А я помню еще 83-й год, когда войти в церковь можно было, только прячась за чью-то спину, а пасхальные проповеди послушать по радиоприемнику - оттуда, всячески глушимые нашими ревнителями. И вот - разрешили, а радости нет. Растоптали, а потом уж и разрешили, а теперь вряд ли кто отчетливо помнит, что с этим разрешением делать. Неумело ставят свечи без особой веры, а со страхом скорее, от страха. Ставят, словно откупаются. Я поставил, а уж вы там - зачтите.

9/4. Апрельская ласковая теплынь, короткий апрельский вздох, который транжирю на сны и мечты (...). Брошенный диплом по Цветаевой. Жаль времени, потому что за Мариной Ивановной пути нет, ни учеников, ни школ - ничего быть не может. Жаль времени на чужое (бесспорно прекрасное), когда нет на свое.

День с легкой, как сигаретный дым, влюбленностью в мальчика Валеру, одним взглядом жившей (и - воображением). Без единого желанья. Каждый апрель появляется

это - солнечный нагретый кровавый ток от глаз и губ, которые ничего не несут, кроме тоски, у которых всякий раз разное и все-таки одно имя.

Всякий апрель - последняя надежда родства, сродства, гаснущая, впрочем, вместе с апрелем. Один и тот же сон - ослепленный шаг по сияющему солнцем коридору, неслышный толчок двери и такой же неслышный шаг, сдерживающий срывающееся дыхание и стерегущий непрерывный (из апреля в апрель!) сон, в который я протягиваю руку и из которого мне навстречу - глаза (о, не твои, вифлеемские!), но все глаза, в которые я на своем одиноком пути засматривалась (как - в окна), которые меня на короткие дни и ночи лишали покоя, которые никогда мне не было дано даже поцеловать. О которых я в своих тетрадках писала - поэмы, а в жизни им навстречу опускала глаза и только во сне было даровано - глаза в глаза, в световом, пульсирующем потоке сна - рука к руке, душа к душе. И никогда не сбылось.

Взгляд, ненасытимый, как глоток (легче умереть, чем оторваться, или - умереть, оторвавшись), нежность, которая так сильна (ибо страшнее смерти...), что не дает коснуться и... И ничего. Это не может длиться во времени, потому что это - останавливает сердце, останавливает тот гетевский миг, выше которого ничего нет (потому и не надо - длить). Такое есть в «Смерти в Венеции». Ненасытимая жажда духа к миру. Нескончаемая тоска духа по своему телесному завершению, воскрешающая всю тоску мира и зовущаяся в мире - любовью.

16/4. Целый день стучу на машинке осточертевший диплом - последняя дань болезни-любви к Цветаевой. Последняя, потому что пути за ней нет (не надо и пути), потому что это гений лирической субъективности, и ни учеников, ни школ у нее быть не может. Такой огромный котел, где все в себе варится.

18/4. Все мои воронежские друзья упорно молчат.

Сколько раз было это уже с городом, словно курортный роман - без продолжения. Стоило мне из него уехать, как о моей судьбе все забывали напрочь, и всякий раз приходилось начинать сначала - с поисков углов, где можно было жить, сердец, которые можно было любить. И всякий раз все безвозвратно терялось. И потом я теперь ничего не могу им дать (все, что могу, - им не нужно, да), а самой просить - нет, нет и нет. Вот, наверное, и кончилась дружба пяти лет. А что мне без нее весь этот город?

22/4. Так хотелось увидеть тебя, что не выдержала - помчалась на последний автобус. Было солнце, легкая пыль билась в его лучах, мужики сзади матерно ругались, а я всякий раз вздрагивала, мне казалось, что ты войдешь и поймешь сразу, почему я тут. Но тебя не было. Шла пешком к бабушке мимо плещущего через край птичьим пением леса и зеленого пламени полей, какой-то особой и хрупкой апрельской пустотой, всасывающей каждый звук. Шла и думала о тебе - так много и долго, что стало казаться, что думаю тебе в ответ.

У бабушки пропал мой любимый, привезенный из Дежа черный кот. Сашкин кот, тетиолин кот, их светлой памяти. И вот - пропал. Так уж до конца оборвалось.

Зачем-то зашла на кладбище, может, примеряться и рассчитывать? Зашла и ужаснулась: наши кладбища еще бездарнее наших городов, грязь, прикрытая безвкусицей пластмассовых цветочков. А главное, и тут нет одиночества, и тут типовой город с типовыми могилками. А хотелось бы лежать между двух бабушкиных берез возле ее дома (единственный дом и место, по которому я всегда скучала), лежать и слушать старый березовый шум.

30/4. По ночам бродят босоногие дожди, по ночам же с больной и отупевшей головой читаю «Бесов», влюбленная в «змия» Ставрогина, и не влюбленная, а привороженная. И жаль - все были им заморожены, но никто не любил (не любовь - чара), а потому никто и не подумал о нем, о том,

чтоб спасти. Там, где кончался Ставрогин-змий и начинался человек, там все отворачивались (чара кончалась, а любовь не приходила).

Я здесь уже второй месяц, и ни разу еще ни с кем не удалось и не довелось поговорить, как привыкла - когда понимают с полуслова, любя то, что я, живя тем, чем я. Я ни с кем ни на минуту здесь не ощутила родства. Это страшнее, в конце концов, бездомности, это загоняет душу в тупик, где она сиротеет и мелеет. И душе нужна своя экологическая ниша, чтоб не задохнуться.

Город, раз в году выходящий на площадь - солидаризироваться (солитер-Соликамск-скипидар), а потом наедаться и пить, и упираться лбом в телевизор, и идти ко сну, как ко дну, - без сновидений, как камень (где все бессонницы и любви напрочь выгнаны за стены города, и только луна иногда плещет тревогой в их заспанные, залитые жиром лица). Город-гнойник, которому еще сотню лет пухнуть и не взорваться. Город, где душу не выпускают на улицу, а держат в чулане, и ее так мало, и так слаба, что там навсегда и остается.

Кругом канавы, забитые мусором и увенчанные непременно дохлой кошкой или собакой, тетки с непомерными задами, вечно чего-то в очередях ждущие (есть нечего!) и, судя по размерам задов, вечно жрущие, время, прищемленное шлакоблочной плитой и никак не кидающееся вперед, вот уже 70 лет на месте стоящее. И среди всего этого - чудесная библиотека и ночные полеты и походы, беседы и любви, и - представь себе, что всю жизнь вот здесь, и никогда и ни с кем об этих полетах, а всегда одна, одна, одна. Не получится так - всю жизнь. Тихонечко подыщешь крюк и - сбежишь.

Начать все с начала. Как 5 лет назад, сбежать в совершенно чужой город, заблудиться в нем в ливень, под вечер, и 5 лет приручать его постаревшее, чудное сердце. И приручить! И все это, любимое до тоски, когда-то бросить, чтобы всю жизнь потом оглядываться.

Читаю Пастернака, прозу. Насколько она роднее язвя-

щего, точного Маринино конструктивизма, которым я когда-то болела и за которым все-таки никогда не пойду (никто не пойдет!). И хотя у Марины самое частое слово «душа», оно какое-то головное, и все «сердечные дребезги» напоминают холодные математические формулы, словно она придумывала, какой должна бы быть любовь, но никогда не любила. Чем дальше, тем больше точности и надрыва, глубже разум. Честность математика.

1/5. Пишу дату и пугаюсь ее - время! Спишь, плачешь, хлопчешь, а оно идет и идет - к концу. Все думается, что это лишь репетиция, а сама жизнь будет там. И выходит, что лист остается нетронутым.

Сегодня ветер. Прозрачная музыка комаров, июльский писк их ничтожных теней. Примеряюсь в дорогу, куда уже не хочу вовсе.

Часто читая на ночь сказки Женьке, успеваю удивиться: много-много лет назад драматическим обращением в сказке было: «Я тебя съем!» С тех пор съедать друг друга стали куда как чаще, а сказок не стало вовсе.

26/5. Сегодня - Набоков, его усиленное, почти микроскопическое видение деталей, мощная память, воскрешающая даже то, чего нельзя вроде бы воскресить - запах, дающий как бы ответную памятную волну. Глотательные движения балконных дверей - от сквозняков.

Вечерняя прогулка по обмакнутому в мягкую темноту саду с сильным настоем трав и листвы в шумящем воздухе. Небо, словно темный чулок со съехавшими кое-где петлями, в который бледно и телесно проглянули маленькие точки звезд. Июльский налив луны с темноватыми, словно от пальцев пятнами на боках, подсветивший невнятную громаду облаков, угрожающе сдвинутых к саду. Полнолуние и тьма в саду, слабый соловьиный плеск. Ночь, только и годная, чтобы открыть бестиарий.

29/5. Последние дни весны, переползающие, точно зелено-коричневая ящерица, в лето. Вкрадчивый частый дождь, отмывший воздух до эластичного, скрипящего блеска, жестяной стук капель, болезнь, вычурные, округлые тени от лампы на истертом паркете, ночные бабочки, влетающие из влажного куска темноты за распахнутым окном.

Сегодня под вечер - из мягкой зелени сада - туман, далекие вспышки грозы и переливы окон в высотных домах, хранящих, кажется, такой покой и устой!

Отказалась от обмена на Воронеж и, может быть, сильно об этом пожалею. «Никогда ничего не жалею, не считай и не бойся»!

1/6. День лета, редкие удары капель о жестяной подоконник. Я не могу уснуть не до рассвета, а именно до астрономического календарного утра. Мое прошлое приходит ко мне, мучает, как сны по Кафке, выщарапанные на нем. Слишком близко, а потому трудно, потому что разделить это, как горе, мне не с кем.

Ласточки, стригущие небо.

На последней странице каждой из сегодняшних газет надо поместить: «Вытирайте руки!»

Как немилостив нынче ко мне год и город!

5/6. Культурные диалоги и монологи сейчас усложнились, прессуя в себе предыдущие культурные слои, они стали понятны единицам, словно шифр. А миллионы людей идут к фантастическому оплощению и упрощению - к расхожей утилитарной схеме. Культура для избранных? Да, самих себя избравших.

8/6. Сданный последний университетский экзамен. Чем дальше, тем тягостнее, как перед разлукой с любимым. Город - вот что меня гнетет. Необходимость его покинуть и жить вполборота к нему, и никогда не суметь вернуться.

Ночью - тяжелые, растрепанные пионы на столе, колючий шорох крыльев ночных бабочек, их треугольные

полосатые крылья.

Чудо июля - Эдем, райские кущи, акации, каштаны, трава - мне в рост. И сладкий, тяжелый от роз и пионов воздух, и горячий роман с этим проклятым, выплывающим меня городом.

У меня комплекс северянина по отношению к югу.

15/6. С универом - все. Никаких движений, кроме сонливой навязчивой усталости, желания лечь в воду реки и плыть на спине, глядя в небо, забыть нестерпимый зуд будущего, непромытый бред настоящего, раствориться в однообразном медлительном течении воды, проколотой прозрачными рыбьими тельцами и исшарканной водомерками.

У меня нет мужества жить, идти к людям и оправлять мысли в слова, давно произнесенные в тебе самой, начинать, зная, что это заведомо кончится, и дожевывать изжитые отношения. Беда в том, что мы всему придумали неверные названия и назначения, обещали то, чего никогда не могли дать, мы придумали коллективизм, дружбу, счастье - множество пустотелых слов-шариков, которые выносили для демонстрации, забыв, что каждый выживает в одиночку. Одиночество и любовь - два ключа к бытию, но и то, и то мы перевернули, мы учились страшиться одиночества, взваливали на любовь общественные нагрузки дружбы, мы в любви спасались от одиночества, не понимая, что это отмычки одной двери.

Названия трав, что мы всю жизнь в неведении топчем, часто звучат, как стихи, их длинные диковинные окончания сплетаются тонкими стебельками, источая запахи июля или сентября.

Внизу бьют стекла - они осыпаются, как ноты или лепестки - каждый несет и губит свой звук или нежный, чуть окрашенный, как рассветное облако, бестелесный оттенок.

Любовь - почти что тоска, если дать ей жить, она тотчас же начнет занимать чересчур много места. Я знаю, давно уже знаю, что стоит лишь заснуть у плеча полуночной

ласке, как она разнежит шероховатую и твердую наощупь, как орех, горчащую душу.

Любовь похожа на неприрученное племя кошек - она приходит на мягких, неслышных лапах и ложится рядом с тобой, ты кормишь ее с ладоней, иногда она дает заглянуть в свои немигающие глаза с узким, плавающим, как миндальное зернышко, поперечным зрачком, а потом уходит, и даже если ты знаешь, что идет она к помойному бачку, ничто не сможет ее удержать, даже в самом тесном жилище она отвоюет свои сантиметры свободы, наполнив их запахами, смысла которых тебе никогда не понять, и разношерстным сиротством.

Иногда тоска выбирает себе имя, сегодня ночью она звалась Ванькой, укрепившись на час на этом пределе, не расползаясь, а поднимаясь вверх, к самому горлу, жадно глотающему воду и имена. Когда тоску называют по имени, она становится маленькой, ее можно укачать, как малыша: спи, глазок, спи, другой, спи и третий, спи, спи, трехглазое чудовище, льнущее к солоноватой коже чужого плеча. Страх, наползающий медлительно, как бестелесные минуты растущего светового дня. Спи, спи. Почему нужно спать в июле, оставляющем ночи только вялое обещание темноты?

Спи, глазок, спи, другой, а ты, третий глаз, не спи, чтобы увидеть, что ничьи руки не могут укачать чудовище, кроме моих, чтобы понять бесполезность и ненасытимность скользящей близости чужого тепла.

Это об одиночестве, которое я не выбирала, это о нежном сне избранничества и блаженном июне, новые ростки которого пронзают мою душу, как стрела из омелы - Бальдра, и на месте ранок вырастают полые камышовые дудки тоски, и они выдувают мягкие завитки бреда в пятом часу утра, уже чуть тронутого солнцем и птичьим плеском.

Нас, наверно, слишком долго кормили романтизмом, чтобы не разучились совершать глупости.

21/6. Кто твой ближний? - Тот, кто больше других в тебе нуждается. Достоверно одно: сейчас во мне не нуждается никто. Никаких иллюзий. Это одиночество научило меня

быть жестокой к себе.

Целыми днями хожу и прощаюсь со всеми - мысленно. Вблизи не могу, вблизи - боюсь: зачем им нужна моя нежность, если не нужна я? Хожу, как сомнабула, с увеличительным стеклом памяти и незаживаемой горечью, потому что одна знаю точно, что расстанусь со всеми и совсем.

Как легко смотрят они в будущее в стране, лишавшей надежды и не такие сердца!

Ночами и днями - ожесточающая жара, лишаящая тело - воли, а голову - мыслей, нигде и ни в чем нет облегчения, а надо жить, а жить - это ходить по ста кабинетам, паковать вещи, и даже под утро в липкой, задыхающейся дреме, думать об отъезде, хотя давно (с самого начала) было ясно, что уезжать мне отсюда некуда.

Из дома - никаких вестей. Бездомно. Страх долгого умирания. Часто вспоминаю судьбу Овидия, не потому, что поэт, а потому что так же уезжал к людям, которые даже не знали его языка, и так же никогда не смог вернуться. Я бы сказала - страх, но это сильнее, чем страх.

Господи, если б я знала, чего хочу! Но зато точно знаю, чего не хочу - попасть в штампованную машину этой страны. Спасибо. «Сыто по уши».

Нежный, кисловатый вкус ягод, пустота жаркой ночи.

22/6. Пять лет назад я стояла в Питере на перроне Витебского вокзала с двумя билетами в руках - на Минск и Воронеж. Поезда отправлялись с разницей в 10 минут. Вторую неделю шел дождь, меня провожала одна Наташа. Я стояла там, раздираемая двумя железнодорожными ножами, вымокшая, как пес, и мучилась адом сомнений. Все повторяется - через пять лет.

7/7. Сегодня слушала интервью с Невзоровым и по-настоящему жалела его. Одинок (есть лишь котелок - Ландсбергис). Талантлив (но все уже потерял, всех вокруг, а передачи один не сделаешь). И зол. Ненависть как

козырная карта. Все, что он, как головановское чудовище, вырвал у времени. Хотя, кажется мне, ненависть - она для кого-то, а внутри себя - уязвимость. Но страшен он в коробке своей ненависти, всеми уже оставленный, падший кумир. Потому-то и тронул так.

Светлые, безумные, без зрачков глаза.

9/7. Иваново. Город, где хорошо не жить, а умирать. Погибать. Грязь (невероятная), лопухи, репей, голод и особая нищета духа, какая-то невероятная его скудость. Кругом - знаки вырождения и гибели.

Хочу города, который хранил бы мой романтизм во мне.

Свобода как камень, созданный для человека Господом, камень, который он и сам уже никогда не мог поднять.

10/7. Наверное, мы сами трактуем действительность (разве не пример тому - Кафка, превращавший торгового агента в гигантского жука и заставлявший его в эдаком виде жить в семье - самый чудовищный образ человеческого одиночества, который я знаю). Кафка, о котором: «писатель жил в пору социального кризиса». А откуда им знать, как в эту пору разламывается душа и в этот-то разлом устремляется вся так называемая реальность, рождающая те муки, которые принято называть кодировкой действительности или творчеством.

16/7. Мама сегодня привезла письмо Светы. В нем почти все, что я хотела сказать ей: и невозможность видеть людей, и неспособность жить, как они, и детский вой волчонка по утраченному - уже навсегда - родству.

Странно, что многие вещи мы начали понимать почти одновременно и одинаково.

24/7. Сегодня мне 25. Зажмурить глаза и не вспоминать - время! Я привыкла все дни рождения переносить стоически - без поздравлений и звонков. Мой самый грустный летний день. Как всегда, не вспомнил никто.

Друзья, которые помнят обо мне, пока я рядом. И

которые так заняты собой, что уже не вспоминают человека, удалившегося на расстояние вытянутой руки.

Ливень. Поиск работы. Болезнь.

3/8. Сегодня в ларечке между помойками и матерящимися мужиками купила журнальчик только из-за репродукций Босха. «Сад наслаждений» («Тысячелетний рай»), от которого сатанеет душа. По этому саду ни бродить нельзя, путаясь в комочках воображения, ни остановиться в нем зачарованно, на него только взглянуть чуток, как в замочную скважину, и заледенеть.

Почему-то кажется, что в современности ближе всего к Босху Кафка - тот же одинокий, чудовищный мир, сновиденный, между землей и небом. Хотя кафкинский Грегор-сороконожка страшнее всего «Тысячелетнего рая». Но ведь между тем и другим - разлом в шесть столетий, разлом, в котором человек в своем одиночестве успел повзрослеть.

25/8. (...). И быть застреленным у нас скоро войдет в привычку и в обиход - выброситься из окна. (О смерти И.Талькова в Питере).

Просто в какой-то день я потеряла и всякую веру в свое предназначение, ну что, ну какое предназначение у нас - всех - в этих очередях, в этой бедности - бедственности - беде? И за монастырскими стенами, так ревностно воздвигаемыми годы душой, враз начались разор и запустение, а ведь я расчищала когда-то каждый угол этого здания, чтобы никто и ничто не помешали принять посланную Богом весть, а ведь я так терпеливо выгораживала эти стены - от всего...

28/10. Есть вещи, затверженные наизусть и то и дело угодливо подставляемые нам на парадно-выходном блюде истины, как вырванное у Федора Михайловича признание о спасательной миссии красоты. Демоническая, ангельская, добрая, злая, греховная - это все эпитеты качества, пытающиеся вяло определить ее роль в мире, причем качества, уже друг друга уничтожающие, и окрашенные,

как лебединые принцессы из небезызвестного балета. Так губит или спасает? Если следовать человеческой природе, красота рождает-таки желание обладать ею. В самом по себе обладании нет ничего противоестественного, кроме того, что в самом себе оно уже несет зерно разрушения.

Кажется, у Цветаевой: «Любить человека - значит сказать ему: ты никогда не умрешь». Обладание - это наивное заигрывание с вечностью, ведь, обладая, мы можем всю жизнь репетировать сцену прощания и все-таки не проститься. А в чем, в принципе, заключается обладание красотой? Только в том, что мы ее можем каждодневно видеть. Однажды испытанное наслаждение длить бесконечно.

И все-таки - наслаждение ли?

Я не знаю ничего сильнее того чувства смятенности и боли, и беспощности, и гибельности от непоправимо красивых лиц или линий: тела, собора, картины. Недаром ведь в народных сказках: «Глянул, и в глазах потемнело». В глазах потемнело, сердце заныло, как перед бедою. Сколько еще примеров в тех же сказках: «Перестал есть, пить, стал больным...» А вся литература с ее «Мне бы только одним глазком посмотреть», «Видеть вас», вся эта империя взглядов, ненасытимых, томящихся, мучающих... Ни одного действия еще нет. Только одно - взгляд. Обесточивающий. Дальше все, дальше тихое помешательство, мука и магия красоты, которую в себе хочется длить, для того, чтобы длить - видеть, чтобы видеть - обладать. То, что мы ради этого обладания совершаем с собой, несет разрушения более беспощадные, чем даже утрата близкого, подчиняясь этим непрерывным и жалким требованиям обладания, мы можем достигнуть беспредела, как набоковский герой в «Камере обскура» или подзамусоленная Анна Толстого. Хотя это крайние воплощения ситуации, достигшие вроде бы в своих желаниях - всего и все одно потерпевшие поражение. Ну, а если взять иную крайность, хотя бы манновского Ашенбаха? Необладание. Магия взгляда. Силовое поле взгляда. Итог - тот же.

Мне, конечно, возразят, что ведь не все от соприкосновения с красотой гибнут. Нет, конечно, только те,

кому дано сильнее иных почувствовать ее. Но разве в самой красоте тоже не лежит зерна саморазрушения? Что в итоге разрушает Людвиг у Висконти? Может быть, зерно распада, посеянное его собственной красотой?

Почему-то кажется, что очень красивые люди редко бывают счастливы. Обожатели им навязывают жизнь полубожества, сама жизнь предлагает путь попроще и попроще, но дело даже не в этом. Может быть, истинное чудо красоты рождается окончательно тогда, когда ее коснется полубезумный, ушербный дух? Разве они не в вечном взаимотяготении и обмане, думая, что укрепляют друг друга, на деле только разрушают (тому пример - Пушкин и Гончарова).

Взгляд как первая из человеческих попыток спасти красоту от распада. Опять же цветаевское - пока я смотрю на тебя, читай - люблю тебя, ты не умрешь.

3-го ноября я крестилась в бедной деревенской церкви, почти один на один со священником и двумя тихими старушками, прикрывающими мне плечи желтой от пятен простыней от страшного холода, и целовала темные иконы, и не чувствовала облегчения.

Ноябрь. Самый темный и вязкий месяц года, к четырем часам съедающий день без остатка. Вялый, задыхающийся свет, бездарные домики, как солдаты в шинелях, под ногами - мусорные кучи и жидкая грязь. И люди, от которых душа превращается в какой-то неподвижный кокон. «Когда я вижу глаза моего народа...»

Город, похожий на опустившегося люмпена. О, город в нашей судьбе никогда не статичен, он притягивает, мучает, задает загадки, он соучаствует в нашем росте, снисходительно и безмолвно принимая роман с ним, или замораживает душу, как этот, которому я не обязана ни крупницей своей души, ни-чем!

Все эти дни впервые, может быть, даже за карусель студенческих лет ощущаю, что такое голод: в доме ни крупы, ни масла, ни хлеба, ни-че-го, а главное - денег, на которые все это вроде бы еще можно купить. Четыре куска

сахара, принесенные в кармане с работы и горстка «бычков», вымоленных почти до фильтра. Но зато каждодневное, как «Отче наш», завывание с экранов: «Биржа!»

Как я понимаю Раскольников, о, как я теперь это чувствую! Как и отчаянное цветаевское: «Я одна в этом мире и потому - на все вправо».

Если угодно, историю Раскольникова можно втиснуть в трагедию маленьких людей (ах, всякий человек на Руси и мал, и слаб, и богооставлен), не пожелавших остаться маленькими, стираться в беспредметные пятна в толпе. Дело ведь не в том, что убил, а в том, что захотел Стать (кто знает, кто испытал на себе эту пожизненную муку: Быть и не Стать. Не смочь). Я говорю о мотивации, а не о средствах. Высиживать ночами в своем закутке без денег, без завтрашнего дня в опустившемся, грязном и призрачном городе, мучительно подсказывающем тебе путь, сидеть днями, годами и знать, что тебе никак не осуществиться в жизни... Мне кажется, что в покаянии Раскольникова нет искренности, не об убийстве он сожалеет (он внутри себя даже как-то от него отмахивается), а о том, что оно никогда ни к какому становлению вести не могло, не то чтобы ему страшно за неверность пути, им избранного, а за то лишь, что путь этот вовсе не к той цели ведет. Ведь не побрякушки же в сафьяновых коробках ему нужны были, а обретение власти и силы, которая и такие побрякушки дает, и много еще чего.

Путь Раскольникова - скорее путь богоборчества, ад высокомерия и люциферовой гордыни, в его смирение даже на каторге не веришь. Как человек, рехнувшийся на идее, он от этого мира отстранен, он и убийство-то совершает так же отстраненно (вся его техническая подготовка - дань идее, а опять-таки не убийству), вынужденно и принужденно, как насильный обряд хождения на работу, отстраненно, потому что это, занимая ум, никак не занимает душу.

И может быть, только теперь, когда все беспощадно устремились вперед, расталкивая друг друга локтями, может быть, только теперь, когда хищничество возведено в принцип, я понимаю порыв (на деле - прорыв) Родиона

Раскольников, его бессильную, смехотворную попытку преступить, чтобы Стать, попытку, не родившую ничего, даже покаяния.

17/11. Каждый гражданин нашей страны имеет право пугать и быть испуганным.

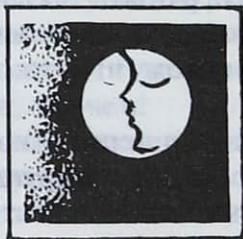
Все как-то ненадежно и зыбко: обменов нет, ВГИК не отвечает, друзья не пишут. Денег нет тоже.

26/11. Уже год, как распечатали последнее десятилетие века, словно пачку сигарет. Еще впереди - мишурно-елочные восторги, тоскливые, как завыванья пустого желудка.

Вечерняя смутно-лиловая мгла, сквозь которую изредка - луна, завернутая в серебряную фольгу забытого шоколада. (...). Подзабытый январский календарь с бабкиными рождественскими открытками, где слова благоухают розовым маслом. Тишина в домах, собачий лай. О, эта юродивая пустота времени, о, скудоумие его лживых, как китайские будды, посулов!

Вчера на автовокзале какой-то пьяненький Сережа подсел ко мне и все рассказывал историю своей жизни. Сидел за друга, родители умерли, жена не дождалась. Приходит в пустой дом и не знает, зачем ему жить. Как я понимала, о чем он говорит, но помочь ничем не могла.

На экране - сплошное паскудство и бесовство с главным бесом - Невзоровым во главе. Новоявленный Николай Ставрогин с такой же удушающей красотой и такими же глазами, сеющий тот же ужас вокруг. Надо всем этим можно посмеяться, но сколько людей слова поймут эти буквально!



ПИСЬМА
«...В НИХ МОЁ УТЕШЕНИЕ...»

...единицы, что бесценно, взамен которого попытку
... чтобы Святая попытка, не рождаясь никому,
... дала...

17/11... гражданские... право
... в...

... обмен... ВНИА не
... Денег нет тоже...

... последние...
... минута...
... жалею...

... жалею...
... открыт...
... жалею...
... жалею...

... жалею...
... жалею...
... жалею...
... жалею...

... жалею...
... жалею...
... жалею...
... жалею...



ПИСЬМА СВЕТЛАНЕ И ДМИТРИЮ КОСОВЫМ

1

(...). Знаешь, у меня все никак не может определиться ощущение конца, я еще по вечерам ловлю за хвост свои мысли, что, вот, неплохо бы поехать к Косовым и поговорить с ними немножко о Гоголе, кот. читаю, или о свободе, или просто разделить с ними свое сиротство.

Сегодня идет дождь, и я как-то отчетливо ощущаю, что вас рядом - нет. И дождь, и безрадостные углы, даже книги, случайно выхваченные с полки - Кафка ли, Гоголь ли - все напоминает и не о сиротстве (кот. суждено), а об особой оставленности (кот., м.б., дарована?). Как понимала я всегда судьбу Овидия, как внутри себя знала эту проклятую, глухую Бессарабию, в кот. он был заточен, это песье услужение судьбы.

Целый день была одна (что с присутствием Джеки - редкость) и рылась в дневниках. У меня четыре тетради, записанных вашими именами. Там еще Олег, мой Олег, мой и Ахматова:

- Мне ни с кем не бывает так хорошо, как с тобой и Ахматовым, п.ч. вы никогда не посягаете ни на что во мне.

Тот Олег, которого я в себе со слезами провожала.

Там, в этих тетрадочках, так много нас, тех, так сильно, что мне даже стыдно немножко, что все это у меня, как у скупца (когда меня не станет, возьмите их себе, они - ваши, п.ч. добрая половина их - о вас).

Там есть первая наша весна (та самая), ты и Олег, чудо твоей простоты и чудо Олега, появлявшегося на пороге внезапно во внезапный час, длившийся в нем и уходивший, как верная собака, - с ним. Так приходила в дом радость - без календарей и звонков, входила - будто сто лет и жила в нем, а потом даже не было грусти, п.ч. никогда не существовало утраты, п.ч. терять было нечего - ведь ни на что не посягала.

Вот день - мы жарили с ним на решетке курицу, томились в ожидании воды и звонили всему Воронежу, спрашивая - не разбирается ли кто в цветных телевизорах? Смеркалось. Кажется, Олег не выдержал - достал бутылку

«Изабеллы», бокалы, поставил свечу на стол. Мы пили, вдыхая запах нагретой листвы и солнца. Олег показывал какой-то школьный альбом («Только тебе и Ахматову!»). Город, в котором мы так и прожили - беспризорниками, взрывался фейерверками. Наступал 1990.

Прошлое мстительно. Иногда оно настигает нас в самых безопасных местах. Это не ностальгия, это - месть, хотя я никак не могу определить, за что? Ведь все эти дни, часы, минуты были выдраны из помойной ямы всего нашего бытия, ведь их - в общем итоге, было так мало и в них порой было так больно!

Если уж быть совсем честной, то нам мыслей не было даровано, мы все создавали силой своих душ и притяжений, о, нет - даром! - ни одного шага, и какая может быть месть, если все счета мы оплатили вовремя и сполна?

Чудом были все вы и то, что на какой-то час мы устояли на взаимном кругу притяжений, хранили друг друга в себе. И даже это пришлось отдать, сдать, как простыни и матрасы в общежитии, - другим. Время роста.

(...) я уже давно научилась быть - без всех, жизнь, «эта великая насильница душ», выучила меня спартанству, это не полудетский косовский вопль: «А как же мы?», это месть своей памяти или (что вероятнее) - месть мне.

«Мы еще не выросли до пустыни» - и у тебя, Светка, оглянись и посмотри внимательно. Разве тогда, «на волне двухгодичной давности», тебе было легче, чем сегодня? Мне, верно, даже труднее. У меня эта пустыня - была, недаром ведь в прошлом году Гоше:

И есть твоя печать в моей пустыне,
Дремотные касанья ласки поздней,
Истертых слов старания пустые
И кислый сок из недозрелой грозди.

Я все и всегда в этой пустыне принимала, как дар, и вас - тоже, и не моя вина, что я потом за этот дар сражалась, отвоеывая его (не для себя - в себе), что я захотела его длить, а в итоге ничего не получалось - даром. (...).

Кодировка действительности всегда чревата, она разламывает божественные вертикали и горизонталы, создавая то большие уши (чтобы лучше слышать), то

большие глаза (чтобы лучше видеть), то слишком большие души (чтобы лучше ранить), кодировка притягивает, да, но за ней остается еще некая туманность - она-то сильнее всего. Можно быть поэтом, не написав и строки, и быть самоубийцей, умирая в своей постели. (Вспомни Гарри Галлера). Он же - Герман Гессе.

Суицид не суть - формула духа, он означает его конечность или невозможность быть.

У Гоголя в письме читаю: «Успеть, успеть сделать то, для чего я призван», у Кафки: «Для чего-то вместили в меня этот чудовищный мир». У М.Ц.: «Могла бы еще, но свободно могу и «не». Завершено». Эти - завершили. Эти - успели.

Я читала много из тех, кто ушел - сам, но все они, по моему, понимали, что не высшее блаженство нужно, а итог - всему.

«Не был. Был. Был. Не был». Как просто у Фолкнера. Ведь то, что притягивает, - это пропасть духа, а не сила прыжка, тем, кто может прыгнуть, лучше помогут советские газеты, чем стихи Саши Башлачева. Не пропасть, куда они, а пропасть, которая вне их.

Если б по христианству, по все просто - человек не может по природе творить, творец один - Бог. Человек, начинающий движение творца, должен спорить с Богом, обращаясь за помощью к дьяволу. За то и платит. Но это тоже просто, чересчур примитивно, мир не делится на черное и белое, на Бога и дьявола, он страшнее и глубже, религия - это страусиная голова в песке, чтоб не видеть его ужасающей глубины и безысходности. И даже смерть - это еще не окончательное уничтожение, п.ч. будет уничтожение еще худшее, когда последние частицы растащит вакуум - небо, куда мы вроде стремимся попасть (на деле - пропасть). Косов бы сейчас поднял вой, хотя чего уж - десятая жизнь. А за ней что? Тот же вакуум, кот. посиживает - там и всех нас стережет.

М.б., мы так старательно идем в кругу своих притяжений, что моделируем ситуацию своей планетки, планетки, кот. отстаивает свою единственность в этом чудовищном пространстве, свое право - быть.

Странные мы - смеемся над газетой «Астрал» [и]

инопланетянами и верим в Бога, кот. якобы для того и существует, чтобы заниматься исключительно нашим поселением. Нет, Косова не хватает явно, я тоже хочу с ним поговорить о Боге, и суицид - дело не божеское, а людское, это очень жестокий выбор или еще что-то.

Я когда-то часто ходила на кладбище, пошла и теперь. Сидела на перекошенной лавке и смотрела в остановившиеся глаза выцветших фотографий и вдруг - как это объяснить? - мною овладел соблазн боли, словно необходимо было разрушить тело, чтобы выпустить на свободу - что?

Свобода. Слишком велик соблазн. Я же все понимаю - что я не вырасту больше, чем есть, что все до меня - сказали, что все мое существование ... никому не нужно и что дальше вряд ли что-то будет - замечательное, дальше, как о Кафке - «писатель жил в пору социального кризиса». (...). Страх? Нет. Жалость? Тоже нет. Ничего не мешает - даже бог боли. Я готова - хоть сейчас. Но, Свет, это действительно должно быть как-то свыше, словно это все ж не до конца твой выбор, словно должен быть особый знак - пора.

Все это очень серьезно и только тебе, я твердо знаю, что этот знак будет - однажды, я никогда не боялась этого, словно всю жизнь к тому готовилась («п.ч. выше других искусств ценили в Спарте искусство умирать»).

Все. Ни слова об этом.

10.07.91

2

(...). Я знала когда-то, что нет в мире вещи, кот. нельзя было бы произнести словами, но есть те, кот. не говорят - вслух. У меня в жизни ничего нет, кроме слов, и это такой бедный и бедственный подарок (вспомни судьбу Сирано), с кот. никак не совпадает душа.

Пусть вся твоя чистота и утонченность не оскорбятся, п.ч. на все это не нужно никакого ответа или поступка, ничего, кроме твоей души, самой, может быть, близкой к его, домашней и неприручимой одновременно.

Те, кому в любви достается - все, никогда не поймут ненасытимости тайного взгляда (ненасытимого, как глоток

в истекающем зноем иколе) и жестокость ожога оттого, что эти тайные взгляды - встречаются. Перестают быть тайными и не становятся явью. О, какое это растравление души! - быть и не смочь. Не (нрзб) Стрела, никогда не достигающая цели. Сигурд и Брунхильд. Мука несовпадений.

Не верь, когда о любви говорят: «Она ничего не хочет». Любовь всегда хочет все и всего. Другое дело, что мы, как монастырские служки, замораживаем ее в своих глазах, забывая об увиденной однажды родинке на плече, цветущей, как вся Песнь Песней. Жизнь, «эта великая насильница душ», заставляет нас играть сей фарс.

Есть люди, с кот. мне иногда кажется, что мы выросли с ними в одном подъезде - так давно я их помню. С вами (тобой и им) такого никогда не было, вы всегда (даже в самой тесной комнате общаги) были оттуда - откуда вся ненарушимость и четкость границ (заклятый круг Хомя Брута), через кот. нельзя переступить.

Как-то под утро он мне снился. Был размытый город с мелким сечением улиц, стекавших к кошачьему глазу воды. И по одной такой улице он уходил, а я стояла и молча смотрела («нежней и бесповоротней никто не смотрел Вам вслед!») и как-то понимала, что это он во сне, что это он от меня наяву уходит, не приходя - ни разу и уже навсегда.

Я потом подумала, что в этом сне была сказана вся невозможность. Но я всю свою жизнь сражалась с любовью в себе, не за любовь к себе, я всегда выбирала - невозможность.

Помнишь ли ты «Смерть в Венеции»? Как несправедливо Манн определяет своих героев - ущербный дух, тянущийся к своему прекрасному завершению, к телесной оболочке, кот. без взгляда этого ущербного духа практически была бы обозначена на свете. Правда, потом Манн свою ошибку исправит, ведь будет же у него Прекрасный Иосиф, кот. уже ничего нельзя дать, п.ч. у него есть, помимо нечеловеческой красоты, еще и душа.

Но. Меня к душе никогда не пустят, мне ее остается лишь угадывать (...). Придумывать. Как у Волошина: «Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем можно было помечтать». Да, но не все так.

Иногда нежность хватается пальцами горло и окликает тебя по имени, ты оглядываешься и вот - на столе пепел и листы бумаги, засохшая ванькина роза («Ну и пропадайте тут со своей тетрадкой и сушеной розой!»), а за окном то беспробудное российское скотство, кот. несть конца.

Сегодня совершенно жуткий мужик у пивнухи предлагал купить у него за чирик какую-то стоящую у дома вазочку, еще в крошках печенья и сахара. У него были те самые (умоляющие, песьи) глаза, о кот. Венечка: «Когда я вижу глаза моего народа...»

И весь день и всю ночь - дождь. Дождь, Ренан, одиночество, которого не рассказать никому. Это тоже подарок не из легких, но с ним я умею обходиться, хотя я его себе и не выбирала (...).

16.07.91

3

Свет, стиб идет по жизни сплошняком. Батареи текут, штукатурка на голову падает, керосина, чтобы лететь к тебе, - нет. (...).

Странные какие-то вещи попадают в последнее время мне в руки. И не менее странные мысли рождаются от их прочтения. О, черт, как батарея-то капает, отсюда слышно, а заменить - нечем. (...).

Вчера читала старую статью Сережи Шолохова о «Поп-механике». Много там всего умного умница Сережа (кандидат искусствоведения, кстати, что, правда, не помешало ему пахать поля в совхозе «Приволье», где его Бэлла случайно нашла и заманила в «Пятое колесо») про умницу Курехина писал: «Мы жили как бы в пузырьке кислорода, веселящее действие которого начинало сказываться на надыхавшихся уже само по себе. Здесь мы, как джинны, выбравшиеся из горлышка бутылки, возносили и рушили дворцы и замки, в химерических сплетениях которых зарождались великие прожекты, полные маленьких хитростей и утешений...» Теперь-то я знаю, что это такое с нами было. С нами происходила поп-механика...

Мой приятель, в прошлом член Общества тупых, ныне известный писатель, прочитав кусочек бесед с Курехиным,

смахивая непрошенную слезу, сказал одобрительно: «До чего же умный парень, этот Курехин. Как дурака валяет, а?!» Но он вовсе не валяет дурака. Это они его валяли. Он - нет.

Я почему-то долго вспоминала бывшую уже жизнь нашего зоопарка и удивилась, как мы, без всяких ученых методик, серьезно и легко валяли дурака (или не дурака все-таки, вот еще вопрос?). Ведь пока вся последующая «нормальная» жизнь ничего, кроме беспросветной пошлости, не принесла. Ни особых творческих посылок, ни денег, ни радости. И как-то непонятно, во имя чего тогда мы стали вдруг такими серьезными? И чем та х., которую печатаю я в своей детской газете, приличнее и нужнее, а главное - для меня, внутренней, ценнее артистически-пьяненького Ельца? Ни-чем. Все было хорошо, и мы играли прекрасную игру, прямо по Шолохову (Сергею): «на ваших глазах совершая безумства, взрослея и умирая, не вызывая при этом жалости, а сообщая чувство интенсивно прожитой жизни». Но самая страшная наша ошибка - или вся наша несостоятельность? - в том, что мы не оставили за собой права играть и дальше (Господа, как я всегда любила тех, кто это право, отвергая все прочие, - оставил!), мы сделали серьезную мину и решили серьезно жить, забыв, пока играли, что в этом милом тихом дурдоме можно заниматься, чем угодно, но никак не «жить серьезно», что из этого ничего хорошего не получалось, кроме нудной драмы с утюгом в валенке.

Я никогда не обольщалась нашим сообществом и не ждала и не требовала от него слишком многого. Там было чересчур насыщенное личностное поле, но, черт, оно-то и давало возможность изолированного существования, как тот пузырек кислорода. И когда я оглядываюсь, то понимаю, что играли-то мы серьезнее, чем жили. Может, оттого, что жили все-таки там? А здесь такая вялая и неуклюжая попытка жизни, в которой не получается ничего?

Да нет, это тоже не то. Ну какая у меня, например, серьезная жизнь? Работа, кот. я, как ложку мимо рта, проношу и где иногда шокирую своих тетек слабонервных дикими высказываниями в пространство? Газет не читаю,

никуда не хожу, живу в том же пузырьке кислорода, но - одна. И силового напряжения поля давно нет. Жить одной можно. Играть - нет. Здесь есть серьезный и умный народ. Есть Регина, которую Марк Захаров никак не перетянет в Москву, есть Женя и его шереметевские ассамблеи и сам Шереметев, шастающий с парижским шиком по своей бывшей вотчине, детские режисеры, умные разные головки. Но они все до того серьезны, что хочется повеситься.

Как жаль, что мы никогда уже не будем вместе. Может быть, изредка видется, заглывая прощальные полупрожеванные фразы и говоря: часами, ночами, и понимая, что существуешь достоверно только в этих часах, может быть, иногда расписываясь на десяток листов и изводя деньги на телефонные (и никчемные) звонки, может быть, еще что-то, но вместе - уже никогда.

Я ребенок своего времени, и когда мне рассказывают о долгой и нудной работе как захватывающем процессе, мне хочется обидеться и убежать. (...), не хочу я участвовать в строительстве новой общественной пошлости. (...).

Это я все пишу от невозможности приехать и тоски по тебе, по вам - всем. Попробуй ты счастья, в обильной и незалежной Украине, может, керосин сыщется?

20-го января я еду в Москву, в (...) командировку, может, сумею заехать к тебе после нее? А может, и раньше выйдет, не знаю пока. Денег совсем нет - главная трудность. К несчастью, их теперь не будет очень долго. Всю жизнь. В холодильнике наша водка стоит, так я рассчитывала.

Знаешь, хочется чего-нибудь уменькое напоследок написать. Ну, например, Ельцин - млекопитающее. Но ниче в голову нейдет...

К Новому году и Рождеству напишу что-нибудь умное и прозрачное, так та сосулица (вот саданет кого-то по голове!). Голова болит, ночь, тишина, моровая язва.

Не обращай внимания - сплошной параноидальный бред, впрочем, оттого, что хреново как-то, а лучше - не становится.

Постараюсь написать тебе а-ля Рождественскую сказку.

Лена.

23.12.91.

Наконец-то ты поняла то, что я научилась понимать давно. Учиться жить в режиме автономного плавания и молчания, в котором давно уже нечего ждать. Маленькие, воспетые Акутагавой радости мира: «блеск облаков, дождь, шелест листьев» тоже объявили суверенитет и живут отдельно от нас - визовый режим, таможенный досмотр, ограничения на ввоз и вывоз - трудно теперь попасть к радостям. Сознательно или нет, но мы, вопреки логике и всякому смыслу, изобретаем пошлость и ложь еще большую и еще горшую, нежели та, что существовала семь десятилетий.

Цветаева как-то, издеваясь над одной бездарью, рассказывала: вот, мол, сидит в бархатном кресле, водит золотым пером и изображает вдохновение. А Пушкин писал в бане, в халате и листы бессмертного «Бориса» швырял прямо на некрашенный пол. Но будь у вас и баня и халат - «Бориса» не выйдет. Ясно, почему.

Так вот, возрождения Той страны тоже не выйдет, п.ч. мы-то не те. Разделитесь хоть на 50 государств и состройте увеселяющие идиотизмом аббревиатуры (...) - не выйдет. Помнишь у Шопенгауэра: «Самая дешевая гордость - это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться... Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости... В национальном характере мало хороших черт: ведь субъектом его является толпа...»

Ждя того, чтобы что-то строить и возрождать, нужно, чтобы у человека расправились плечи, нужно, чтобы он, по Анчарову (дивный, кстати, писатель), осознал, что нужны не его тело, разум и производительность, а душа, стремящаяся быть умелой. Что могут строить обезумевшие от страха люди и дети, вместо сказок слушающие с утра до ночи заунывный вой: «Би-р-р-жа!» Люди, которым без конца демонстрируют, как легко делают деньги на их же

продукции, не говоря, правда, когда за эту продукцию начнут платить производителям, а не сотне перекупщиков.

Прошлого и будущего в достоверности нет. Есть только сейчас. И я не хочу ждать. «Брать в душ два флакона? Не для меня! Я просто мою волосы хоз. мылом и иду...». Когда мир, государство, система городов разъезжается, оставляя растерянную толпу зевак гадать о завтрашней цене колбасы, весьма годится режим автономного плавания. «Итак, то, что каждый имеет в себе, важнее всего для его счастья. Только внутренняя пустота, расплывчатость сознания и бедность духовная гонят человека в общество, которое, однако, состоит из ему же подобных...»

Осетрова вот недавно прислала письмо, в коем сообщает: много-де сплю, чтобы не видеть окружающего кошмара. «Да хватит, Оля, - подумала я, - ты и в общаге спала до двух часов; тоже, видно, отгораживалась. И ничего, по-моему, нет кошмарнее собственной лени, помноженной на дешевейшее тщеславие. А поскольку первая второму никак не дает состояться, то и бесконечного нытья по всякому поводу».

Когда у Ахматовой был царскосельский особняк, у Цветаевой - брильянты, а у Сологуба - почти дворец, они были тем, чем были. И когда они сидели потом у «привиденских печек», не жравши, они были собой ни больше, ни меньше. Но для этого ведь надо сначала БЫТЬ!

Да, удивительно. Абсолютная тождественность времени. У М.Ц.: «О Москве. Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие. На Тверской гастрономия «Желудок». Клянусь! Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон - беспощадность».

Нас учат самоубийцы. Поет же Джоилин: «Свобода - это когда нечего терять». Мы сегодня почти свободны - в этом исторический смысл нашего времени. Но мир, хочешь того или нет, всегда будет не устраивать тебя. Ты же знаешь это. Хотя, если посмотреть здраво, никакого мира и нет. Есть деревья, реки, бестолково топчущиеся люди. И ты. И твое право жить так, как хочет твоя душа, выстраивая собственно мир в живой, применимой к тебе конкретике, а не в

статистическом общем. «Башня из слоновой кости»? Но соловьевская-то башня и оказалась реальностью, определив дух времени, а миллионы крепко стоявших на земле - что определили они? «Нужно жить так, чтобы мир шел к тебе на поклон, а не ты - к миру». Ты главное мысли, пиши, сочини музыку, слушай дождь, живи, как мудрец, и мир, набегавшись по очередям и заработав трудовую копейку, придет - куда ж ему деться? Все будет явлено миру, было б что являть.

Неизвестно, какие плоды

Вызревают в твоём саду.

Гении вырастают в глуши.

Написала Олеся Николаева и уехала из родной Москвы в Печерский монастырь - преподавать древнегреческий. Я сегодня, словно цитатник Мао Цзэдуна. Но давай вспомним еще и Голованова, предложившего два варианта: «... не выдерживают движения к цивилизованному рынку через тотальную пошлость и ложь и сдаются этой пошлости, или - врачи могут лишь констатировать обстоятельство, которое есть одновременно диагноз и приговор: «суицид».

Нас же много, познавших выхлопную тоску рассвета в комнатах с записанными телефонными номерами на обоях, пытающихся в одиночку биться с миром в убывающем свете убогих времен, думающих, страдающих и подрастающих параллельно. Какое-то параллельное кино. Почему нам так трудно быть рядом? Это не решит всего, не отнимет бед и обид, но кислородную ауру даст (давало!). Глотнул,дохнул и уже знаешь, что не задохнешься в толпе.

Неужели же только головановское: или-или? Не надо ничего бояться. Не надо кивать на время. Пора, пора поливать свою тыкву и учить древнегреческий. Все уже было, не надо принимать это за новый, неведомый опыт.

Как-то мальчик один тут сетовал: «Хорошо, дескать, теперь бывшему андеграунду поучать. Сидят и с экранов несут всякую пургу, как Курехин с Шолоховым». Да хватит вам, мальчик, чушь нести. Они свое право быть такими с кожей выковыривали. В психушке - первый и на полях России - второй. И оттого, что колбаса была в магазине, им легче не было. Бежал, вон, Шемякин с одним рюкзаком в

Париж, не зная ни слова по-французски. Легко только говорить. А быть - трудно. Так спорили мы, идя сквозь проливной январский дождь и поочередно прижимая к груди мамину передачку: банку камбалы, 4 (четыре) конфеты «Зоологические» и 1 (один) бледный и плоский кекс с вызывающим названием «Здоровье».

Знаешь, я вот написала такое пространное письмо по поводу автономного плавания, будто об этом только целыми днями и думаю. Но на деле не думаю, ибо... Ибо давно плыву. И поскольку кекс «Здоровье» весьма прибавляет сил, то успеваю много чего заметить. Я открыла для себя еще одного потрясающего музыкального хулигана Юру Ханина. Слушала его «Архаическое сочинение N 16 для клавесина, балалайки и славного певца». Свет, это гениально. «Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна», - как писал Хармс. В журнале «Театр» есть такая пресс-студия «На Большой Никитской» (последи за ней, много всего любопытного). В 89-м они писали о Ханине, но тогда еще, собственно, нечего было писать, кроме заверений о том, что музыка - это Ханин. Сегодня есть и музыка, и она удивляет, но меньшей мере. Еще мне принесли концерт Курехина в Западном Берлине в 88-м, по нашим временам уже редкость. Это что-то уже за черным квадратом. Сам же Курехин вел намеренно «собственноручно» передачу о новом кино, читал какой-то сценарий про акулу-педераста, приглашал защищать права партии каннибалов, организатором коей он почитает себя, рассказывал персонажу своего нового фильма с длинным названием, как нужно играть свинью («стать совершенной свиньей»), снискал титул «самого остроумного человека» и валял, по обыкновению, дурака. Мама, тихонько бранясь на него, сказала: «Он появляется у них на экране чаще, чем Собчак». Полно, мама, ответствовала я. У них и Ханин, и Мамин, и Юхананов - все появляются чаще, чем Собчак. У них просто есть кому появляться. Что лишний раз доказывает, что если жить в Городе, то уж только в этом (нигде больше), а так - лучше в деревне, поливать тыкву. Можно и в Козловке. Но это вопрос «многосторонних переговоров». А что, слушай! Квартиру сдать за СКВ, а

самим того, как Живаго, бежать из замученного города. Если уж сильно страшно, оставить пути к отступлению в виде той же квартиры. И - бежать. Что держит? Работа? У меня денег на газету осталось - фиг, на несколько месяцев, никто не дает, ни одна акула - ни-ни. Все копят, считают, жмутся. А дальше? Идти в городскую прессу, разгрести канализацию жизни? Встать за прилавок комка, как многие знакомые? Не хочу. Круга общения - нет. Ходить некуда. Трамваи и троллейбусы вижу, но хожу пешком. Надоели митинги. Питаюсь мамиными «здоровыми» кексами, п.ч. магазины - испытание для сильных и поддерживаемых словом «надо». Мне не надо. Все меня жалеют и оказывают гуманитарную помощь. Кто-то сахару даст, кто-то луку, а недавно учредитель булку дал. В виде премии, что ли? Вчера видела колбасу, о которой так много говорят. У нее какой-то нездоровый вид. Захотелось сказать ей: «Не тужи. Будешь еще страшнее». Дома живет мышь. Чего жрет - непонятно. По-моему, обои, кои никогда ни к чему не приклеят, ибо некому. Еще живет углан. Шкодливая такой. Так втроем и живем. Углан форточки закрывает, мышь поедает обои, я читаю умных людей и от этого только глупею.

Самое тяжелое, что нельзя вылить ни на кого радость открытий. Их много. Горести я научилась переживать одна, мне люди не для того нужны. Мне бы хотелось открывать с ними, сорадоваться. Я почти не могу писать стихов, потому что оказалось, что их - вроде как бы надо произнести кому-то, проверяя на точность и верность звучания, мысли дописываются «в разговорах - от толчка к толчку», пишу про паталогоанатомичку, кот. вдруг стала маяком, про какого-то больного человека в шакальской республике, бабу из собеса - черти что, никак не могу выяснить, к чему это я, куда клоню, он все считает, что работает смотрителем маяка, а сам моря-то никогда не видел - все поросшие тростником каналы, и довел меня до ручки этот дурак в этой дурацкой прозе. В стихах все ясно, есть некая завершенность, даже если ее и нет. Здесь все цепляется друг за друга, как повилика, и растет, растет - уже без моего ведома.

Намедни нашла очень хорошую прозу Владимира Кантора «Повелитель крыс». Невыразимо хорошо. Если встретится, прочти. Он еще публиковался в прошлом году в «Неве».

Странно, но все новое интересует пока гораздо сильнее древних, потому что они, новые, тоже живут с нами и пытаются быть или уже есть. Тем и интересны.

Из «старого» - самое потрясающее - «Голем» Мейринка (Косову обязательно нужно прочесть). Ну, еще философия всякая, но, странно, в ней пока мало нахожу нового. Да еще удалось посмотреть этот фестивальньй фильм «The Doors». Все так. Несвобода жизни самой по себе. Нежелание ничего обретать. Хороший и дерзкий фильм, за который бы в середине века режиссера сожгли на костре.

По-моему, за отсутствием общения, письма наши все удлиняются, превращаясь в папирусные свитки. Когда мы их склеим, получится достоверная летопись страха и одиночества.

Как ты думаешь, стоит выписать журнал «Свиноводство»? Или «Кролиководство»? Ведь «кролики - это не только ценный мех», но и сама знаешь что.

Кстати, Косов, писавший о медитации на текущей крыше, поделился бы опытом - я б медитировала у текущей батареи. Скажи ему спасибо за мужика в клеточку, мужик занял место в галерее ему подобных (и все на одно лицо). Лица у всех неплохие, соответствующие текущему моменту. Рада, рада - вот растет киевский Обри Бердслей, копит талант и мастерство. Ваш коллективный письменный труд а-ля Матроскин и Шарик вызвал умиление. А я-то думала, что Косов разучился писать и говорить, превратившись в твоих письмах в некий номинативный персонаж, кот. вроде и есть, а вроде его и нет. Теперь знаю, что жив и, слава Богу, здоров.

Поскольку процесс писания никак не прекращается и ввиду позднего времени решаю эту чушь завершить.

Засим откланиваюсь.

Я (Николай второй), то бишь Рощина Елена Олеговна - старая дура.

14.01.92.

Привет от бабушки Гребенщикова.

М-да. Вот уже второй день (честно) пишу тебе спасание. Результат, как видишь, налицо. Просто было много ненужных и мучительных мыслей о «М» и «Ж», а потом я подумала, что не должна тебе всего этого писать. Скажу лишь, что Косов слаб и зависим, и ад совместного экзистенса уготован вам еще надолго именно в силу этих качеств, кот. ты будешь заглатывать, как рыба - наживку, годы. Мне трудно говорить об этом и потому, что для меня Косов давно превратился в некую номинацию. Увы, все отпущенные авансы им давно израсходованы, а в долг былых восхищений и влюбленностей я уже не даю. Тебя же будет держать и многоликий сонм привычек и знаков, обращенных в память и обозначающих человека в прошлом и настоящем. Все это так же больно, как и пусто (в итоге).

Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Видишь ли, не нужно забывать, что речь идет все же не о романе, а о кино, где звук закрываемой двери или морщинка у губ героя будут обозначать больше, чем многотомные философские трактаты. Кино - это ведь такая игра, где все договариваются и показывают то, о чем обычно словами...

Видела ли ты фильм «Чернов»? Вещь, на мой вкус, просто гениальная по замыслу. Взрослый мужик из какого-то НИИ с банальным списком житейских «достижений», коммуналка, подзабытый в разводе сын с вялотекущей шизою, чего-то ждущая любовница - такой совдеповский стандарт с нулевой общественной значимостью. Но он, этот мужик, играет, вот уже много лет. Он играет... в железную дорогу. Она у него занимает почти всю комнату, там мягкие спальные вагоны и европейские вокзалы, тоннели и картинные пейзажи за окном. Там у него есть деньги, и он едет - год, два, три, и когда любовница просит выйти, чтобы обосноваться в том или ином городе, он отвечает: «Нет. Я люблю поезда, а не города, куда они привозят. Город - это итог, дорога - процесс». И об этой игре он, конечно, никогда и никому рассказать не сможет без риска угодить в сумасшедший дом. И в этом есть ад

экзистенса и одиночества, изоляция не внешняя (Лес. Подумаешь!), внутренняя герметизация, в которой отношения индивидуума и личности решаются сложнее и тоньше, чем просто путем уничтожения первого или второй. С личностью вообще сложно, п.ч. по большей части человек в обществе ничем не является, он окружен цепью фиктивных связей с этим обществом, кот. не мучают и не трогают, их, в принципе и по большому счету, просто нет. Ты уж прости, но на своей-то шкуре ты пока этой герметизации не ощутила, как и фиктивности связей. Одиночество вдвоем с Косовым - это несколько иное, другая опера. Ты играешь буддистскими теориями, как детскими побрякушками, ты прикасаешься к ним все. Я могу тебе повторить твои же слова: «В такие игры так не играют». Да и в теориях-то, если взглянуть пристальнее, без косовских придыханий, много противоречивого, чтобы не сказать - смешного. П.ч. индивидуальности без ада экзистенса нет, а освободиться от сознания невозможно даже на уровне Маугли, возможно, это происходит у олигофренов, хотя, какая под себя, они вряд ли постигают Вечность. Света, пойми, никто не имеет права о сознании - так, п.ч. все в этом мире повязано на сознании. Если уж допускать бога, то сознание - один из знаков тождества и приближения, отключение от сознания - это переход в ничто. И все. Дальше уже неинтересно, п.ч. дальше дела нечеловеческие, а в таком случае - зачем? Кстати, и идея разрушения языка (а язык - единица сознания) тоже представляется параноидальным бредом, п.ч., даже отказываясь от речи, мы мыслим словами, и уничтожение речи, точнее языка = уничтожению человека, п.ч. язык не предмет литературы и искусства, как думают некоторые, с которым можно экспериментировать, как с красками или нотами, а средство жизни. Язык - это опосредованное сознание. Но дело тут не в теориях (хотя европейские, и в частности платоновские принципы, кажутся мне более тонкими и умными, оправданными иным качеством страдания, что ли), уходить отсюда, в конце концов, можно разными путями (и «уход» Арто не менее достоин, чем уход в лес. Ну что лес, ну что там? Нет, ты попробуй смочь в

этом, меняя фокус реальности и понимая, что изменить ничего нельзя. Европейская теория игры, описанная Хейзингой в 8-ми томах и опробованная миллионами практиков, стоит, верно, всего буддизма. Просто этого еще не поняли).

А с Черновым все выходит странно, к слову сказать. Он, уже реальный, едет в реальную Барселону, продав перед этим железную дорогу и отрезав все пути и мосты. Он сюда не вернется, но тогда - куда? У него есть большие по тем временам деньги, и он может ехать в этом спальном вагоне месяц, два, три. А игра подходит к логическому завершению, точнее неигра, то бишь жизнь. Он бросится из окна гостиницы на мостовую и, уже умирая, в гаснущем сознании, доиграет. Понимаешь, не о сыне, не о любовнице подумает, а доиграет то, чего никогда не было, даже во сне. Жаль, если ты фильма не видела.

Черт, я, верно, никогда это письмо не допишу. Третий раз начинаю. Нет, так ничего не понять. Мир человека всегда оказывается богаче и интереснее всех теорий, п.ч. он м.б. алогичен, пограничен и выбиваться из любой колеи. Думаю, все эти теории надо просто иметь в виду. Не больше. Нужно еще учесть, что герой все же - человек европейского склада. «Потому что душа уподобилась богу, когда захотела довольствоваться собой, как будто бы она не менее бога способна быть самодовлеющей». В латыни есть такое слово «гибрис». Это есть человек, в своей гордыне возомнивший себя самодостаточным. Как ни поверни, герой окажется гибрисом. Гибрис - почти гибрид, урод, нечто пограничное. Дело не в том, чтобы разрушить в себе общественную единицу, личность, уходя в лес. Это происходит сплошь и рядом. Это в нем происходит задолго до общего исхода, все уже нарушено, и герметизация произошла. Ему что с людьми, что без них, он уже по инерции остается, из гордыни. Никаким Маугли взрослый человек никогда стать не может, и то, что на него никто не смотрит, - тоже ерунда. Это все внешнее. И совершенно неважно. Важно - что происходит после этой герметизации, что совершается внутри перед тем, как он умрет (он умрет, умрет, а сумасшествие может подразумеваться, и все.

Чернов, если разобраться, безумен тоже. А может, и нет. Это должно просто обозначаться призрачно).

Теперь вот еще что. Очень важно. Ты забыла, что там не один герой. Есть еще Город. И есть очень конкретная задача показать:

Город и его разрушение. Город как уровень трагедии, причем, достаточно реальной все же. Некий исход людей. Город на уровне самостоятельного экзистенса, не как объекта потребления, а как фактуры, составляющей ткань сновидений и памяти, и в то же время до боли реального, еще стоящего, словно призрак. Сотни и тысячи этих воспоминаний должны, по сути, так истончить его стены, что он по ходу всего действия должен восприниматься на уровне мифа. До момента его разрушения.

Я знаю, что ты пытаешься мыслить. Но как ты умеешь видеть - не знаю. Свет, я только сейчас это обнаружила. Я не знаю, как ты видишь, если без ножа анализа. И сейчас собирай не только этот город по частям (он м.б. достаточно собирательным), собирай детали, знаки, лица людей, жесты, движения. Вспомни все стоящее, понимаешь. Любую теорию можно дать открытой цитатой, как у Годара. Но все остальное должно быть. Надо еще обдумать, как нам не поскользнуться на самой теме, достаточно спекулятивной.

Нет. Я больше так не могу. Это обменщики приходили.

Знаешь, я шла сегодня где-то (не помню) и думала, что наши письма действительно становятся вердиктами достоверности. Они длинные и похожи на мотки ниток. Письма - одна из сильнейших моих привязанностей. Маленькие рукописные романы, похожие на беспомощных бабочек-однодневок.

У нас начинаются белые ночи. Не люблю это время. Небо похоже на бельмо, и этот воровской, мерзостный свет отовсюду. Недаром их так Достоевский боялся. И вот Шолохов шляется по Канну (хорошая жизнь, м-да). А «Дом кино» представляет скандальный «Панцирь» («Небо над Питером»). Так холодно, никак не могу согреться. Я стала похожа на злобливого ханыгу, сонливого и кашляющего. Как ты там?

28.05.92.

(...). Как-то ночью... я разбиралась с будущим (не со своим, а с общим, категориальным). Черная, зыбкая масса, которую мы выбираем ежесекундно, как есть. У Кржижановского: «В ином настоящем больше будущего, чем в самом будущем». У Ортеги: «Жизнь - это будущее, то, чего нет».

Но... ведь и будущего нет. На каком бы этаже лифт ни остановился, дверь откроется только в настоящее. Мы садимся в сегодня и выходим в сегодня, но разве между ними нет разницы? Разве мы не успеваем вырасти или постареть в те мгновения, пока кабина движется в темноте шахты? Это движение происходит в нас, но без нашего участия, смысл движения от сегодня к сегодня решено было скрыть и только самым догадливым иногда удавалось...

Итак, будущего нет. Мягкие толчки в рукаве шахты - это сон, и все будущее концентрируется в этом движении, то бишь во сне, практически без нас. Сказать, что жизнь - это будущее, понимая, что это такое, можно лишь, если тебе откроется смысл полубессознательного движения, когда станет, наконец, понятно, что в этом-то движении все и дело, а выходы на этажах ничего не дают, п.ч. там все заранее известно на тыщи метров вперед. Самые умные предпочитают двигаться без остановок, разными способами... Тут все средства хороши, выбирай на вкус. Кому не хватает для этого самих себя, те прибегают к наркотикам (Недавно Курехин об очередном кинофестивале: «Советский кинематограф могут спасти только наркотики. Думаю, килограмма ЛСД хватило бы на всех...») разных сортов и силы воздействия.

А прошлое? «Веревка оборвалась, когда вы попытались заглянуть в тайну своего прошлого...» (Мейринк). В том же «Големе» говорят о людях, не помнящих своего прошлого (Периат), растущих, словно привитая почка, на чужом стволе. Периат разбился, когда попытался увидеть свое прошлое. Но что тогда остается у человека, забывшего прошлое, если будущего нет как такового? Экстатические движения по прямой?

Недавно с удивлением прочла, что «Голем» был любимейшей книжкой Хармса, под его влиянием изучал черную кабалу и законы «тарока», и древнееврейский алфавит с его мистическим содержанием. И что многое, в т.ч. и «Старуха», буквально выращено из «Голема», как та самая привитая почка. Странно, что он (Хармс) вообще-то писал с напрягом, это очень видно по письмам, и его, казалось бы, невесомые конструкции на самом деле тяжелее бетона, хотя это не так чтобы важно, значим результат.

Я думаю, что из «Голема» современное искусство еще кой-что может почерпать. Искусство, античеловеческое по сути, растет на таких же античеловеческих идеях, которым уж две тыщи лет, но которые ныне звучат с новым комсомольским задором. Ибо. Египетские мысли о гермафродитизме как высшем явлении в человеческом существовании, повторенные и Платоном, и Розановым, и Мейринком, совершенно бесчеловечны, ведь они лишают человека смысла существования, как его понимали много лет: дом, семья, ребенок. Они все ставят с ног на голову, как и встречи с двойником, причащенным тайн, п.ч. зачем человеку эти тайны? Он не удержится на их хлипкой веревке, волокна лопнут, и он разобьется.

А Борхес, создававший свои волшебные метафоры? На чем? На бессовестном обмане, бесчеловечном посыле. Подвиг окажется грезой умирающего в послеоперационной палате, город бессмертных - скучной лажей, письма бога дешифрует умалишенный, тайны вселенной хранятся у какого-то скудоумного торговца, а Минотавр так бессилён, что не может даже умереть. Театр жестокости заключен не в том, что жизнь ежемоментно граничит со смертью, не в том, что нужно настоящее умирание, п.ч. смерть - единственная принадлежащая нам реальность. Жестокость в том, что искусство разнимает и расчленяет смысл человеческого или, скорее, оскопляет его. П.ч. в этом творении человеческого разума менее всего нужен человек. Лучше превратить его в жука, муху, слона, заставить рожать, как в «Райской птице», нечто лягушеподобное, серое, скользкое и... разумное, нужно внушить всяческое отвращение к человеческому телу, сняв все его движения

в омерзительных ракурсах, запечатлев его разложение в точном руководстве со справочником судебной медицины. Что там еще можно сделать на уровне физических границ тела?

Стоит лишь радоваться эзотерическим началам нашего искусства, при всем желании туда протиснется малое число посвященных, да и желания-то большого нет. Ибо чем меньше оно в себе содержит, тем сложнее и скучнее разговор вокруг него, а что оно может содержать, если заранее вычитает всякий человеческий смысл? Упражнения в бесчеловечности как некую священную игру ума? Но если только ума, то теория относительности дает сто очков вперед любому авангардному манифесту.

Можно еще взять обслуживающие человека отрасли, приравненные к искусству. Что происходит, например, на подиуме или в архитектуре? Разве это практически можно носить, в этом - жить? Нельзя. Человеку день ото дня становится все более негде жить, не в чем жить. Да и не с чем. Даже сон как священная экологическая ниша осмысливается по-иному: «Я уже скоро год сплю среди бела дня. Видимо, это смерть испытывает меня» (И.Б.). Сон равнозначен смерти, следовательно, и будущее = ей же. Если следовать импульсам мысли в категориях нового искусства, то все разности потенциалов однозначно равны нулю. Разности потенциалов жизни. А смерти? Но что она означает, кроме непререкаемо-однозначного конца? Мысль не отделяется от тела, п.ч. нет границы, кот. бы разделяла тело и мысль. И то и то обречены умирать одновременно, посему все попытки проникнуть в этот процесс являются элементарной лажей.

Марксистские лозунги типа «Искусство должно принадлежать народу» смелы, п.ч. нужно быть очень смелым (или слишком глупым), чтобы обвязывать народ и искусство (все), в т.ч. и новое (как хорошо забытое старое, очень старое, тысячелетней давности). П.ч. когда бы народ понял, что ему принадлежит, что за ядовитый плод познания, человечество перестало бы быть. Но инстинкты самоуничтожения искусства и самосохранения - народа пока срабатывают, и мир потихоньку совершает свои

инерционные движения. Когда кто-то, открывая столетней давности текст, спохватывается, крича: «А ведь вас предупреждали!» - это смешно, п.ч. пророчество не есть определение движения, а только точное следование его логическому ходу. Можно «прочитать» поток, но изменить его русло нельзя.

Ну, черт с ним, с дегуманизированным искусством. Оно ведь не растет само по себе, у него есть родители. А они-то что? Кто они? Люди, не научившиеся жить? Люди, сочиняющие автобиографии трупов?

Когда-то Бродский, исследуя истоки тирании в нашей стране, высказал примерно такое предположение. Коммунистическая партия была результатом демографического взрыва. Людей было много, и подоспевшее вскоре новое поколение поняло, что, увы, все места заняты (в искусстве, экономике, политике) и, очевидно, не скоро освободятся. Нужно было либо ждать, либо создать нечто иное, где достоинством были бы противоположные общепринятым качества. Вместо яркой личности - серое пятно, общее вместо частного, ну и т.д. А разве новое искусство не возникло по той же причине? М.б., не средства были исчерпаны, а места - забиты? Недаром ведь потом половина дада и сюрреалистов ушли просто в реализм, став притом еще и коммунистами (Маяковский или Элюар, например). Никто из них не писал и не писал кровью. Славная, шумная братия авантюристов, воров-карманников, таскающая при случае старые монеты у доверчивого традиционализма. Они и пришли партией, шайкой какой-то, они так редко существовали сами по себе (если вообще существовали). Они успели создать достаточно мафиозные структуры: критики, рекламы, аукционов. О, уж они-то умели выживать. Можно вспомнить хотя бы Малевича, методично выжившего акварельно-гениального Шагала из Витебска, превращенного к тому времени в геометрическое поле с разнообразными фигурами чудовищных расцветок. Супрематизм Малевича какого-то бухгалтерского свойства, и вообще, чаще всего эти импровизации и свободные движения оказываются выверенными по сантиметру и просчитанными на счетах. Но тогда извините. Вы же вроде

как апеллируете к подсознанию и прочим психофизическим вещам. Периодически записывая их в гроссбух?

Вся эта общая унылость может питаться только энергией смеха. Да, да. Если делать все это серьезно, умрешь от тоски на третьем слове. Ноль - объект. Т.Новикова концептуально можно обвязать и посильнее черного квадрата (и всех последующих кругов и треугольников, коих у Малевича не счесть), но никто не обвязывает сильнее, а вот смешнее - да. И если смех сделать составляющей искусства тех, кто не пишет кровью, то вроде бы все и встает на свои места.

Понимаешь, когда Юхананов пишет о Курехине такое: «Человек, творящий мистирию на соединении собственной природы с хаосом. Или с тем, что находится за пределами его психофизического бытия. О чем когда-то мечтал Арто, но как бы иначе это выговаривал. Это совершенно ясный пример мистерии, окруженной игровой стихией...», так вот, когда он пишет такое, мне хочется завуть и засмеяться одновременно. Дело тут не в параллели с Арто (она приводится не единожды. И Арто, жалеющий, что со спектакля нельзя прогнать зрителя палкой, а позже Буньюэль, мечтавший закидать зрителя камнями, и Курехин, в конце концов, совершающий все это, - явления разноуровневые по несколько иным факторам. По внешним - они однолинейны, совпадают стык в стык), а в том, что это до зубной боли скучно. Так нельзя писать, п.ч. все это явления энергетически обязанные смеху, стебу, и сам Курехин на такие статьи реагировал советами писать не столь тоскливо, а сравнить, например, «Поп-механику» с жизнью пингвинов.

Для 80-х, для театра 80-х, погрязшего в собственной рефлексии, «механика» была потрясающим явлением. Трофименков не зря писал: «Я не верил своим глазам, что здесь, в Ленинграде, и звучит то, чего нет и быть не может, то, что я вычитал в книгах по искусству XX века и лелеял, как собственную выдумку, не чая, что она воплотится... Казалось, воплоти он на сцене все свои замыслы, мир рухнет. Однажды Курехин сообщил, что в списках участников около тысячи человек и когда-нибудь он устроит

Механику в полном составе, заняв не только сцену Дворца Молодежи, но и лестницу, фойе, прилегающую площадь и набережную реки Невки. Мне казалось, что будет революция, что-то вроде веселого мая...»

Вот, казалось бы, и ключик найден: бесчеловечность нового искусства, выстроенного на всеспасительном смехе, которым покроем лязг железных опор и конструкций, делая их невесомыми. Если не кровью, то хоть от смеха писать, и это стодится. Но что-то не укладывается в ячейки. Импровизация может быть только одномоментной, в отличие от спектакля, она не повторяется. А спектакль - уже иное дело. У него есть типовая конструкция. «Механика» перестала быть раньше, чем просто перестала быть. Она перестала быть, п.ч. превратилась в спектакль. Блестяще выстроенный и сыгранный, но спектакль, где все известно заранее, даже музыкальные темы. В ней тоже все стало вычерчено до сантиметра. Даже смех. У меня все чаще складывается впечатление, что Курехин так же конструирует все свои шутки, как и многое другое. Даже его потрясающий, ни с чем не сравнимый цинизм вымерен до миллиметра. Это не только у меня впечатление. «... свободные импровизации... технически ошеломляющие, поражают..., но там, где должно быть сердце - зияющая пустота» (это «Таймс» о К.). Все правильно. Было б, верно, несправедливо, если б природа дала человеку так много, не обделив его в главном. А Моррисон, спросишь ты? Знаешь, я все думаю - неужели выход за пределы человеческого есть только выход за пределы человеческого? Ни больше и ни меньше того. Уничтожение человеческого, тела, личности, искусства, пропускаемого в мясорубку постмодернизма, весь этот жестокий расчет всех, «с зияющей пустотой», что это рядом с тем, как этот заплеванный мухо-таракано-человек чувствует боль, мистерию боли, вторую после смерти реальность? Но боль была предметом жизни, а не искусства.

Я запуталась. Запуталась, п.ч. никто ведь не определял границы над, под и прочего - человеческого. И цинизм, и жестокость, и издевательства - все явления человеческого ряда. М.б., в том-то и ужас, и красота мишурного нового

искусства, что оно предлагает нам самих себя как материал. И никто не виноват, что в этом материале столько говна. Кстати, о говне. Оно есть или его нет? Искусство-то пока отмалчивается.

Продолжение следует. Возможно. (...).

17.06.92

7

Мне как-то подумалось, что жизнь наша в ее самые решающие моменты стала напоминать обед Алисы в Зазеркалье. Помнишь? «Алиса - Окорок. Окорок - Алиса. Окорок встал на блюде и слегка поклонился.

- Разрешите, я отрежу вам по ломтику?

- Конечно, нет, - решительно сказала королева Черных.

- Этикет не позволяет резать того, кто был вам представлен. Замените блюдо!»

Стоит лишь о чем-то подумать, как трах-бац - блюдо уносят. День, когда снова начинаешь надеяться, заканчивается переменой блюд. Лучше уж не надеяться вовсе.

Из Москвы после вас еле выбралась в град Петров (билеты все скуплены черными, и «Былэт - штука»), но все же уехав на вечерней «Стреле», с утра болталась по мистериальной северной столице, черпая башмаками воду пополам со льдом и дожидаясь открытий РЭУ, ПРЭУ и черти чего еще. С неба что-то капало, рядом тянулось дряблкое горло Фонтанки, и у какого-то грязноватого кафе иноземцы немислимой камерой снимали зачем-то малоаппетитного кришнаита, приехавшего с ними же на микроавтобусе, начиненном видео-, кино- и фотоаппаратурой. Напротив мужики (видимо, из того же ПРЭУ) выкапывали (или закапывали?) трубы, прохожих было мало, а дождь все лил. Мы встречались взглядами то с камерой, а то с Кариатидой с соседнего эркера.

На пустыре, где в ночи горят
два фонаря, и гниют вагоны,
наполовину с себя наряд
сняв шутовской и сорвав погоны,
я застываю, встречая взгляд
камеры Лейц или глаз Горгоны...

Знаешь, все это напрасно. У нас ничего не получится. Как объяснила моя тетушка-прокурор, в этом чертовом Ленинбурге на каждый закон имеется подзаконный акт, все отдано на рассмотрение пресловутых РЭУ, и если (...) решат, что тебе вполне можно жить в 10-ти метрах, то, как пить дать, кого-нибудь поделят, и ни один суд не сможет опротестовать этого решения. (...). А что делать? Жить в коммуналке, где три семьи перегрызают горло четвертой, и травить их потихоньку, как Макбет? Оставаться здесь, сравниваясь в шаге с небытием, п.ч. все вокруг - сплошная нежить и жуть? Света, я совсем не знаю, что мне делать. Может быть, я трусиха, я просто боюсь рискнуть (а вдруг этот ЖЭК квартиру мне и оставит?). А если - нет? Поменяться в пределах города на лучшее жилье невозможно, никто не едет и с доплатой (я бы тоже не поехала: стены все в трещинах, трубы текут, весь дом скоро на голову рухнет). Работы на данный момент нет решительно никакой: одна газета прикрылась за отсутствием финансов, другая платит такие копейки, что из-за них и трудиться не стоит. Я вдруг поняла, что так ненавижу этот город, что всякий шаг по любому в нем закреплению: от поисков работы до знакомств, воспринимаю с неким истерическим ужасом. Итог: ни работы, ни знакомых. Каждый день напоминает мне осаду крепости: пересчитываю продукты, размышляя - сколько еще можно протянуть? Три дня не выхожу никуда, из всех доступных звуков - стоны чужих открывающихся дверей. И книги. И письменный стол. Наконец-то!

Завтра, наверное, осаду придется снять: выйти за сигаретами и в «комок». Может, «комок» подкормит?

Наверное, не надо было нам у тебя загадывать будущее, оно имеет некую зеркальную связь со словами. Впрочем, там было так понятно и хорошо, что ни о чем не стоит и жалеть, тем более о словах.

Сейчас вечер, и летит снег, бесшумный и призрачный в свете фонаря, снег, беспощадно и радостно выбеливающий город. Не считаясь с календарем, настает зима, и нужно запастись клюквой, теплыми носками и книгами, защищать свою норку от ветра и зачем-то жить. Или как будто жить?

(«Здесь я хотел бы предупредить вас, что половина речей Алисы начиналась с ее любимых слов: «Давай как будто...»).

Давайте как будто жить. Если быть очень старательными, может, что-то и выйдет. Напиши мне, что все еще может быть хорошо. Я посмею тебе поверить, даже если Окорок снова пронесут мимо рта. Вчера в «Мифах народов мира» читала о грибах. На фоне прочитанного курехинская теория выглядела не такой уж забавной. Там же перечислялись названия кой-каких галлюциногенных грибов (помимо мухоморов), но названия эти на языке народов, что их потребляют. Как бы вот теперь их перевести в человеческий и вызнать: растут они у нас или нет? (...).

Конец.

Еленфильм. 1992 г. от Рождества Христова.

7 ноября.

Короткие встречи немного чреватые: все неслучившееся за немотечной лепкой пластилина случается чуть позже, вытянутое расстоянием в руническую пряжу и неумело укладываемое в мотки, шерстистое тепло коих делает пластилин податливым для пальцев, они раскатывают его в длинные колбаски, склеивая как расстояния.

Эмоциональный оползень, начавшийся забыла как, создает центробежное движение, в эту воронку хорошо бросать окурки и разную дрянь до той минуты, пока воронка не издаст, присасывая воздух, презрительно-смачное «хлюп».

Неостановимость вербального потока «в отсутствии воздуха, пригодного для плача», лишь обозначает ущербность общения, я должна передоверить словам то, что смогла бы почувствовать кожей: слабый холод руки, минуты назад разбившей координаты пространства увесистым снежком. (...). День, стянутый, как перчатка с руки, обнаруживает шовчики, торчащие ниточки и петельки не первой свежести подкладки и где-то, в ямке между большим и указательным, - маленькую просьбу любви из неловкой системы самодоказательств. Разбитые чашки, рваные коврики, мятые простыни, засиженные людьми, как мухами, присутственные места - все, чем пользуешься,

не помня, проходя их насквозь, как во снах, которые, напротив, давно перестали быть прозрачными, словно их выцарапывают в тебе гвоздем. В противоборстве с ними раздерни шторы, убедись, что все еще на месте, и забор, и яблоня, и «русалка на ветвях сидит», и экая ведь судорожно-зевотная рань, и зачем, спрашивается, торчат тут, пугаясь и любопытствуя?

Мальчик, играющий на рояле «комедию дель арте», повернет к тебе темноглазое лицо с милой улыбкой. Жилы, ловкие хвостатые звуки тщетно селятся проникнуть к желтому телу бессмыслицы, превращаясь в малопристойную лужицу музыки в пломбированной пасти рояля. (...).

Мозоль на пятке сильно мешает состояться. Постоянство есть аккомодация ощущений, «роза есть роза есть роза есть роза», и ртуть, загнанная в тонкую капсулу стекла, неизменно показывает на Север, где африканские львы выкусывают из подушечек лап пустынные колючки и кусочки льда.

Исторические перемены тихо бронзовеют в «сказочных временах», что прошли, так и не успев наступить. На твои движения суставы отвечают обиженным хрустом. Речевой удар в троллейбусе спотыкается о прокушенную плоть трепещущего билетика, проливаясь густым лесным шелестом непролитых слез.

Погладь меня, дай мне косточку, впрочем, нет у вас косточек, кроме как собственных, ну, тогда кати и все равно погладь за чешуйчатый блик принесенных лужиц.

Нежная ткань сетчатки хранит крохотные чужие изображения, а твои собственные тоже хранятся где-то, их все равно не забрать обратно, плавающая капля зрачка, пульсирующая вслед за светом и растворяющаяся в смертельном растворе кислоты, спасительно прикрытая веками от рожденных чудовищ, одно из них тихо ткнется тебе в бок, пока вечером, скорчившись на неудобном пластиковом коврикe, ты будешь вычерпывать со дна всякую муть. Почеши его за ушком, может, оно и приживется, хотя где ему, такому чудовищному, разместиться на смехотворных метрах твоей ж/п? А вечерами оно бы встречало тебя с работы, неумело радуясь и оставляя подозрительные следы на свежем снегу. Только

когда бы приходили гости, приходилось бы прятать его куда-то, где бы оно тихо вздыхало, удрученное собственной непривлекательностью.

Маленькие словесные моточки, брошенные в твердеющее пространство, нерадивость почтальона отзывается разрозненной тишиной комнат или неуверенным диктантом того, кто называется душою и больно бьет указкой по пальцам, когда ты пишешь, как тебе одиноко.

Наверное, нам не уйти далеко,

Мне кажется, мы взаперти.

У каждого есть свой город и дом,

Мы пойманы в этой сети...

21.11.92.

8

Меня сегодня целый день мучил Игорь. Появлялся в облике каждого встречного-поперечного, сияя издали своими глазищами. День - неопрятная рвань, запах очередей, почти детский прикус памяти. Я пыталась как-то защищаться от того, что болело и ныло сегодня, и не могла. Многоцветная мозаика одиночества показывала что-то незатейливое и страшненькое. Рядом болтался вендерсовский ангел и негромко чихал.

Иногда начинает казаться, что я играю в «Облако-рай». П.ч. Петербург в этой ситуации - тот же Дальний Восток, о котором только говорить легко. Чувства реальности - О. Даже наличие БТИ и бюро обмена не меняют ситуации, а только усугубляют ее. И еще этот страшный город, несколько лет назад бывший живым. Слово его сейчас тебе показывают с экрана телевизора. Вечером домовой устраивает возню. Очень шумит, я ему, видно, не нравлюсь. Никому я не нравлюсь.

С обменом вот что. Людмила бабка, кажется, согласилась. С оплатой переезда. Хата у нее не приватизирована, и мне (о ужас!) надо ехать выписываться, потом прописываться здесь и оформлять документы в бюро обмена (иначе они не берут), потом ехать с ними в Питер. Так что приеду я снова в конце июля. И отсюда уеду в Питер. А потом снова приеду - выписываться. Если к тому

времени бабка передумает - есть еще 3 варианта (2 тебе известны), а один - на Софийской, хорошая квартира с большой кухней и лоджией, но без телефона. Но я еще посоветуюсь, сколько стоит тел(ефон) в Питере. Эти деньги в Воронеже ведь можно и вернуть. И на них купить там. Может, выйдет дешевле, чем с бабкой. Баба меняется хоть завтра.

Так вот. Оставляю тебе заявление к нач(альнику) БТИ на справку, дубликат и доверенность. Если что, делаешь мне справку и передаешь в Питер. Или сами. Срочная справка стоит 2 тыс., но делают не-де-лю. Рассчитывай, если что. А не срочная - на 17-е августа.

Есть еще вариант - с огромной (13 м) кухней и пр., но они приедут в сентябре и, возможно, найдут что-то лучшее. Там какая-то полоумная старуха, у кот. мы с Пашкой вдвоем еле выдавили 3 мг информации. (...).

Чувство такое, что еду умирать. Билетов нет никуда. Досиделась. Учтите это, в Питер надо будет брать заранее.

Странно, кажется, я - меняюсь. Вот уж не думала.

P.S. Денег оставила совсем немного, п.ч. билет пришлось брать на фирменный поезд, очень дорого. Других не было никаких. Но там много и не потребуется. Масловой так и не дозвонилась. На работе ее все время не было.

А на Софийской хата с застекленной лоджией и встроенной мебелью на кухне. И у бабы подруга - редактор на TV, она сразу, узнав, что я - журналист, пообещала сунуть. Как ты думаешь?

Если что-то изменится, дам тебе телеграмму.

16.07.94

ПИСЬМА ОЛЬГЕ ОСЕТРОВОЙ

1

Олюшка!

Вот и прожили, считай, др-р-раконый год. Подползает змеиный - лучше ли, хуже ли - не знаем. Но тянуть в него груз изжитых бед не хочется, ведь правда? Новое так новое, подвергнемся временному и человеческому обновлению,

потопив память, как клад, в старом колодце. Но ты никогда не забывай, что она - клад.

А в новом пусть: любовь, творчество и душа идут по одному пути, может, это-то и есть никем не опознанное счастье?

А дракон - в память о прожитом годе. Уже!

Лена.

2

9.08.89.

Оля, здравствуй! Даже не знаю, дойдет ли до тебя мой «глас вопиющего», адреса почти не помню, пишу по наитию. Пишу с затаенной робостью, подчиняясь порыву сердца, отменяя всю и всяческую пену - открытая, протягивая твердую теплую руку: здравствуй. Братство - это честнее, нужнее, сильнее любви. Но до него нужно долго и сильно жить, нужно очень больно жить, чтобы понять это.

Я окликаю тебя из Ярославля, города, несостоявшегося для нас с тобой. Ах, Оля, как много не состоялось, пока я - живое мясо, жила парализованная чужой властью, не-я, пока я, как об стену, билась о любовь. Я этой стены не пролюбила - видно, не судьба. Но так уж устроена - свой крест несу только одна, сама, ни с кем делить не умею. Потому в тот час - я была одна. Это была моя воля. И моя боль. Только сейчас душа очнулась:

 Душа очнется, наконец,
 и боль отпустит,
 И станет слышен вещей глас
 в древесном хрусте
 И в шелестении листвы.
 Под этой сенью
 Не на погибель все дано,
 а во спасенье.

Ярославль - сказочен, необычаен. Город - старее истории (сама история!), старее старости. Так и растет прямо - из памяти. Каждая улица - легенда, дом - сказка, собор - чудо. В таком городе либо поэтом стать, либо историком. Здесь еще и старообрядцы сохранились - такая история! Сквозь черные чугунные решетки светятся дворики с грустными

львами и горячими рябинами (тарковщина!). И все переплетено, как в ажурном рисунке - история и сны, и чьи-то шаги за окном, и особый Дух России, от которого сжимает болью горло - до полной невозможности вдохнуть.

Здесь совсем необыкновенная молодежка, какая-то яростная, обращенная к литературе, истории, театру. Какая-то пестрая смена лиц - американцы, бельгийцы, поляки. А я познакомилась с человеком, написавшим роман о Марии Петровых (она родом отсюда). Я делаю кучу снимков, но, боюсь, очарования города они не передадут.

Вот так, неспеша-пешеходно, блаженно, как последний плоток воды, брожу я по своему лету, бреду странницей - мимо рябин, городов, полей - к душам людей, к которым возвращаюсь с радостью, надежностью братства.

Не испугала ли я тебя своим письмом - прорвало, плотина, не остановить, так рвусь сейчас к людям. Буду рада твоему письму - где ты, что и как? Пиши, хорошо? Ведь между нами ничего никогда не стояло, кроме любви - стены, которая, увы, не в нашей власти. Мой адрес на лето:

155240, Ивановская область,
г. Родники, м-н Гагарина, д. 18, к. 62. Мне.
Я буду там.

3

20.08.90.

С утра шел дождь, не дождь, а взбесившийся ливень, под которым я бездумно и счастливо, вымокнув до нитки, грызла яблоки и брела, брела - по отмытому понедельнику с печатью «13» к дому. Твое письмо пришло именно в этот день, и все оно могло бы уместиться в двух словах: люблю, тоска. Я взвесила всю эту тоску с вызывающей пустотой моего сердца и не решилась написать.

Помнишь, у О'Генри в «Королях и капусте» герои то и дело ищут лотос, они просто обжираются лотосом, покачиваясь в гамаках утрат. Лотос - это забвение. И я в этом чужом мире, никем не знаемая, ищу только забвения, розовых лепестков лотоса. Такие люди почти всегда вырваны из жизни. Но и те, на другом краю - тоже. Разница только

в полярности: любовь и пустота, все - и ничего.

Мне впервые из пустоты своего забвения нечем утешить человека. Я хотела когда-то перестать любить человека. Забвение - это не утрата любви, это, может, какая-то заморозка, местное обезболивание. Но даже эта временная пустота мне тяжела, я не умею жить, не восхищаясь человеком. И всем говорю одно: любите, любите, живите! Не жалейте своих порывов!

Оля, я так понимаю твое несчастное письмо, но не могу и не хочу говорить тебе: пройдет. Потому что, когда пройдет, будет страшно - никого не любить, нет ничего мучительнее этого холода внутри.

В жизни нужен человек - родной. Есть такие люди, приходят в твою жизнь, и никаких натяжек не нужно - родной, и все. Человек, прощавший бы любые прихоти, знавший все твои знаки. Радовавшийся бы тебе и проще, честнее - любивший бы тебя.

Я пишу это и спохватываюсь - неужели я стала так стара, что усвоила поучающий тон? И поддакиваю - стара, стара.

Я ощутила старость почти физически, когда Молчанов передал сухую сводку ГАИ о том, что разбился Цой. Тогда еще ничего не было известно, кроме протокольного факта смерти. Мы ведь росли вместе - наше поколение и его песни. Как они были в тон, в лад нашему озону непокоя!

Я помню, как впервые увидела его: потрясающее восточное лицо - одни треугольники: бровей, рта, скул. Черное крыло волос над незащитным лбом (как верно и непререкаемо угадывалась эта незащитность!). Мир его песен был знаком: одиночество, фары встречных машин, окурки, огненными дугами очерчивающие контур ночи... Мир был повзрослевший, но родной нашей безбытной, полуголодной жизни, потому что он жил, как пел, по-мальчишески, назло всем, полумонахом, поэтом. У него была сила планетарного свойства, она исходила от него, но никогда не давалась ему в руки.

Цой был реальностью нашей юности. А теперь, после черного избранничества смерти, он стал легендой, и юность наша давно переведена в прошлое.

Это какое-то странное лето утрат. В июле умер любимый

мною Параджанов, «о, трижды романтический мастер!» Я читала недавно эскизы его к непоставленной «Исповеди», листала фантастический, яркий, добрый мир души романтика. Вива, романтика! Сменяются эпохи, президенты и правящие партии, а она неизменна и неубываема, потому что она есть душа, стремящаяся быть умелой.

Я так хочу вселить в тебя веру, а внутри меня колотит озноб - много со мной происходит такого, что хорошо рассказывать, а не описывать. И озноб этот не дает никакой надежды, и никакой веры ни в кого я вселять не могу, раз не верю сама.

Я уже устала от комплекса всесоюзной нищеты и озлобленности. Я устала от разговоров о ценах, от страхов, от совдеповского скотства.

- Дяденьки, разрешите, пожалуйста, жить!

Положи этому предел, Господи! И вспомните, наконец, о том, что человек сможет все, если сохранить его душу.

Знаешь, мне так давно не снятся сны... А ведь мы всегда любили сны сильнее, чем явь, мы их пересказывали друг другу, как романы, читали, словно стихи. Я помню - вся нежность цвела в полусне - еще не небо, но уже не земля - в сокровенный час ночи и души.

Был месяц снов, хотя мы почти не спали, не окунались в сон, как в реку, а только черпали из нее воду. (...).

Сны да бездомные кошки, деревья и стихи, дожди и шафранная полоса света - вот что нужно моей душе, а не цены, не страхи, не обещания российского парламента.

Я много пишу, лишку, может. Но мне захотелось о хорошем, а то в газетенке все выходит о таком скотстве, и с такой желчью! Я работаю, как маленький ослик, а ведь работать мы разучились вовсе. Писать хорошо без злобы нельзя, но мне тягостна уже и злость, и пустота, все тягостно, если бесплодно.

Да, спасибо тебе за Гумилева, взамен пошлю Пастернака, правда, он не из толстых, не из тех книг, которые я люблю. Но ты уж извини. Да и Киреев твой лежит еще. Это я с работой замоталась. Я их пришлю тебе домой, а если поедешь на практику, то, возможно, напишешь другой адрес мне сюда - я, очевидно, не поеду в сентябре в

Воронеж (да и в октябре, может, не поеду). Опостылил он мне. А уеду я в Питер и, если сил хватит, вернусь. Не тоскуй о Воронеже, Оля, от него цинга в душе делается.

Если захочешь написать - адрес тот же, мне, во всяком случае, все передадут.

Мужайся, ведь твое письмо пришло в день большого Ресистанса (13, понедельник), а это хороший знак.

Лена.

4

Оля, привет!

Который вечер уже мысленно совершаю путь к письменному столу и, засыпая, кое-как, полураздевшись, перебираю остывающие строчки и уже почти во сне понимаю, что утром они превратятся в холодный комок, но ничего не могу поделать. Увы, как говорила М.Ц.: «Стихи сами себя не пишут».

Но пока все вокруг обречено методу «напористой продажи». Я как-то судорожно иду вдоль этого забора, уже бесповоротно выгораживающего романтизм от сиятельных рыночных офисов, и все пытаюсь найти щель и незаметно ускользнуть, как-то сократить в сем мире, чтобы сохраниться в том. Все эти попытки предпринимались тысячами людей и всегда были обречены на поражение - от самых влиятельных до самых ничтожных в мире сем, личных выигрышей не было (и баварский король Людовик или Людвиг, что вернее, и канцелярский служащий Кафка, и просто канцелярский служащий, решивший идти в другую сторону, - все проиграли, все, и в мире тех ценностей, где все поставлено с ног на голову, эти поражения запротokolированы и возведены в разряд поучительных). Непонятно только, почему, нажравшись и нахватавшись досыта, этот благополучно и сыто рыгающий и полукликающий мир с банановой тоской примата вождеденно копается именно в этих поражениях, смутно подозревая, что самым страшным и значительным поражением стала в итоге его собственная жизнь. Что Верлен, умерший нищим от пьянства под забором, гораздо более победитель, чем Рембо, уехавший в Абиссинию и умерший с

восьмикилограммовым золотым поясом на теле, не написавший более ни одного стиха, а все прежние создавший, может быть, только благодаря Верлену. Об этом много можно писать, и все это удивительно не ко времени, и все одно все уже выбрано и определено в списках: кому - победа, кому - поражение. Я всегда больше любила побежденных, упавших. И сейчас подумала, что вся лучшая часть мировой литературы только и делала, что рассказывала истории чьих-то поражений, и зачем-то мы зачитывались ими вместо того, чтоб узнавать курсы акций на сургутской нефтяной бирже. А теперь все темно, и совсем непонятно, как жить, - ни одно образование нигде больше не кормит, не греет и не одевает (что тем более), хоть десяток их получай, все это делают не слишком опрятные махинации, кот. проводят не больно грамотные люди с золотыми фиксами, говорящие «звонить» и высокомерно поучающие ныне нас жизни с экрана вместо президентов и обозревателей. Такой вот, увы, не буду, а как существовать да еще сохранять патологическую степень кошачьей свободы - уже не знаю. И так отказываю себе во всем, чтобы купить Бердяева или Лосева, а завтра, надо понимать, придется отказываться не от еды, а от жизни (да ее, если честно, почти и нет - обругают в троллейбусе, на улице, в магазине - куда почти не хожу, т.к. незачем, пройдешь, содрогаясь от ужаса по этому чудовищному городу (и люди все ему подстать, мрак кромешный) - и все, и - домой, никого не видеть, не слышать и считать дни, когда я отсюда сбегу). Хотя чему ужасаться, так живет вся среднерусская провинция, просто мы университетом во многом были избавлены от созерцания ее помоек, но уж теперь-то смотри вволю. Да не больно надо. Сами смотрите.

Состояние во многом определяется временщическими настроениями: дома - все кое-как, в коробках, рулонах и сумках, на работе - абы день прошел, ибо представить такую работу себе на жизнь не хочу, в городе - тоже. «И знала одно - вокзал. Раскладываться не стоит». Стою на одной ноге и жду.

Впрочем, работа дает и кое-что полезное. Не написала еще ни строки, но зато знаю, как заключают договоры с

«Союзпечатью» и как выколачивают бумагу, как надо говорить с директором типографии, чтоб был молодцом, сколько пунктов занимает линейка (нрзб.) и много чего еще. Если уж быть связанной по рукам журналистикой, то утешать будет сознание, что знаю ее досконально. Хотя сама немного потрясаюсь тем безразличием, с каким отношусь к своей работе. Оль, ты там еще какие-то лица помнишь, а я, как закрываю дверь своего разваливающегося офиса, так забываю о нем насмерть. (...). Но, может, это одно из условий, чтобы выжить. Защитный механизм.

Пришлось вернуться к письму аж через три дня: не сил, а души не остается, чтобы писать. Может быть, потому что зима? Я как-то не успела приготовить себя к этому медленному вползанию во мрак и холод. А вообще много думаю о таких вещах, о каких обычно вслух не больно-то. О том, например, что есть избранничество не только в жизни, но и в смерти. Одним - легко жить, другим - легко умереть. Мгновенно и неосознанно. Неизвестно еще, в чем большее благо: в первом или во втором. Это никак не связано с суицидом, нет, просто сегодня я встретила полураздавленную кошку, та все еще ползла и орала, и сделать ничего нельзя было, и так отчаянно проплыл Кафка: «перед лицом боли все равны». Мгновения смерти принято называть нелепыми, но так говорят те, кто ничего не понял ни в жизни, ни в смерти.

А еще, начитавшись Висконти, думала о разрушительной магии красоты. Не знаю, откуда Федор Михайлович решил присвоить ей спасательную миссию: раза не было, чтобы кого-то спасла, а вот уничтожала десятками. М.б., оттого, что рождает тайное желание обладать, а обладание ей дорогого стоит, почти полного уничтожения себя. Это, конечно, (нрзб.) штучки, и об этом много нужно и в другой раз.

Сегодня видела объявление: театр Регины ищет зав.лит.частью. Вспомнила о тебе - вот бы тебе куда пойти, самое твое место. А вообще им там многие требуются. Но я сама уж завязалась, теперь уходить неудобно, надо проработать хоть месяца 3-4.

Оль, стихи у меня все в тетрадах у матушки, я ведь их

наизусть и не помню, так, что в столе нашла, то и посылаю. В праздники сяду, перепечатаю и свои, и гошины, какие есть, и (нрзб) тогда вышлю тебе. Пиши, если видела Свету - как она?

Оля, прости меня, старую корову. Ты все книжки хорошие посылаешь, а я все молчу, как партизан на допросе. К дождю, наверное. Инна живописала твои поломки. От этого как-то взгрустнулось. Вообще же ее письма заставляют чувствовать себя свиньей: когда у человека все так плохо, тебе уж грех жаловаться. А я как-то свой крестильный крест потеряла. Ведь кто-то же его теперь носит, какой-то дурак. Точно носит, п.ч. золотой. Чужой крест, и удивляется, верно, что не везет категорически.

Теперь выясняется, что писать особо нечего, п.ч. письмо - это и много, и мало. Когда наличествует постоянный кровоток - то много, а когда отсутствует - то мало. Тысячи кадрированных мгновений, кот. никому не принадлежат (даже тебе - вполсилы), жизнь, сузившаяся до размеров экрана и укладываемая в жестяную коробку. Доставать ее оттуда и крутить кино снова - зачем? Несколько дней в сезоне была счастлива, остальные - нет, слишком скучный сюжет, согласись, да вот и статисты разбежались от никудышного режиссера. А может, ну его, хватит режиссировать эту жалкую жизнь и задаваться вопросом: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?». А низачем не дана. Что хочешь, то с ней и делай. И делать-то надоело, пусть уж она со мной хоть что-нибудь. Даже желания перестают мучить - когда они выполняются, выясняется вдруг, что ты и не того желал вовсе или уже перестал желать. Все хорошее в жизни приходит само. Если приходит. А ты лежишь на диване и ждешь. Раз - звонок в дверь: «А это я, хорошее». И ты еще подумаешь, пустить или нет. С такой-то рожей.

Хочется в Москву, опять-таки. Но чтоб как-то само собой, без кровопролитий и жертв. Я явно не сверхчеловек, люблю сигареты с ментолом и хороший кофе, книжки люблю и пирожные. И кино. А жертвы - нет, не люблю. Такая вот свинья. Взял бы замуж одинокий режиссер, я

пошла. И то, если б жил не в Ясенево, а на Преображенке. А то во ВГИК далеко ездить. И в киноцентр.

Все, конечно, не так, если серьезно, но серьезно - скучно, все и так по большей части серьезно-скучно и шито белыми нитками, и разъезжается на глазах. За год метаний по виражам подсознания так и не успела разобраться с реальностями - какая где? какая - зачем? Ницше как-то сказал: «Искусство дано нам, чтоб защититься от истины». Зачем защищаться от того, чего все одно нет? (...).

Честно, не знаю, что писать.

Косова родила двойню, у Шабуня выпали все зубы, Гинделеев уехал в Гондурас, Гоша лечится в наркодиспансере, а Рощина удавилась.

Привет.

5

Оленька, ты и правда давным давно не писала. Если принцип об утечке воды (сколько уже утекло-о-о!) все еще верен, то ее центробежное движение сделало многие вещи недосыгаемыми, удалив их из пределов видимости, недосыгаемыми, то бишь исчерпавшими всяческий интерес к себе. Поток, смывающий сегодня, как волны Черного моря - фараоновы колесницы, не дает оглянуться, относя в иное русло, где пантомимические волны предрекают - пролог закончен, началась-таки драма (фарс, трагедия - что угодно с невнятицей будущего, но - уже навсегда, без сумятицы бывшего). Когда рядом с тобой нет ни одного человека, делившего вместе прошлое, воспоминания утрачивают душу и цвет, и запах, от них отмахиваешься, как от мух (может быть, страшных сартровских мух), до тех пор, пока не отвалят, освобождая сердце для новой любви. И любовь эта прошла, как трещины по штукатурке черных петербургских дворов, неся запах псины с замусоренных каналов и «желтизну правительственных зданий», бедность и бедственность за ослепительным дворцовым фасадом, озябшие пальцы, сутолоку метро и печальных граждан. (...). Сила ее была магической и астральной, п.ч. все разумное, отстояв стометровые очереди, вымокнув и настрадавшись, говорило: беги, а душа, как отсыревшая

бабочка, складывала крылья и умоляла: останемся! И я подчинялась ей, лаская ладонями вышербленные камни Садовой, смотря в чужие горевшие окна, где не ждал уже ни один человек - а где ждал? - и почти плача и уже раскаиваясь во всех предыдущих любовях, повторяла вслед за Бродским:

Да не будет дано умереть мне вдали от тебя,
В голубиных горах, кривоногому мальчику вторя,
Да не будет дано и тебе, облака торопя,
Увидать мои слезы и жалкое горе..

Все ушло и все в конце концов ушли (окликают только самые одинокие), осталось одно - нежное сердце города, стройный мираж - Петербург.

Я сейчас подумала, что лью так много слов на его мельницу, может, лишь оттого, что пытаюсь заслониться от достоверной уже потери: пять лет, пять лет! И - ничего, все в пыль, все - в прах, все - в обесцвеченные воспоминания, которых и разделить не с кем. Пять лет, как в купе скорого: пообщались, были в меру любезны, прибыли на станцию и - все. (...).

С тех пор, как я вернулась от Косовых, не отправила никому ни одного письма. Писать - писала, а до ящика не доносила, п.ч. никак не могла определить, что происходит со мной, нечто, не дающееся и не достающееся словам. Какие-то коммунальные размолвки с бумагой. Словно, чтобы через нее говорить с людьми, нужно было приподнять на себе целый пласт, как черный коченеющий Атлант у Зимнего - груз времени и расстояний. Мое спорадическое безмолвие было чревато обидами: Светка, которой не терпелось рассказать о своих успехах на ниве разгребания общественного говна, укорила меня в гордыне и наплевательском отношении к их семье и, в свою очередь, уязвленно замолчала. Мы во многом уравнины с тобой в своем существовании, и тебе, верно, легче понять, как по частям разваливается душа, как в сердце плавает и плавает иголка от проигрывателя - ставь пластинку, и такая начнется чудовищная музыка, о! И как им, таким благополучным, было об этом рассказать (ни им, ни кому другому) мне, для всех такой устойчивой (как атомобод) и такой сильной -

расписаться в бессилии, показать свои заморочки (двойничество, Мейринк - да тут с ума сойдешь). У меня начался некий словесный столбняк, п.ч. все вокруг как бы говорили: вот - жизнь, а мне им возразить было нечего, п.ч. все предыдущие, поставленные другими опыты с собственной судьбой, вовсе никакой правоты не доказывали, они просто имели место быть.

И такие темные, почти без света стояли дни, что по утрам иногда я подходила к церкви и останавливалась в притворе, даже не зная толком, о чем попросить, разве чтоб не лишал этой боли...

Сколько бы можно рассказать тебе, выложить, взяв бутылку сухого и пачку без фильтра - слово за слово - до утра (пусть и не того, туманно-воронежского, встающего над бессмертным садом и совсем уж бессмертной общагой), да пока собираешься, все потихонечку блекнет, обращаясь в протокольный факт.

И разверзлись хляби небесные, и выкидывало фонетические коленца ГКЧП, и была приглушенная Москва 20 августа, где я у библиотеки Ленина изображала скульптурную группу вместе с какими-то защитниками и любовалась последним и кровным единством боевой мощи рассыпавшегося Союза. И был час, когда я сказала себе, что все - это облом, дальше ничего не будет. Где-то на Калининском, черпая босоножками воду, уже полубезумно говорила какому-то старлею, что Господь лишает их разума и много еще чего - не помню. А потом, как в бреду, ехала во Внуково, улетев в один почти час с дивной шестеркой: они - в Форос, я - в Киев. Киев после Москвы был сонным, провинциально-домашним, солнце, радиоактивные груши на углах, «радио обычных времен» на светкиной кухне, кот. слушали ночь напролет: я, Ванька, Светка, Андрей, запивая сухомятку событий вином. (...). О том, как хорош Киев, писать не буду, слишком уж хорош - не для меня. Не запал, не тронул души. Столичные Косовы на сей счет обиделись, словно Киев был их кровным достоянием, обругали чохом Москву и Россию (нищета, голод, грязь), на что я мысленно: «Если бы бедному Питеру давали столько денег, сколько дают Чернигову из бюджета той же России, может, и не

рушился бы сегодня красивейший город этой богооставленной страны. Впрочем, у Косовых все хорошо. Светку окружили поклонники почтенного возраста, Косова - очень недурные музыканты, она пишет какой-то роман, он - музыку, а по вечерам, уж не зная, как увильнуть от свалившегося на них враз благополучия, они садятся на кухне и выясняют отношения.

Гоша бродит в потемках неврастении, изредка бывает в Воронеже и корит меня ивановскими ткачихами (как им всем хорошо - корить, а помочь - некому). Все это время я подыскивала работу (об этом можно написать целый роман) и так на этом поприще измучилась, что готова была на руках ходить, только бы деньги платили. Завтра пойду - вроде бы обещали взять с условием, что буду делать все, редактором областной детской газеты. Она еще только создается, так что бумага, типографии, верстка, распространение - все будет на мне. Не так-то просто увильнуть от журналистики, когда ничего другого делать не умеешь. Впрочем, я было устроилась на биржу (настоящую, а не труда), в информационный отдел, но оказалось, что за это нужно поспать с каким-то начальником. Ну, я забрала заявление и ушла (...). Об остальных планах пока писать не буду, скажу только, что занимаюсь английским и еще кое-чем. Начала менять хату на Феодосию, но с условием, что они мне ищут обмен на Питер. Все это будет, видно, не скоро, так что мне в своей одиночке придется сидеть чуть не до весны. А там - Бог укажет.

Оль, твое письмо пришло в один день с нинкиным, и оба - в то время, когда я могу хоть что-то о себе сказать. Выползаю из мрака. Спасибо за подъезд Мандельштама, я еще помню тепло тротуаров и все еще храню воронежские каштаны. Почему-то не хочется думать, что все обречено быть беспросветным. Напиши, что там у Светы. Меня как-то непоправимо тянет к таким людям (рыбак рыбака видит издалека), и мне хорошо и покойно знать, что они - есть. Не теряйся в своих потемках, можешь верить, я знаю, как тебе там тяжело. Мужества тебе.

Лена.

14.10.91 г.

Сегоня Покров, горьковатая сердцевина осени. Как у Гоши:

Одинокая осень. Так пусто и празднично.

Пристань старая. Чайка седого пера.

Это что-то очень детское, чего он передо мной всегда стеснялся и что я, ставив однажды, любовно храню и по сей день.

ПИСЬМО ОЛЕГУ ШАБУНЕ

(...). Олег, я сейчас в Ярославле, дивном городе - старее истории, старее памяти, кажется, так и растущем из памяти, где сквозь черные решетки светятся полуразоренные дворики, домики с ободранной шкурой штукатурки. Где на фасадах большие львы столетия катят какие-то дурацкие шары, где соборы растут из асфальта, а камни, кажется, трещат, как сороки. Бедные, от такого знания - всего! Город, на задних улочках забывший снять вывески с "Ъ". В университете которого висят таблички типа: «Входить без калошъ». Город до самого дна - мой.

Но то, что я в Ярославле, не дает возможности мне послать то, что хотела в подарок - два тома (Гумилев и Мандельштам). Олег, я большая свинья, но ведь лучше, если ты будешь хотя бы знать. Я вышлю обязательно, скоро! И еще: у матушки оказалась «лишняя» подписка на Набокова, т.ч. она - твоя, но все тома она получит дома, а уж тебе потом, позже. «Лолиту» она купила, та, бывшая саубановская, тоже - тебе.

Олег, это все равно некрасиво, что я, как в «Голом короле», что расписываю невидимое, но ведь лучше хотя так. Я не думала, что забреду в Ярославль. А о тебе, как видишь, думала, оттого и пишу - спешу. Все-таки я не очень-то свинья?

А ты вот совершеннейшая, ибо обещанные стихи для «Лит. России» не принес. (...).

Как грустно, Олег, - сижу под бельмом страшного фонаря, с рыжим котом, сквозь себя выглядывая на грампластинку асфальта, и вижу все, как бездарный газетчик, - уныло, подробно и вязко. Сижу и утешаюсь розановским,

что «нужна вовсе не великая литература, а великая жизнь, а литература может быть и «кой-какая». Однако ж ни великой жизни, ни литературы рядом со мной нет. Ведь не может кот воплощать величие жизни, а мои листки - литературы. А мы так привыкли из-за нее, как из-за широкой спины, на нашу жизнь выглядывать!

Сижу, иногда забредают ко мне полупьяные классики, коих здесь - множество, теряют «пол-литры» и сборники, читают (ужасные!) стихи и дают займы. Спасибо и на том. От своей трезвости бо-ле-ю! «Мне скучно, бес». Стихи не пишутся, на пальцах от карандаша - мозоль, ах, впору совершать что-нибудь кровавое. Может, попытаться обворовать музей?

Но оставляю свое вытье. Уже спокойно, без камня долга за пазухой, - надеюсь, что останешься жив после всех своих рождений, крестин, именин etc. Чтобы если и забредал кто-то ко мне (полупьяный, весьма пьяный и т.д.) и читал что-то, то б уж это был ты, а не ярославские и прочие классики. Может, чистейший эгоизм, но с тобой забредало что-то неисправимо счастливое - на целый вечер, счастливое и надежное, как любимая книга, на которую даже не надо света.

Лена.

14.08.89.

Ярославль

ПИСЬМА ИННЕ ЗАХАРОВОЙ

1

Милая Инна!

Целый день потихоньку радовалась твоему письму, мыслям в нем и просто тому факту, что есть еще одна умненькая голова, кот. потихоньку превращает мир в мистификацию, делая его на своем уровне более или менее сносным (это, кажется, и зовется творчеством). Наличие в этом мире сказочников - факт сам по себе захватывающий, п.ч. это предполагает какую-то крепкокодную структуру добра и души, свободную от всяческих идиотских «вне»,

свободную для мира и открытую ему. Еще - сохраненный детский взгляд, детский не потому, что глупый, а потому, что чистый от всех приобретаемых с годами благоглупостей, называемых опытом. Но это тривиальности, ты их прекрасно знаешь.

Твой новогодний сюжет внутри меня прошел на «ура», а поскольку другого цензора надо мной нет, то он пошел в газету с крошечными стилистическими исправлениями в двух-трех предложениях, то есть - без правки. Знаешь, Инн, если честно, я ожидала увидеть какой-нибудь невнятный сюжет с механическими героями. А у тебя все - объемное, герои как-то физически почти осязаемы, у них есть характер. Очень бы хотелось почитать побольше и опубликовать. Если бы не такое тяжелое положение с бумагой и типографиями, можно б издать отдельно. Но у нас предпочитают издавать рекламные вестники.

Теперь о рисунках - они должны быть размером с конверт или меньше (больше - уже хуже). Если, конечно, у тебя хватит сил их делать.

Знаешь, эту газету я получила в свои руки совершенно неожиданно (и не очень надолго) и получила ее в тупеньком состоянии с материальцами типа «Любовь и благородство». Мрак. У меня вряд ли уж будет потом такая возможность - печатать лишь то, что я считаю душевно важным и нужным, и поэтому я стремлюсь привлечь всех, у кого есть что сказать миру, а возможности говорить - нет. Говорите!

Я впихиваю в номер Мандельштама и проповеди святого отца и свои несерьезные мысли - и так каждый раз. Сейчас номер с твоим сюжетом уже в наборе, и я его тебе скоро пришлю. Как раз к Новому году. Ну, это о газете. А если о себе, о моем сегодняшнем состоянии... Трудно о нем, конечно, если ты не знаешь прошлого. Хотя ничего сверхрешающего в этом состоянии не было. Обычный человеческий рост, который, как известно, жесток. Ну, хихикали над окружающим миром, думали над Гессе и Кортасаром, пили водку, любили музыку, кошек и еще кого-то - совершенно обычный процесс. Еще пытались писать, получалось худо. Теперь вот, плюс ко всему, обнаруживаются душераздирающие пробелы в образовании

и проблемы со временем для их выполнения, а быть такой славной тупышкой не хочется что-то.

Очень трудно писать о том, что сейчас окружает меня. Я практически не знаю город и всякий день совершаю в нем фантастические открытия. (...).

То есть Город как гармоничный с человеком организм не существует, есть какое-то потребительское место, кое-как удовлетворяющее тело. Но как здесь тошно душе! Ни одной несущей вертикали, все плоско и все словно стремится вниз. Да еще эта выморочная гордость своим гегемоном, его примат надо всем, эта пьянь, эта брань, эти опустившиеся тетки. С утра до вечера, на работе, в троллейбусе: маргарин, колбаса, масло... У них что, ребенок не произносит первых и восхитительных слов, чтобы сказать об этом? У них нет книг, фильмов, лиц, которые бы они любили? Сцепились в страстную потребительскую ассоциацию - и все.

Тяжко это. Тем более, что студенчество легкомысленно разрешало этого не видеть. А тут еще все близкие люди разбрелись и воют вместе на общую луну.

Но фиг со всем. Если видела Бродского в недавнем фильме, помнишь, наверное, его фразу: «Тут я потянулся за словарем и понял, что мне все равно, где быть. П.ч. где бы я ни был, рука моя будет совершать этот жест».

Это очень хорошо, п.ч., в самом деле, что бы могло этому жесту помешать? Собственная лень только, а никак не окружающая действительность.

У меня вопиют разные книги да еще появился неведомый ранее интерес к кино, мне стало жаль 5 воронежских лет, где все прошло мимо носа. Я теперь очень хорошо знаю, чем бы нужно заниматься, да поздно уже.

Конечно, это не разговор. Без бутылки не разобраться. Все выходит грубо и приторно. Но выливать на тебя поток чувств и мыслей, привычный для «закаленных» людей, было б неосторожно. Я даже не знаю, насколько устроен твой быт и твоя внутренняя жизнь, а ведь свинство занимать собой неустроенного человека. Почему-то по твоим сдержанным обмолвкам поняла, что тебе там пока не больно хорошо, но ты - умница, это без слов ясно и этому хочется помочь, хотя я и не знаю, чем.

Инн, уже второй час, и на меня находят спорадические маразмы, так что я закончу пока.

Спасибо за приглашение. Может быть. Ко мне - пожалуйста, буду очень рада, благо пустая квартира есть. Мне, конечно, очень хочется отсюда, да обменов нет никаких, и ничего не получается. Так и стою на одной ноге - ни здесь, ни там.

Присылай по возможности свои творения. Буду ждать. И давай, конечно, попробуем поддерживать связь. Хотя, как говорила Цветаева: «Нет, по мне, хуже пресловутых первых времен». Постараемся их миновать.

Всего доброго.

Лена.

12.12.91

2

Здравствуй, Инна.

Прости мое спорадическое молчание: что-то неуловимое отталкивало меня от людей, увеличивая и без того выросший водораздел. Это происходит все чаще - самое пугающее и ненавистное - это толпа, в транспорте, магазине, на улице. Оттого хожу пешком по дворам мимо всех магазинов. А впрочем, я всегда была такой, у меня Гарри Галлер был не любимым героем, а духовным пастором. И Шопенгауэр, и Ницше, учившие жить отдельно и славившие внутренние ценности превыше мира. Правда, кончили они плохо - у меня до сих пор сжимает горло от одиннадцатилетнего одиночного заключения Ницше в собственном сумасшествии, «в одиночестве последнем и крайнем».

Еще Камю призывал не завидовать чужим жизням: мы со стороны видим не жизнь, а линию, которой предстоит стать судьбой, то бишь, летописью жизни. Мы не видим подводных камней, кот. мешают течению. Мне почему-то кажется, что в основе всех этих камней лежит одиночество. Ничего другого. Мы - совершенно замкнутая духовная система. И, может быть, предусмотрено как-то, чтобы мы понимали друг друга, общаясь, и продолжали друг друга, размножаясь, но открыть шлюзы невозможно, и на последней границе совместности мы чувствуем, что так же

одинок, и это вовсе не наша вина, хотя мы это одиночество то хулим, то хвалим, не понимая, что родились вместе с ним. Помнишь, у Мандельштама:

...Я буквой был и виноградной строчкой,

Я книгой был, которая вам снится.

Всегда - «я» или «он» или «она» - там. Никогда - «мы».

Да не спросят тебя молодые, грядущие, те,

Каково тебе там в чистоте, пустоте - сироте...

А Цветаева, в своих удивительных, надмирных снах чувствовавшая холод там и здесь. «Борис, Борис, как я знаю тот (свет)! По снам, по воздуху снов».

А вот Шопенгауэр: «Границы того, что один может дать другому, - очень тесны; в конце концов человек всегда остается один...»

Еще несколько лет назад я цеплялась за тепло людей, я готова была терпеть любые унижения (и терпела), только чтобы сохранить мифическое родство тел и душ, это звалось любовью, и не она иссякала (она никогда не переставала быть), а таяли желания обязательно быть рядом. Постепенно я перестала быть собственницей, мне не нужно стало обязательно человека к себе, достаточно, что он *есть*. Цветаева писала: «Я люблю человека не за поступки или отношения. За суть. За небо над его головой. Небо, под которым мне, м.б., даже не будет места». Как видишь, Томас Манн еще не крайний воплоитель такой любви.

К тридцати годам Марина совершенно перестала пугаться смерти. Мне кажется, ей тогда хотелось туда заглянуть. У женщин обычно так сильна земная горизонталь, что такое не удается. А ей удалось. Она совершенно серьезно была Там и не боялась смерти. И не заигрывала с ней. «Самоубийство обычно не там, где его видят, и длится оно не спуск курка...» Давно все уже знала и ждала. Муж, дочь и главное - сын. Все держало. «Жизнь - эта великая насильница душ, заставляет меня играть сей фарс...»

Сколько себя помню, думала о смерти. Сначала в общем. В 15-ть же почти все думают, п.ч. страха смерти нет вовсе, а ценность жизни еще не определена. Потом от отчаяния, от того же одиночества, от бездомности - от

жизни. От неумения жить. Если верить определению Гарри Галлера, я принадлежу к породе самоубийц (как и ты). Причем, по тому же определению, можно быть поэтом, не написав ни строки, и быть самоубийцей, умирая в своей постели.

Люди часто шарахаются от моего цинизма. Но это никакой не цинизм. Если я не имею права в этом мире распоряжаться своей жизнью, то - хотя бы смертью. И поэтому, об этом нужно думать и помнить, и готовить к этому душу, а то люди ведут себя так, словно им предстоит жить вечность.

Знаешь, Инн, я не устаю удивляться - вот сколько уже встречала людей, с которыми ничего не нужно было начинать с «пресловутых первых времен», п.ч. мы проходили одни и те же ступени, хотя и порознь, и я успевала полюбить этих людей, а ближе никто не подошел. Еще недавно, в Воронеже, бывали удивительные часы с такими вот людьми, они скрашивали весь остальной житейский мрак. Теперь осталось только сопряжение с миром, тоже дарящим порой радость. Когда не станет и этого, можно подумать о главном.

Говоря об общих ступенях, вспомнила твой список. Очень похоже. С той лишь разницей, что никогда не любила театра. Кино - да. И тоже воспоминания, сценарии. Висконти, Буньюэль, Феллини - удивительный, ребячливый, превращающий жизнь в игру. Вообще, у меня случаются странные привязанности, обожаю, например, Курехина за режиссуру «Поп-механики», за игру, за чудное дураковаленье в тихом сумасшедшем доме этой страны. За свободу жить только так, как хочет. Люблю Моррисона и многих ему подобных за прорыв из непроходимой пошлости. Василий Голованов, автор замечательной «Колыбельной для тех, кто не может уснуть в июне», писал: «Это ужасно - жить, слушая музыку самоубийц...» К сожалению, большая часть тех, кто прорвался, - самоубийцы. Нам приходится жить с этим и не заражаться бациллами их безумия.

«Но если как-то устроившиеся в жизни менестрели шестидесятых все же поют старые песни, цитируя самих себя, заботливо укрывая виноградную косточку теплой

землею, то их дети, которые поверили им и смели вопреки логике и справедливости утверждать, что романтизм (даже в обличье *панка*) - это не ходовой товар, а способ быть, который и гарантируется исключительно неустроенностью судьбы - в пику этому благоразумному, самодовольному миру, - их дети не выдерживают, не выдерживают движения к цивилизованному рынку через тотальную пошлость и ложь и сдаются этой пошлости, или - врачи могут лишь констатировать обстоятельство, которое есть одновременно и диагноз, и приговор: суицид».

Я позволю себе еще одну пространную цитату из Голованова, просто она как нельзя более кстати.

«И я даже придумал рассказ о том, как человек решает, что с него довольно... Невозможность. Невозможность автоматически следовать тем же путем, что и каждый день. Разговаривать с сослуживцами те же разговоры... Выбегать в обеденный перерыв в кулинарию и радоваться купленным сосискам. Вечером, от бессилия, смотреть идиотские телепередачи... И тогда он поворачивает назад и идет в другую сторону. Неизвестно куда. Вслепую он заходит сначала в магазин, потом на рынок. Покупает зачем-то шагомер и помидор. Он не совершает никаких безумств... Он просто идет в сторону, противоположную всем. Он еще не знает, как дорого придется платить, он еще только-только заразился этим сладостным чувством свободы...»

Может быть, ты найдешь эту вещь и прочтешь, она опубликована в «Лит. газете» (N 23 от 12.06.91). В ней есть большой привет Саше Соколову, его воздух, но все остальное - о свободе и выборе - очень здорово, если учесть, что автору от силы 23 года. Я нежно люблю таких людей, даже нежнее древних, п.ч. первые пытаются жить сегодня и сейчас, они идут с нами теми же дорогами, и как-то сладко сознавать, что они есть, хотя это никоим образом не нарушает твоего трагикомического одиночества.

«Надо учиться жить», - говорят мне вновь родившиеся нувориши. Учиться жить, по их мнению, - торговать, покупать, сбывать и сиять довольством, и я не отрицаю, что могу это сделать, но плохо понимаю - зачем? (...). И почему вставать за биржевой прилавок должна чуть не вся страна?

Мне пока еще кое-как удается выторговывать у жизни право жить так, как хочется мне. Но каждый день это труднее и труднее. Я цепляюсь за свою маленькую, вшивенькую газетку с крохотной зарплатой оттого только, что в ней не нужно заниматься канализацией жизни. Хотя, будь со мной еще пара родственных человек, газета не была бы вшивой, но делать все приходится почти одной. Плюс ко всему совершенно отсталая полиграфическая база, место которой в музее первопечатника Ивана Федорова, отсутствие денег, транспорта - всего. На одной доброй воле не уедешь. Я уже махнула рукой. Это все одно, что доказывать этому городу, что своим существованием он просто оскорбляет человеческое достоинство. Но какой ныне - не оскорбляет?

Я высылаю тебе газетку - не будь к ней сильно придирчива, тем более - это мой первый опыт, собранный, отпечатанный, кой-как - смоделированный. Я знаю, как надо, я это пробовала в Воронеже, но здесь без единой поддержки - получается плохо.

Твой маленький кусочек о домовом прелестен, у моей подруги был когда-то похожий стих, я его пришлю тебе, как найду. Вообще, хотелось бы тебе отправить свои стихи, но, врать не буду, все старое, свежих нет почти. Мысли просто тяжелее бетона, а стихи ведь сами себя не пишут. Но попробую собрать что-то к следующему разу.

Да, Инн, я, верно, с 20 по 24 буду в командировке в Москве, может, удастся заехать к тебе? Если все получится, я позвоню. Не падай духом.

Я иногда думаю, будь мы вместе - все те люди, окна которых, как лампадки, грели когда-то душу, песни, стихи, прозу которых так любил или любишь, можно было бы творить свой мир в этом оскотинившемся мире, было бы легче. А пока... Один маститый писатель сказал как-то о Курехине, утирая слезы: «Какой умный парень. Как дурака валяет, а?!» Думаю, он ошибался. Это не он его валял, а мы.

Что ж, продолжаем.

До свидания.

Лена.

P.S. Прости, что не поздравила с Новым годом и

Рождеством. Праздники детские, светлые и теплые. Ни тепла, ни света в душе, оттого и захотелось от них отмахнуться. Но все же - удачи в новом стаерском забеге. Мужества всем полярникам, дрейфующим на льдах в сторону весны!

14.01.92

3

Инна, что-то я все молчу. Но это не благостное молчание в пустоту, когда ни о чем не думаешь, отдаваясь некоему импульсивно-чувственному потоку. Что-то мешает ему отдаться. Некое поле безнадежности. Маятниковые колебания между отчаянием и отчаянием, спорадические заморочки сознания - все растворяется в проходящем насквозь потоке, оставляя внутри язвы, точно кислотный раствор.

Недавно ко мне прилетал(а) очень близкий человек, мы пили, воскрешая воронежское чудо совместности, и говорили о Боге. Как-то незаметно решили, что сартровское: «Бог есть его отсутствие» нынче привело к унылой и пугающей череде следствий, к чудовищному одиночеству человека на земле и под небом, к мучительной обреченности человека только на эту жизнь, этих людей и на самого себя, наконец. Но самих-то себя мы почти не можем вынести.

С этого все и начинается: цепляние за людей и за события, беспомощные игры со временем - дурацкая чехарда, глупые прятки от бессмысленности одинокого противостояния Никому. Человек просто не может этого вынести. Он готов терпеть иудаизм или христианство, жрать наркотики или строить коммунизм, только бы не обладать таким уничтожающим знанием.

Я несколько недель уже пытаюсь писать вещь о человеке, похожем на обломок кораблекрушения. Совсем не ясно, от какого он отчалил берега и к какому хотел бы прикорнуть. Иногда он с удивлением обнаруживает самого себя, словно спящий, вынесенный на людную улицу. Он словно забывает, что живет здесь и сейчас. Он обнаруживает себя, и оказывается, что он к этому не готов. Он решительно отказывается решать будущее как проблему. «Жизнь - это

будущее, то, чего нет...» Я не могу решить, сумасшедший ли он. Ведь то отчуждение, которое он несет в себе, почти сродни сумасшествию. Хотя он не виноват, его с детства включили в полосу отчуждения - спецшкола под Ашхабадом, решетки, шакалы и прыщавый майор, за которым они на <плавающемся> от солнца песке терпеливо повторяют:

Мы - идиоты.

Мы - тупицы.

Мы - несоветские люди.

Азиатские сюжеты я ношу в себе уже год, так они меня потрясли. А обломком кораблекрушения я себя чувствую. Обидно, кстати, что похожую идею уже воплотил Миндадзе в «Армавире». Но там есть пароль, на который еще надеешься услышать отклик, а здесь - ничего. Полоса отчуждения, равная безумию.

В одном определении мой герой, пожалуй, прав: «Жизнь - это то, чего нет». В один прекрасный день понимаешь, что есть только та реальность, которую мы создаем сами. И тут солипсисты кажутся не такими уж идиотами. Если эта посылка верна (а по сути, все верно, п.ч. ничего нельзя доказать, даже того, что белое - это белое (...)), то нужно создавать все самим - работу, дом, друзей. Я несколько лет воспитывала друзей для себя. С домом еще неясно, но вот с работой... Мне не хочется, чтобы она делилась на что-то и хобби. П.ч. хобби - это то, за что я униженно получаю зарплату первого и пятнадцатого.

В идеале хотелось бы журнал. Пусть хоть пока рукописный - существует же «Синема Фантом» в 5-ти экземплярах! Мне хотелось бы наблюдать жизненные процессы периферийного андеграунда, выстроить его концептуально, исходя из ложной посылки, любой, даже цитаты из словаря по марксистско-ленинской этике. Это сложно объяснять, тем более, что этот бред возник после 2-х бессонных ночей в аэропорту. Но мы, твердящие о неудовлетворенности работой и жизнью, должны делать какие-то шаги, а не ждать.

Инь, я очень жду твоих рукописей, хочется все же увидеть это как процесс. Не бойся, мы должны учиться нести себя, даже если поначалу что-то и будет выглядеть

смешным. Главное - это эволюционный процесс, происходящий в нас, а не самодовольное любование.

Газета, может, будет жить: я отправила отчаянное письмо в министерство печати, они звонили оттуда и обещали помочь. Но газета уже не самое главное.

Сейчас прочитываю «Театр» и «Искусство кино», много совершенно классных вещей. В «Театре» - все выпуски пресс-студии «На Большой Никитской», N 11 за 1991 год, посвященный обэриутам, N 9, 1991 - Венечке Ерофееву. В «Кино» - потрясающие рецензии на Сокурова, андеграундные поклоны некрореалистам и пр. Очень хороший номер за этот год (первый). Тут есть Малевич и Пазолини. А еще попадаетея в руки много новых журналов вроде «Лит. обозрения» в обновленном варианте, где хорошие рецензии на Миллера (Миллер в «Иностранке» за 91 год. Это литература высшей пробы). Я все это называю, п.ч. тебе, как активно читающему человеку, недолго и потонуть. Я сама страдаю без информации, от хаотичности своего чтения, если тебе будет попадаться нечто, достойное внимания, пиши мне об этом, ладно?

Инь, письма твои приходят все грустнее. Но давай попробуем что-то делать, хотя я понимаю, как это тяжело. Не считай меня только идиоткой.

Как у тебя дочка, ты ничего не пишешь о ней. Как ты? Я не смогла тогда к тебе приехать, но попробую к теплу выбраться. Если будет время, приезжай ты ко мне - с дочкой, мужем, одна. Если вдруг у тебя что-то получится, звони или давай телеграмму. К нам из Москвы идет много автобусов от автовокзала у ст. метро Щелково, почти каждый час. Или поезда, их несколько, с Ярославского. Но я постараюсь приехать и сама.

Целую тебя. Не унывай только.

Лена.

10.03.92

4

Здравствуй, Инна!

Знаешь, читала твое письмо и думала: надо что-то делать. Еще ничего не кончилось, все можно попытаться

изменить, и даже не раз и не два. Жизнь достаточно длинна для этого, но коротка для дел, в которых душа не может быть счастлива. Я сама страдаю, потому что игра ума за сим письменным столом, все эти очные ставки эпох и искусств - это то, что по-настоящему занимает меня. Но получается, что это так, хобби, необязательное занятие после обязательного рабочего дня. Я так не хочу! Не хочу делиться на «до» и «после» и тихо ненавидеть это «до». У меня для этого слишком короткая жизнь.

Прочитала твоё вступление в сказку. Знаешь, я почти не могу сделать замечаний, хотя обычно делаю это не в меру, а здесь - нет. Есть какая-то целостность, так что трудно даже одно слово вычеркнуть, есть некая кинематографическая изобразительность. Это почти готовый сценарий, очень хороший. Может быть, все это тебе послать во ВГИК, на предварительный конкурс сценарного факультета? Училась бы на заочном, недалеко ведь Москва. Смотришь, и круг бы появился интересный, может, работа бы со временем изменилась. Надо ведь что-то делать, не сидеть же вечно, как тараканам в валенках.

Все нужно отпечатать на машинке, должно быть не меньше 20-ти страниц, лучше - больше. Пишешь краткую автобиографию: где родился, крестился, что закончил, на очное или заочное отделение хочешь поступать. Посылаешь по адресу: Москва, ул. В.Пика, д. 3, ВГИК, предварительный конкурс, сценарный ф-т. Свой адрес. Инна, попробуй обязательно, что ты теряешь? Они недавно выступали, говорили, что не хватает катастрофически детских сценаристов. А у тебя почти все готово. И рисунки вложи. Отправить все нужно до 1 мая. Вообще, отпечатай все, пришли и мне. Я хочу послать кое-куда, показать. Вообще есть идея выпускать журнал, хотя бы рукописный. Надоело говорить, что жизнь не предоставляет тебе возможностей, нужно предоставлять их самим себе. Прошу тебя, подумай над этим тоже, может, есть что-то любопытное на примете, самой хочется о чем-то поразмышлять, попробуй тоже, надо пробовать, а то время уходит.

Спасибо большое за книгу. Я тоже присмотрела и купила кое-что для тебя, вышлю на досуге. Знаешь, мне бы

хотелось попросить тебя: может, будет что-то встречаться по теории модерна, постмодерна, разных авангардистских течений, нечто по теории кино, имей меня в виду, ладно? Или пиши, если это в журналах, где можно найти. Трудно очень, п.ч. идешь, как в пустыне, - не подскажет никто, не направит. Вполуслепую, как калека. Старые друзья подсмеиваются из Киева или Воронежа над моими одинокими сидениями да метаниями. Может, это и смешно, но и у них ничем не лучше - одно нытье. Надоело слушать. Если постоянно анализировать свое житье-бытье, то, как сороконожка, не сможешь двинуться с места.

Я знаю, что паршиво, а углубляться не хочу.

Я придумала себе маленькую игру, некий новый фокус реальности. Никакого результата тут не нужно, важен процесс. Это сложно объяснить в письме, лучше как-то при встрече.

Весна на улице идет скоротечная, как чахотка. Коллеги ведут разговор о смерти, с садомазохистским наслаждением рассказывая, кто как умирал из каких-то знакомых. Я подумала, что человек, у которого серьезные отношения со смертью, никогда не позволил бы себе такой болтовни.

Вчера выдали 500 рублей на бедность, хожу и покупаю на них книги. Словари разные, страшно дорогие, Сартра и «Запечатленное время» Тарковского. Вот и все деньги.

Иногда подходят приступы отчаяния, я перестаю верить в себя и в то, что смогу что-нибудь сделать. Это очень тяжело. Жду хоть каких-то перемен в жизни, но все так медленно и безнадежно!

Жду от тебя письма.

Лена.

26.03.92

5

Здравствуй, Инна!

Здорово, что прислала сказки и ответила так быстро. В выходной сидела, читала. Теперь можно говорить и предметно, а то по тем крошечным предыдущим кусочкам трудно о чем-то говорить.

Можно бы сказать, что ты безусловно владеешь жанром,

но сказки - это ведь не жанр, это состояние души, наверное. Читая твои сюжеты, я просто убедилась в том, что у тебя кинематографическое видение, покадровое, так скажем. Это не совсем сказки, п.ч. для литературы им не хватает законченности, они перетекают друг в друга, создавая некую плотность, зрительный образ. В них практически нет сюжета как такового. По крупному счету в них ничего не происходит, происходит - жизнь. Почему-то я просто вижу все это на экране, персонажи очень зримые из-за множества чудесных деталей: тут и заноза в лапах у избушки, и маленький добрый леший, непохожий на остальных, и бедная, физически ощутимая жизнь Бабы-Яги. А критиковать... Видишь ли, сказки - это иная плотность, это не совсем и литература, просто иной срез реальности, так скажем. И тут уж либо есть, либо нет. Они ведь ни языковых красот не требуют, ни стилевых решений, они живут и кормятся образами, пограничными состояниями. Сказки потому и не поддаются литературоведческому анализу, что не требуют никаких включений просто реальности, не пользуются ее подстраховкой. В какой-то степени они напоминают книги Борхеса (прочти, если не читала), вырастающие из грез и сновидений. У тебя безусловный дар, достаточно редкий в наше время. Поверь, я - человек прямой, редко кому-то льщу, моих оценок оттого все боятся, но у тебя действительно есть в руках семена, которые нужно бросить в землю. Там есть, чему прорасти, поверь мне. Обязательно посылай во ВГИК. Обя-за-тель-но! Можно бы и в лит. институт, но там гораздо хуже. Понимаешь, нужно пытаться отыскать сродственных людей, не критиков, а единомышленников. Я сама мучаюсь неисчислимыми комплексами, но надо через них переступить, надо не бояться шишек и синяков. Ну, откажут, обидят, что ж делать. Но увидеть-то должны. А так ничего не поймешь, п.ч. смотришь как бы изнутри произведения и не можешь от него отстраниться.

И нужно еще определить в себе - это хобби? или все-таки дело? И относиться к этому соответственно.

Знаешь, я словно начала чувствовать, как мало мне осталось, мне все хочется успеть, я сокращаю время сна,

ухожу раньше с работы и только глубже увязаю, понимая, что некий фонд глубинных знаний мне уже не приобрести. Я сейчас просто ужасаюсь себе той, воронежской, - сплошное дилетантство, какие-то верхушки, снобское высокомерие и в целом - полное убожество. В какой-то мере и весь Воронеж в своей самодостаточности (кажушейся) и жлобском высокомерии был таким. Никогда бы не могла туда вернуться. И из-за этого, и потому, что ходила бы, словно среди театральных декораций - спектакль сыгран, актеры ушли, а декорации остались. «Абсолютное 2 может быть только абсолютным, - писала Цветаева, - насколько ты был, настолько тебя больше нет».

Знаешь, Инна, я очень понимаю твое погружение в «серебряный век», это захватывает и уводит. «Поэта - далеко заводит речь...» Я переживала это еще на третьем курсе, просиживая в библиотеках, выискивая в пропыленных книгах по зацепочке, по обмолвкам, по знакам, которые они - нам. Это была какая-то раненность судьбами, смыслами, стилями. Помню, на 50-рублевую стипендию покупала 50-рублевого Мандельштама, тряслась над каждым словом Цветаевой, Пастернака, Тарковского. Дома лежат папки вырезок, неплохое собрание из мыслителей и художников этого времени. «Болела» я долго, пока это, наконец, не утрамбовалось в некую плотность, культурный миф, так скажем. С этой плотности теперь хорошо и вверх и вниз. Но в какой-то мере я пресытилась этой гармонией. Еще Мандельштам сказал: «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» Понимаешь, я вдруг ощутила бессилие слов, выморочность всех доступных форм. «Мне опостытели слова, слова, слова», - писал Арсений Тарковский. Но, кроме чувств и ощущений, доступных слову, есть еще нечто невыразимое, сновиденное и пугающее. Я впервые, может быть, ощутила боль супрематиста Малевича, понявшего, что нельзя передать колокольный звон в стихах словами «колокол звенит». Я узнала на своей шкуре, какое отчаяние двигало теми же дадаистами. «Из всего написанного я люблю только то, что написано кровью», - сказал Ницше.

В том-то и дело, что современный авангард, пытаясь

использовать весь окружающий мир как материал для творчества, не оплачивает эти попытки судьбой. В такие игры так не играют. Мне кажется.

И вообще в последнее время интересуется больше не звучность метафоры и не чистота стиля, а двоящаяся сущность психики, ее подводные течения, смешанные с длинными ассоциативными рядами. Что-то вроде фильмов Гринуэя или обожаемого мною Джармена. Очень понравилась и написанная в том же ключе «Теорема» Пазолини. Как всегда со мной бывает, я по уши втрескалась в интеллектуальное кино (как прежде - в «серебряный век», а позже - в модерн). Почему-то никогда не любила театра, не могла преодолеть его вторичности и условности. Но кино... Что-то сновиденное. Новый фокус реальности, где возможны любые изобразительные, логические и ассоциативные ходы. Любая метафора. Это мне очень близко, тут задействованы ощущения, впечатления, коды памяти. Я, например, просто впадаю в некий столбняк, когда смотрю того же Висконти. Ужасно хочется поступить во ВГИК, буду пробовать, но вряд ли выйдет, там публика слишком элитарная, выросшая в кинематографических передних. Они с детства росли на том, что я еще только открываю для себя. Обидно, конечно. Может быть, когда повезу во ВГИК документы, я заеду к тебе - недалеко ведь. Понимаешь, Инн, сейчас есть обмен на Москву, но нет разрешения, черт его возьми. Жалко ужасно. Если бы что-то можно было сделать! Но я уж и туда и сюда рыпалась, не выходит никак. Так что придется, видимо, в Ленинбург, формальностей меньше. Но и от мамы - значительно дальше, а это тоже важно.

Телефон у меня рабочий, на работе же я редко и до пяти досиживаю.

Из Воронежа ничего не слышно, да я и сама уже не оглядываюсь на него. Фантомные боли прекратились. А на ампутацию я сознательно пошла, от обмена туда отказалась. П.ч., при всей любви, город стал напоминать пальто, купленное навыворот. Стал тесен. Да и память о вечной бездомности там, о песьем каком-то сиротстве срабатывала. «Когда я уезжаю из города, он кончается, перестает быть.

Это не высокомерие. Я знаю, что в жизни городов я - ничто». Это Цветаева сказала, как всегда, беспощадно-точно. Цветаева, кстати, долгие годы была моей страшной любовью. Я даже диплом по ней писала. И сейчас еще не до конца избавилась.

О Маяковском можно почитать в журнале «Театр» за 1988 год - «Воскресение Маяковского» Ю.Карабчиевского. Это очень известная и нашумевшая когда-то работа. И очень необычная, потрясающая иным взглядом, объемомостью образов. Переписку же по большей части и до этой книги читала. Но от восторга кое-что останавливает. Во-первых, сама Лиля (никогда не приму эту женщину-вампиришу), во-вторых, то, что я знаю во многом, как пишутся письма поэтов, особенно таких, как М., который вне зрителей и толпы просто переставал быть. Знаешь, я могу принять джарменовскую дау-эстетику, любовь втроем и прочие заморочки, но такой способ существования, как у Бриков и Маяковского, мне физически неприятен, я просто однажды столкнулась с этим в личной жизни (и женщина тоже была - Лилия) и увидела за этим интеллигентным, казалось бы, способом быть такую помойку! Хотя это все детали, п.ч. боль-то вначале была настоящей, как и желания. Жаль, что Лилия эта потом в нем научилась их дрессировать.

С семьями что-то у всех моих знакомых не выходит. Любовь остывает, совместное проживание просто теряет смысл. Но на добровольное одиночество идут немногие, это трудно, только если есть какое-то дело или страсть. В общем, дорости до этого нужно. А потом, решившись на него и вкусив его горечь, его трудно менять на что-то другое.

Что-то я расписалась. Попробую еще напечатать отрывки из твоей сказки, пока газета еще жива, хотя едва дышит. Все орут, давят, «Союзпечать» отказывается распространять (лучше, конечно, трусы продавать). И сил уже больше нет. Хочу уйти, но пока не нашла места. Вот так. Ладно, пиши. Буду ждать.

Лена.

P.S. Купила тебе книгу «Душа Петербурга» - как раз к

«серебряному веку». И Кортасара «Экзамен». Только вот никак до почты не дойду, затрепало.

7.04.92.

6

Здравствуй, Инна!

Намедни была в командировке в Москве и все собиралась к тебе, да не успела. Жаль, конечно. Но это ничего, скоро я вновь соберусь, надо только тебе, наверное, позвонить заранее. А то приеду, а тебя и нет.

Знаешь, Москва сразу как-то потянула, закружила. Холодно было, шел снег, я ждала человека одного у «России» и такую тоску чувствовала, словно смотрела в окошко на чью-то замечательную жизнь. И легкость какая-то появилась, как прежде, в Воронеже, бесшабашное «все могу». Словно я долго сидела на необитаемом острове, ни с кем ни слова не вымолвив, а тут - люди, и все говорят на родном, понятном языке. И я им понятна. Это, конечно, тоже иллюзия, это моего одиночества не разрушит (и ничто не разрушит), но хоть как-то поддерживает на плаву.

Для обмена в Москву нужно что-то вроде разрешения, вызов на работу от любой организации (чаще такие вызовы фиктивны, конечно). И никто мне такой бумаги дать не смог, а жаль. Обмен пропал, Инн, а так хочется в Москву или в Питер на худой конец!

Насчет ВГИКа решай быстрее, я уже давно все отправила на творческий конкурс и документы собрала на всякий случай. Надежды мало, что пройду, слишком уж институт элитный, но хоть попытаюсь, сидеть без движения и ждать сил больше нет. Там все принимают до 15 мая. Отпечатай скорее и вышли. Может, успею выслать кусочек напечатанных этюдов в газетке, ты их тоже приложишь.

Черт, пишу на работе, и меня постоянно дергают, мысли путаются, так что получается какая-то галиматья. Но хочется ответить побыстрее и со ВГИКом тебя подстегнуть.

Заботы у меня теперь какие-то дурацкие: вожу с менялами хорооводы насчет обмена квартиры и вся уже не здесь, а там, а там даже намек на решение конкретное нет. И что там делать с работой - тоже вопрос. Ну да ладно, был бы только

обмен.

Все, что ты пишешь о кино, верно, почти по Шкловскому: новый фокус реальности.

Знаешь, я читаю сейчас Ортегу-и-Гассета, модный сейчас философ в узких кругах. Но бог с ней, с модой. Он большой умница. Он там размышляет о человеке, обществе, реальности и ирреальности, а потом делает совершенно солипсистский вывод: никакой реальности и нету. Есть только то, что мы создаем внутри себя, что мы в силах создать. И в жизни ничего нет, кроме одиночества и смерти. В торичеллиевой пустоте промежутков иногда мелькает любовь. И это все. Это грустные выводы, но правда их неоспорима. Да и не стоит ничего драматизировать. Ортега прав, в принципе, многое мы делаем только из-за того, что «все так делают»: одеваемся, говорим, думаем, живем. И драмы наши во многом отраженные, преломленные «от всех». А истинная, единственная, может быть, драма именно в трех составляющих: любви, одиночестве, смерти. Только они и значимы, все остальное - чушь, остальное - для всех, которым мы никогда не были и не будем нужны. И Цветаева, пугавшая (и по сию пору - пугающая) всех своей любовью, права: все или ничего, п.ч. другого нет. Ты почитай ее, письма особенно. Что там Маяковский! Я никогда не слышала, чтобы о любви - так! Это обжигает на всю жизнь. Почитай хотя бы «Поэму конца» или «Флорентийские ночи», письма к Рильке или Пастернаку. И еще ее письма поражают четким ощущением какой-то внемирности, она словно бывала там. «Борис, Борис, как я знаю тот свет, по снам, по воздуху снов».

И еще давно размышляю над вопросами асексуальности, андрогинности, как это определял Платон. Попытка человека ускользнуть от необходимости размножения, обойти даже всплески любви, сохранив только свою реальность, вместить внутрь себя и«+» и «-», и «М» и «Ж» или совсем этого не вмещать - вот что меня интересует. С точки зрения нормального человека, андрогин, конечно, просто монстр, но мир меняется непрерывно, и «люди лунного света», скрытые, задавленные дурацким «все так

делают, все так думают», все же существуют. А если они есть, следовательно, наша реальность уже как-то искривлена, раз делает такое допущение. Этими вопросами многие занимались, сейчас их робко пока, но касается кино. Это ведь не гей-эстетика, немножко иное. Геи - сексуальность с обратным знаком, они б даже и размножались, если б смогли. А андрогини - асексуальность, смешение полов и стирание их. Мне даже снилось как-то, что я снимаю хрупкий и выморочный мир такого существа. Помню, что у него были длинные прозрачные пальцы, на одном из которых - перстень в виде собачьей узкой морды (Анубис - бог смерти Египта). Вот, кстати, в чем магия кино - оно может материализовать твои сны и видения, сохранив им выпуклость и объем. В живописи слишком много нужно уметь, слово - вообще отдельный предмет разговора, слово, честно говоря, слишком сильно вторгается в наше «я», чтобы можно было чересчур смело с ним экспериментировать (самый смелый эксперимент В.Гнедова привел к нулевому результату. Он отказался от слова, оставив чистые листы. И все. Но мы не можем до конца отказаться от слов. Мы ведь думаем словами! А если нас изначально лишит слова, то это будет иное общество, не человеческое). Остается кино. Сны, виденные наяву и рассказанные тобой и другими. Взгляды, прикосновения, полуулыбки, шорохи, шепоты - торжественный и таинственный мир мелочей, деталей, составляющих жизнь с сердцевинкой сюжета.

Инь, вот сижу, высчитываю дни, чтобы поехать в Питер. Безумно хочу попасть там на кино-видеоярмарку, а мне все говорят, что туда меня не пустят. Только платежеспособных лиц пропускают, а не всякий сброд, вроде меня. И везде так. Я только один раз чувствовала себя человеком во всех этих структурах. Был один знакомый, волшебник. Все двери перед ним раскрывались. Хочешь в Большой - пожалуйста, жить в «России» - пожалуйста, какое вино предпочитаете в это время суток и т.д.

А я дура была, вся из комплексов, все неловкости своей боялась, нет бы расслабиться, раз с таким человеком, все перед ним стелются, а он тебе сапоги сам надевает. Так нет.

А теперь уж и нет того человека. И в мир тот уж ни-ни, ни ногой. Вот и на ярмарку не попаду, а так хочется! Мне вообще себя все чаще ущипнуть хочется: надо же, я еще есть? И это - я?

Ты писала, что ощущаешь как бы временность своей сегодняшней жизни. И я ее ощущаю. «Жизнь - это будущее, то, чего нет». Но ведь ничего нет, как выясняется. И все длится слишком долго, чтобы быть временным.

Ты, конечно, уезжаешь на праздники, да? Там нам что-то много выделяют прогулочных дней, вот бы нам и встретиться. В Питер-то я вряд ли уеду, т.к. ни на какую ярмарку меня не пустят. Сообщи, какие твои планы. Может, что-то придумаем?

Ну, всего доброго.

Письмо вышло довольно глуповатое.

Лена.

Да, с удовольствием читаю твои сюжеты. Молодец ты все-таки.

2.05.92

7

2 июня.

Еще год назад я написала бы: «Лето скользнуло зеленой ящеркой...» или что-то в этом роде. Описала бы небо, похожее на темный чулок со спущенными петельками звезд, и запах, и утренний туман над садом. А несколько лет назад мои дневники пухли от этих ночей, свечей, слез и донских туманов. Все это так болело и горело, что сегодня я оглядываюсь туда с удивлением: «Это я?» Когда я в который раз говорю, что никогда не хотела бы вернуться в Воронеж, это не месть городу, это ужас людей, которых я так любила и с которыми ни одной минуты не была счастлива, которые унижали и растаскивали и которые теперь перестали быть, больше, чем умерли. «Абсолютное может быть только абсолютным. Насколько ты был, настолько тебя больше нет» (Цветаева). Мы никогда потом не встретились так, глаза в глаза, но я уходила от него три года, я так долго уничтожала в себе чувство, кот. всегда есть суть мы, что нарушила какой-то заведенный и точный

механизм. В один прекрасный день я поняла, что вовсе перестала чувствовать, и проблема «М» и «Ж» отпала сама собой. На место возникшей пустоты ринулось нечто, странное, истонченное и чуть нереальное чувство, доморощенная платоника и бергмановщина, призрак лунного света, в котором так понятно, что есть вещи сложнее и больше, чем просто мужчина и женщина. Инн, так, конечно, ничего не понять. Приводить примеры из собственной жизни, конечно, занятие довольно бесполезное, тождества жизней ведь не бывает. Но когда-то я чувствовала так же, как и ты тоже. Обычно дальше следует: «Встретила другого человека и полюбила его». Я никого не полюбила и не люблю, но я осталась жить. Прости, но на любовь у меня аллергия, а вот о жизни мне бы хотелось что-то тебе рассказать.

Все те годы я была, наверное, очень женщиной, слишком женщиной, для кот. любовь и замыкала весь мир. Механизм действительно разрушен, п.ч. я сейчас - не очень-то женщина, я это осознаю и чувствую. Это все сложно объяснять, п.ч. это тоньше, чем дау-эстетика и пр. И все же.

Понимаешь, помимо всех этих довольно скучных игр между М и Ж существует еще личность, которой свойственна эволюция, определенный рост. Почему об этом не думают? Существует еще дело, обозначающее некую духовную работу человека в этом мире. Большинство же наших людей остановились в своей эволюции на уровне «Незнайки на Луне» и еще похваляются своей косностью, выдавая ее за опыт. Нужно еще отойти от вбитых с детства стереотипов, например, таких: «Любовь - это счастье». Любовь - это беда, несчастье, игра, где нет победителей. Ты заметила, что во всех романах и фильмах кодом истинно глубокой страсти является смерть? А куда еще может привести это никуда не ведущее напряжение? И что счастливого в том, если человек разрушает себя за одно только ласковое слово? Я делала это многократно и знаю, что это отвратительно. И потом даже в самой близкой близости меня словно окружала черта, заклятый круг Хомя Брута, за которым никто не мог разрушить моего одиночества. Мое сегодняшнее добровольное одиночество - только

расширение этого круга. Мне даже ничего не нужно было искать.

В этом одиночестве я придумала себе странную игру, я создала в воображении некоего Голема (читала у Мейринка?), человека, переступающего обычный порог близости и откровенности, нарушающего все стереотипы и запреты и освящающего тем самым ад совместного экзистенса. Он так хорош, этот человек, что все рядом с ним кажутся убудками (да и эти все - такое жалкое зрелище!). Если бы я пожертвовала своим одиночеством, то только ради такого человека, ради ступени такой близости. Но такого никогда не будет и ныне, и присно, и во веки веков.

Видела ли ты фильм «Чернов»? Там человек тоже играет - только в железную дорогу. Он едет по миру - в воображении. Я знаю, чем кончаются такие игры. Эти заморочки с реальностью трудно объяснять нормальному человеку, надо приписывать, как у Гессе: «Только для сумасшедших!»

Но вообще-то мне не нравится твое настроение. Ну и что, что нет к чему-то возврата! Надо ощущать бытие во всей его неповторимости и полноте. П.ч. дубовый лес еще жив, и можно приехать туда утром и вдохнуть этот запах рая. Я столько раз спасалась этим. Если б меня спросили, что было в моей жизни в те три года, «после него», я бы ответила: «Сад». Я только его и помню, а с Ним даже минуты радости и те забылись. Я знаю, что сегодняшние твои муки, метания, сомнения сплавятся в некую новую ступень, и, когда ты на нее шагнешь, все будет выглядеть иначе, ты будешь окружена иным смыслом. Не надо ничего бояться, особенно жить.

Кстати, я так помню Елец, у меня с ним связаны три чудесных дня жизни. И мне так бы туда хотелось - хоть на день. Где ты будешь в июле? Я бы могла приехать к тебе. Очень трудно объясняться в письмах, чтобы сказать все, нужно написать роман или повесть.

Ты совсем еще (и неожиданно) маленькая. Но это хорошо.

Пока.

4.06.92.

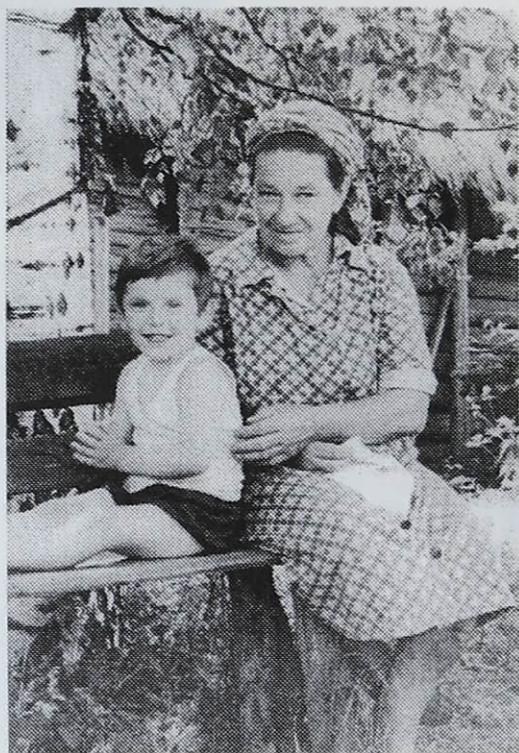
Василий Иванович Сироткин, прадед Елены по материнской линии. Участник революционных событий в России 1905, 1917 гг., известный инженер-изобретатель. 1925 г.



Семен Анисимович и Вера Васильевна Гончаровы - дед и бабушка Елены по материнской линии. 1935 г.



Наталья Семеновна Рощина (урожд. Гончарова)
с дочерью Еленой. 1968 г.



Антонина Яковлевна Куренева-Рощина
(бабушка Елены по
материнской линии) с
внуком Эдиком. 1969 г.,

Олег Алексеевич
Рошин (отец Елены) с
Женей Белоноговым.
1993 г.



На пороге бабушкиного
дома. 1989 г., д. Петрово.



Первоклассница. 1973 г



Седьмой класс. 1980 г.



Любимое занятие - конный спорт.

Среди при-
зеров районного
соревнования.
1981 г.





Лето 1991 г..
г. Родники.



Лето 1991 г. У речки Парша.
Родниковский район.



ВГИК. Июнь 1994 г. В центре - Елена Рощина.



ВГИК. Май 1994 г. В день рождения профессора С. В. Комарова. Справа от него - Елена Рощина.



В ткацком цехе комбината «Большевик». 1982 г., г. Родники.



Елена - студентка журфака Воронежского ИВГУ.



Среди однокурсников. 1989 г.



На практике в редакции газеты «Родниковский рабочий». 1990 г.



В общежитии. 1989 г.,
г. Воронеж.

Юле.

Высокие ступени двадцати-
~~двадцати~~ ^{двадцати} ступеней Бислые ступени,
Как трудно ~~в~~ ^в мир себя вести
Из сладких детства.

Порой захватывает дух,
Страшна баррикада,
Но нежность губ, степенных рук -
Нероушимой. Нероушимой.

Возмывает светлое кротко
Любимых нежен,
Дыханье струи напряжено,
Как мускул лестницы.

Но так
Гитару отложив, по ним
Стремись к вершинам
Своей загадочной души
Нероушимой.

14. 04. 89.

Рукопись стихотворения «Юле», написанного в студенческие годы.



Зима. 1990 г.

1992 г., г. Воронеж.



Группа пятикурсников Воронежского университета (крайняя справа Елена Рощина). 1991 г.

Елена
Рощина

**Да утолятся печали
ТВОЯ...**



Обложка книги Елены Рощиной «Да
утолятся печали твоя...» (Вичуга: издательство
«Наше наследие». Май 1995 г.).

ЕЛЕНА РОЩИНА

Жар нетерпения...



Обложка книги Елены Рощиной
«Жар нетерпения» (Воронеж: изда-
тельство «Подъем», ноябрь 1995 г).

Инна, здравствуй.

Спасибо за письмо, но, если честно, писать о прошедших событиях не больно хочется, не люблю отчетов даже в лучших их проявлениях.

Я поступила, на сценарное курс набирал Арабов, и так тебе и надо. Народ весь поступал взрослый, с высшими образованиями и детьми, и было в этих поздних экзаменах что-то хорошее, сразу все делавшее понятным, нужным и устойчивым, забытая студенческая тусовка, волнения перед дверью, пьянки на кинодачах, краешек носа в тот истеблишмент, в кой никогда не попадешь оттого, что не захочешь (потом). И была Москва, затягивающая, как сеть, незаметно влюбляющая в себя модерновым Шехтелем и барочным Пашковым, нанизывающая свои удивительные кольца, всякий раз меняя облик и стать. Москва, подсовывающая какие-то встречи, разговоры, книжные развалы, бесцельные походы в знойные дни по Патриаршим, Ордынке, Пречистенке, сигареты, выкуренные между гаммами у окон консерватории, когда ты почти что не существуешь, п.ч. нет человека, который бы окликнул тебя и заговорил, и когда твое одиночество так безалаберно-счастливо.

Впрочем, все кончается, я вернулась в г. Иваново, где у меня нет работы (давно уже) и откуда никак и никогда, видимо, не уехать, как чеховским сестрам, а легче удавиться, чем жить здесь, п.ч. все одно - не жить. Сказки можешь прислать просто на прочтение, а печатать я уже ничего не могу. Хотя лучше бы ты тогда эти сказки послала Арабову. А то ты «чувствуешь, что надо что-то менять», а ни одного шанса не используешь.

Впрочем, учить всегда легче, чем жить. Завидую Ольге - что она говорит о работе (где эта работа?), я, верно, никогда ни о какой Работе так не смогу, работе, где надо расписываться в своей стоимости и делать что-то с 9-ти до 18-ти. Не потому что ленивец, а потому что не хочу больше заниматься тем, от чего тошнит. А меня от всех газет тошнит. И я с ними завязала. Эх, если бы у нас была хоть

киностудия. Я бы там и бесплатно работала. М-да. А то вот - в Москву, в Москву! Тут-то все равно работы нет.

Ты пока будешь в Подольске, да? Я еще напишу, п.ч. это, конечно же, не письмо.

Лена.

14.08.92.

9

Инна, так больше невозможно! Ну что это такое?! Чувство остается, что ты словно получаешь садомазохистское удовольствие от своего страдания. Так ведь часто бывает: напаялит человек рубаху отчаяния, и вроде бы срок прошел, уж можно ее и снимать, а он все ежится-корезится в своей одежде, и ему словно бы и хорошо.

Мне трудно что-то советовать: я не знаю ничего о твоей семейной жизни, хотя сейчас уверена, что Б.Г. в своем высокомерном утверждении прав: «Не нужно таскать за собой прошлое. Это напоминает человека, везущего за собой свой гипсовый слепок: гипс об асфальт крошится, человеку тяжело, и все это некрасиво и неопрятно». Да и что с ним носиться, с прошлым-то? Есть настоящее, а когда, как и где они сомкнутся после нашего ухода - зачем нам знать?

Боль не выписывается на бумаге (знаю). Ее вышагивают и выговаривают (сама знаю). Я отделалась двумя годами «одиночного заключения», а потом то ли инстинкт самосохранения оказался силен, то ли я навсегда научилась быть беспощадной к своему прошлому. Когда удивляются моему нынешнему и абсолютному равнодушию к Воронежу, я думаю про себя: «Зато там, в нем, никто из вас так этого города не любил!» (...).

Приезжай. Так действительно будет лучше. У меня с 15 сентября отпуск. Может, Осетрова соберется? И я побываю, непременно, но ты приезжай. Смени климат.

А шансы... Видишь ли, когда ты живешь вполоборота к настоящему, о них, конечно, трудно говорить. Ты же ничего не видишь, не хочешь видеть! Может, тебе покажется странным, но в этом мире есть что любить и кому сострадать.

В нем живут беспощадно-прекрасные вещи, которые остаются таковыми всегда, только они любят тишину, они не даются сразу в руки, их еще нужно искать. Рядом с тобой - старая Москва, где так хорошо, горько-счастливо укрывать свое одиночество.

А уходить нужно единожды («ведь недовеситься - это гадость?»), п.ч. нет ничего манернее и глупее многоразовых «уходов». И о них не говорят вслух.

Это жестко, но, может быть, так и нужно, тебе словно нужна некая плотность, жесткость, от кот. можно бы оттолкнуться. Тот самый позвоночник, кот. должен вырасти в тебе самой. С людьми не всегда получается, как хочешь и как мнишь, но в самой-то себе хоть что-то должно получаться. Ведь не только же они и есть. Есть еще. Ты и мир вокруг тебя. Увидь это!

Да и ты, что сделала ты сама? За целый год? Хоть один шаг куда-то? Даже ко мне не собралась. И сказки. Что ты их держишь, как Кашей, в темнице? Надо разослать, раздать, показать. У тебя громадные возможности - это идиотство - хоронить себя в 26-ть лет. Надо встать и попробовать - все получится, у тебя все получится. Когда увидимся, вместе подумаем, куда с ними деться. Походим по московским редакциям, поищем, покажем.

А Арабов - очень известный в поэтическом авангардном мире человек, автор великолепных сценариев («Дни затмения», «Господин оформитель», «Посвященный» и многое др.). А ему, потому что он набирал курс. Все просто. Поступила я на заочное, ибо кто же меня будет кормить и одевать, Инн? Но зато я почаще буду бывать в Москве и буду тебя навещать. А в Москве много всего интересного. Сколько ретроспектив, выставок, спектаклей, книг! Иногда проскальзывают разговоры с людьми, сами люди, их судьбы - краешком, но и это здорово.

Я хочу сказать тебе, что люблю тебя и твои сказки. У Б.Г. «А тут, как всегда, воскресенье, и свет, и праздник, и лето, и смех, и то, что нельзя». Твои сказки - это все вместе + «то, что нельзя». И, наверное, из-за них ты воспринимаешь вещи из тумана мнимостей, большее и сложнее, чем надо бы. Но это - суть, а ее не переменишь. И не надо. Тебе так

плохо здесь оттого, что так хорошо там. А в жизни все нужно делить - поровну. Здесь, там. Нигде. Тебе, как шарик, нужна ниточка, чтобы держала тебя здесь. Чаще всего это бывает воспитанное одиночество, тобой же воспитанное, кот. помогает видеть без слез и жить без отчаяния, ибо, как ни нелепо это звучит, «жизнь стоит того, чтобы жить». Она и правда стоит, я хочу, чтобы ты это почувствовала. Я постараюсь тебе помочь, но без твоего усилия ничего не выйдет, да. Воля - вот как это зовется.

Да, пришли, если можно, мне еще сказок, что-то без них грустно.

Кстати, читала Толкиена. Инн, у меня все визжало от восторга. Это удивительно! И у него тоже - целая страна волшебных сказок, прекрасных, умных и грустных одновременно. Купи себе, если увидишь.

Целую.

Лена.

25.08.92

10

Инн, знаешь, я отправила тебе какое-то железобетонное письмо и потом чувствовала себя так неудобно, как просыпаешься порой в чужом городе, в чужой, захлавленной квартире. У людей, плохо и наспех привязанных к жизни, бывают редкие дни затмения оптимизмом. Этого испытания они просто не выдерживают, поскользываясь в дидактику и морализаторство.

Я еще кой-как пытаюсь собрать пресловутую силу воли, представляя по утрам, как встаю в шесть, обливаюсь ледяной водой и учу английский (а-ля Мартин Иден), но я знаю, что этого делать не нужно, что это не моя ниша. Я люблю по вечерам в одиночестве рассматривать какие-то нечеткие и тающие контуры смыслов, явленных в сиюминутной реальности. Можно потянуть тихонько эти нити, собирая их в клубки, это будет знание, наверное, но автор страшной и туманной книжки «Дверь в иные миры» Карлос Кастанеда прав, утверждая: «Зачем нужно знание, если оно бесполезно?»

Есть только та реальность, которую создаем сами. Это

так, но попытки фиксации удаются не больно. А что с ней делать, с этой своей реальностью, куда с ней? А если в нее, то где?

Я недавно видела параджановский «Ашик-Кериб», какая-то космологическая структура, картинно красивый мир Параджанова, оставленный на счастье. Умберто Эко говорил, что роман начинается с того, что придумывают мир. Параджанову придумывать ничего не нужно, его мир всегда был с ним, и даже если он просто переходил улицу, этот мир двигался вместе с ним. Он был, почти по Хейзинге, человеком играющим, мистификатором и шутком, у которого «безответственность во всем, кроме игры». И хотя все эти игры саморазрушительны, но по-другому тут нельзя, да, честно говоря, и не хочется.

Сегодня с утра - нетерпеливые капли дождя в окно, мокрая грива еще зеленой листвы и твое странное письмо. Я так из него, через него ощутила и эту внезапную тишину, растаскиваемую часами, и твои температурные приливы, и жиденький сентябрьский свет задыхающегося дня.

Ты очень талантлива, Инн, у тебя какой-то редкий, параджановский дар инобытия: мир, который вдруг возник и который давно стал реальностью, существующий здесь и сейчас. Этот мир в такой мере самодостаточен, что не нуждается ни в чьем признании. Но человек-то нуждается. Я постараюсь скоро приехать, Инн. Вроде проклевывается долгожданный отпуск. Хочется в Питер, вдохнуть его сиротливого и холодного воздуха, раз уж не получится, видно, там жить (все требуют доплат, с каждым днем больше и больше, а где взять деньги?). Скорее всего, уеду туда на несколько дней, но перед этим буду у тебя.

Квадраты окон, сколько ни смотри
По сторонам. И в качестве ответа
На «Что стряслось?» пустую изнутри
Открой жестянку: «Видимо, вот это».

Это Бродский.

Пока.

Выздоровливай. Как ты там, совсем-совсем одна?

Лена.

15.09.92

- Но жизнь, понимаете ли, -
это не только игра.

- А вот в этом меня никто
не убедит.

Г. Гессе.

Инна, я всегда читаю твои письма с какими-то спорами внутри себя: сказать, что ты не права, значит утверждать, что мне известна некая истина, но ведь я так же иду вслепую, звеня палкой по тротуару, и совсем не знаю, правильно ли иду. И что есть эта правильность, кто его знает? Может быть, слепота великих не оттого, что «убрать» их стремились (Бог ли, природа ли, жизнь ли), а оттого, что внутри себя они были совершенно самодостаточны? Великий слепец Борхес, заведовавший национальной библиотекой, удивился вопросу: «Хотели бы Вы вновь стать зрячим?» - «Зачем. Я и так вижу гораздо больше Вас!» Бальмонт: «Слепота, это дивное горе, Марина!» Если верить Умберто Эко, то любое произведение как космологическая структура нуждается в построении мира. Но когда мир построен, зачем еще нужен окружающий?

Только вот построенный мир все одно обнаруживает беспощадно-красивую конструкцию игры, мыслимой как жизнь и обернувшейся мифом.

В твоём письме два раза подчеркнуто слово «нельзя». Я не люблю его. Нам и так всю жизнь чего-то нельзя. Так почему нельзя распорядиться этой жизнью, как хочется? Почему в ней все должно сводиться либо к суициду либо к аукциону? Мне не нравится ваша реальность, но кто мне может запретить построить свою? Ты читала Гессе «Игру в бисер»? Или Кортасара - «Игру в классики»?

То, что ты пишешь об Игре - немножко не то, видишь ли, это не замена и не подмена, это другая дверь. В каждом из нас есть такая замшелая дверца, за ней сидит наша самость вне всяких подмен - роли жены, жилетки, рабочей лошади, ей пусто, одиноко и холодно, и все иные миры, вторые реальности и запредельные выси - только ее игрушки. И что ей может предложить этот мир взамен - кухонный передник? А ведь там, на Страшном Суде (если

таковой есть), призовут к ответу ее, суть, без личин и морщин, и кто знает, не окажется ли то, что мнили жизнью (работы, зарплаты, квартплаты), - только игрой, нелепой и жалкой.

А Игра - это не стремление к «исполнению безумных желаний» и не «грезы», игра - это душевный труд (как труд каменщика), выкладывание ступеней к непостижимому. Трудно так все объяснить. Ты ведь просто исходишь из значения слова (иначе не появились бы кошки-мышки), а это код. Не спеши, в этом мире слишком много вещей, которые не следует понимать буквально.

Фильма об авангарде не видела, к сожалению, но рада, что тебе понравилось, хотя категории «нравится - не нравится» к этому искусству смерти вряд ли подходят. Но это слишком большая и большая тема, чтобы о ней распространяться в письме. У меня сейчас все мысли примерзли. Живу, как в сказке, - в «ледяной избушке», наш выношенный старый сектор подключают последним, и уже второй октябрь живу в ледяном аду.

Что же касается «Русской рулетки», то ты напрасно портишь вкус. Смотри лучше ретроспективу Вайды. Уже были прекрасные «Пепел и алмаз» и «Пепел». В Москве сейчас много всего любопытного идет: в Киноцентре под рубрикой «Музей кино», в Доме Ханжонкова, в «Октябре».

Когда будет немножко теплее в доме и то, что сидит, скрючившись, за дверью, отогреется, я напишу пообстоятельнее, а то сейчас пальцы заоченели.

Поцелуй дочку. Всего доброго.

Лена.

8.10.92.

12

Инна, здравствуй.

Наконец-то получила от тебя письмо, шла, читала прямо на улице, запинаясь о всякие обломки отжившего свое городского района. Даже не читала - глотала с жадностью. Несколько дней назад отправила тебе чудовищное письмо, но извиняться не буду, п.ч. в нем все - правда. Был такой непереносимый день. В этот же вечер

позвонила Света - как знала. Она обменяла киевскую квартиру на Воронеж и звонила уже оттуда.

С тех пор, как у меня появился телефон, мне перестали писать. Это такая потеря, п.ч. я не умею говорить телефонной трубке ничего, кроме банальностей и общих мест. Мне иногда так жалко, до плача, что все хоть немного близкие мне люди так далеко. А окружают те, кто, по выражению Набокова, существует только потому, что не мыслит.

Читала твое письмо, и первое, что пришло на ум: «Бергман! Сюжет и ощущения бергмановские, что-то между «Сценами из супружеской жизни» и «Осенней сонатой». Но быть исполнителем в таких драмах страшно. Где-то в «ИК», в статье о Евгении Харитонове фраза: «...оставался один. Не так один, как бываем мы, - я поссорился с людьми, - а непостижимо один - вот я, а остальных еще не создали».

Сегодня парень, подвозивший меня из конторы кинопроката, рассказал о девушке, своей знакомой. Художник, потом закончила ЛГИТМИК, стала театроведом, поступила в аспирантуру, преподавала, печаталась в «Театре». Профессионал высшего пилотажа. Недавно ушла в монастырь. Парень удивлялся. Чему? Здесь этот пилотаж никому не нужен, п.ч. сапоги тачает пирожник и наоборот. Кино занимают бывшие агрономы, не знающие, кто такой Фасбиндер, журналистикой - энергетики, культурой - круглые нули. Полный дилетантизм, отсюда убожество, никто ничего не знает и знать не хочет! А я их всех - боюсь. Они хронофаги, они сжирают время, п.ч. им его все одно деть некуда, не жалко. А мне есть куда. Чтобы прожить, приходится читать в лицее, давать что-то в газету, таскаться в прокат, а еще мальчик, как его бросишь, хоть и чужой (чужого - ничего нет, п.ч. и своего нет. Все чужое и все свое). Плюс ВГИК, купленные книги, кот. не читаются... И еще нежелание сказать себе, что это все никому не нужно. Ни-ко-му.

В пору своей спорадической депрессии купила Кьеркегора «Страх и трепет». Открыла страницу: «...отчаяние, эта болезнь Я, «смертельная болезнь». Отчаявшийся - это больной к смерти. Более чем какая-

либо иная болезнь, эта болезнь направлена против самой благородной части существа; однако человек не может от нее умереть. Смерть не является здесь пределом болезни, она служит скорее беспредельным пределом. Сама смерть не может спасти нас от этой болезни, ибо здесь болезнь со своим страданием и... смертью, - это как раз невозможность умереть». Тайна точно открытой страницы, сопровождающая меня всегда. А недавно купила «Бледный огонь» Набокова, только что вышел в издат. «Северо-Запад», есть такое в Питере. Три англоязычных романа с великолепным переводом. Да еще том Шестова, второй, первого не досталось, увы. Книги хорошие есть, но цены! «Парижская школа» с Модильяни - 4,5, худ. музеи мира, каждая книга серии - 10-12 тыс. И т.д. Никому ничего не могу купить. И себе чаще всего тоже не могу.

Подписка на будущий год стоит 8-15 тыс. Значит, «моих» журналов не будет. П.ч. хочется еще съездить в Питер, а это штук 20. Деньги же платят ну очень смешные, сама понимаешь. Мама скоро уйдет на пенсию - как мы будем жить, не знаю. Заставлять ее еще работать я не могу, а научиться зарабатывать хорошо - тоже не могу, хоть и работаю немало.

Ну все, «этот стон у нас песней зовется». А что касается ВГИКа, то хочу попробовать поступить все-таки на дневное, хотя бы ради того, чтобы подышать недолго Москвой, п.ч. здесь делать решительно нечего и не с кем.

Где-то у Мандельштама было:

«Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:

За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, полей Елисейских бензин.

За розу в кабине ролс-ройса и масло парижских картин...»

Всякий раз вспоминаю и плачу, п.ч. ничего не было, кроме нищеты и страха, все это было у кого-то, а у него не было. И в Италии, язык которой учил, чтоб говорить о Данте, не был. Никогда!

Хочется примерить на себя, но ты не Мандельштам. И все же, все же.

Пока.

13, понедельник, сентябрь, 1993 г.

Инна, сегодня получила два твоих письма и - безошибочно, первым вскрыла и прочитала то, что с зеркалом и стеклянными объемами как более важное (или нужное). Может быть, оттого, что утрата дома никогда меня сильно не трогала, чувство дома во мне вообще не развито - где письменный стол с моими книгами, там и дом. Неприятен лишь процесс упаковки, погрузки и выгрузки. А какие стены и что на них навешано, меня мало занимает, лишь бы среди них никто лишней не шлялся.

Странно, как точно и тонко ты умеешь чувствовать непроизносимые вещи. Я это с первого твоего письма нюхом, нутром ощутила, что-то родное за мнимыми бытийными разностями. Умение одинаково чувствовать пропасть под ногами, двойническую суть жизни.

Снег пошел. На дворе 23-е сентября. Позвонила Света.

Два года подряд мы присылали друг другу письма - тысячи вариантов одной мелодии, как в джазе. Если это была любовь, то ее имя я произношу только сейчас, постфактум, п.ч. теперь - затемнение, титры. Бергман. «Персона». Хотя, нет. Иначе. Наверное, это был последний мост моей молодости, последний всхлип. Я давно уже не чувствую дыхания и задыхания любви - нигде, ни с кем. Я не помню, сколько мне лет.

Холодные пальцы и страх. Всегда одно и то же. Жизнь не бросают под ноги Господу, словно грязную тряпку. Даренному коню в зубы не смотрят. Такая досталась. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» А низачем.

Че? Отстань и не будь занудой. Снова зима настает, все прячутся в норки и сидят ти-хо. Будем зимовать. 6 месяцев в году тут лежит снег. Бог и отечеством наградил со всеми вытекающими последствиями. Хорошо, что снег. Грязи не видно. «Россия - отечество. Смерть - неизбежна» (Набоков). Ничего, дяденька, зато у меня есть воображение. «Гарсон, одну Францию!» Или что там еще?

На дворе хрупкий воздух предвзвья. Вчера был робкий, солнечный свет, увязавший во влажной, пестрой листве и

проявившейся вдруг паутине. Меня мучили воспоминания, подступая к самому горлу, как слезы. В комнате было сыро и холодно, холод приковывал к месту, как больную собаку.

Ничего, все еще наладится, унитаз перестанет течь и изображать кораблекрушение, дадут тепло и денег. А у тебя будет комната, книги и надежда на лето. И может быть, что-то еще.

Лена.

P.S. В стране, кажется, очередной переворот.

24.09.93

14

Бог даровал слова как единственную защиту от мира. У меня другой - нет. Если я все-таки «преждевременно» умру, это значит, что рядом не было бумаги и ручки. Их, наверное, слишком много, слов, особенно тогда, когда мир слишком нежно душит в своих объятиях. Прости мне их.

Первый снег, как первая линька ангелов. Влажные сумерки. Твое письмо. Неведомого мне пса жаль, как родного.

«Есть вещи, которые люди должны делать за нас, те самые, которые нам дано делать только за других. Любить нас». Люди нас не любят, Инна. Только звери. И те - недолго.

Кафка в дневниках: «Я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить слова «я люблю тебя», только это я познал, ничего другого».

Всегда одно и то же. Любовь как единственная ниточка смысла, слишком тонкая, чтобы не обрываться.

Усталость от всего такая, что могу либо лежать с закрытыми глазами, либо плакать. Кажется, хочется курить, а больше - ничего. Битый час валялась на диване, следя за гаснущей полосой света в окне. Дальше - все, начинался чистейший дзен, когда ты становилась настолько ничем, что могла читать разрозненные знаки деревьев во дворе. Мир саморазоблачался. Соблазн написать, что за этим открывалось нечто новое, велик, но открытий не было, только шелудивые происки пустоты.

По «ящику» показали «Ночь» Антониони. Очень захо-

телось этой роскоши отчуждения, нервной самодостаточности и немного пустого пространства вокруг - когда все заменимо: мужчины, страны, книги - и только без этого пустого пространства жить невозможно. У меня было только пространство пустой квартиры, которое упорно ни на что не заменялось.

«Туалетный столик» в твоём письме. А у меня все столики - туалетные, в самом прямом смысле. И лежит на них всякое дерьмо (а не крем «Шанель»).

Ты права - ехать никуда не нужно. Иллюзии - самый прочный из миров. Останемся в нём.

Это болезнь, называется аутизм. Когда человек сосредоточен на себе самом, в себе замкнут, самодостаточен, а о мире вокруг только догадывается. В словарях есть, наверное, и более точное определение. Странно лишь, что им не болеют все как один. В письме у тебя: «не успеть разглядеть его реальность, настоящесть». Знаешь, настоящесть-то не пугает, беда в том, что как начнешь разглядывать, так всюду - нереальность и ненающесть видишь.

«Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще остававшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расплозлось. Все падало..., летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». (Набоков. «Приглашение на казнь»).

Я всегда эту шитость белыми нитками слишком чувствую. А иллюзии для меня звучат как-то по-другому, втайне от всех я знаю, что они - самые настоящие.

Странно, что жизнь не уничтожает таких в колыбели. Потом они вырастают и тихонько теряются в толпе. Некоторых жизнь даже милует, и тогда происходит невозможное: она начинает подчиняться их желаниям,

принимая твердую форму их иллюзий.

Вот уже год в моей памяти живет телефонный номер одного человека. Стоит набрать его, и там, в «фантастическом городе», ответит фиолетово-черный голос, вытягивающий гласные, словно рыбачьи сети. Вот уже год я придумываю этого человека, как ты - своих леших, вместо того, чтобы просто набрать номер и поговорить. Но если это сделать, человека не станет, предмета игры не станет. (Инна, меня нужно сдать в психбольницу для опытов, ни на что другое я уже не гожусь. Когда по радио передают количество убитых, становится жаль - может, им эта жизнь была нужнее, чем мне.)

Знаешь, тут недавно принесли киносценарии с «Анной Карамазовф» Рустама Хамдамова. Книжка № 4. Прочти, если сможешь. Диалог женщины и юноши. Тот случай, когда читал-читал и заплакал, п.ч., оказывается, в твою игру тоже кто-то играет, потому и ощущения беспощадно-точные, но для тех лишь, у кого они - были.

Фильм, говорят, провалился, но было бы странно, когда бы *не*. Слишком прозрачно и призрачно. Так понимать все, так чувствовать и снимать фильм о полной бессмысленности всех пониманий и чувствований. Для кого? Чудак, он бы еще «Приглашение на казнь» снял! Он же знает, да: «И чувства все мелкие чем-то другим, Пушкиным, например, прикрыты, чувств высоких они не знают, но туда же, все читают чужие песни, чтоб душу свою зяблика прикрывать чужим разбитым сердцем». Тогда зачем? (...).

Сегодня суббота, целый день болтаюсь по дому в пижаме, все одно зайти некому. Самые близкие - самые далекие, а то бы зашли на чай и, может, остались, как прежде, в пору общажного бытия. Если человек - всего лишь цитата, то укреплять себя в контексте этой унылой местности не хочется, потому сижу дома или в Венеции. Где придется. Только не тут.

От «стрелецких бунтов» стало совсем тошно: стало быть, неизбежна новая пошлость «побед демократии» и новые унижения - его же. Как я их всех - ненавижу.

Утром четвертого кто-то мне с тревогой в голосе: «Как вы провели эту ночь?» Это комедия дель арте, Инна.

Сегодня, в старом дневнике булгаковское: «Счастье - это лежать долго... в квартире любимого человека... слышать его голос... вот и все... остальное не нужно...»

11.10.93

15

(...). Давай оставим тени бывших мужей в покое. Тени! Меньше, чем тени, и слабее, чем имена. Все оставшиеся слезы смыл прилив. Так странно - что же ты в таком случае так любила? Может быть, только саму любовь?

А телефонный голос, стоит лишь вызвать его из небытия, обрастает, как водорослями, сотней ненужных подробностей: жены, дети, - напоминающих о постыдности такой игры в реальном мире, где тебя вообще не существует. Но и голоса, который тянет услышать, в нем не существует тоже, он и живет только в лазейке воображения вместе с его недосыгаемым обладателем.

У Кшиштофа Кесьлевского есть прелестный «Короткий фильм о любви» (сценарий - в № 8 «ИК» за этот год). Мальчик подглядывает в подзорную трубу за жизнью девушки из дома напротив. Иногда звонит ей. Изо дня в день. Девушка взрослая, и у нее взрослая жизнь. Другая. А у него - подзорная труба и телефон. Ее изображение и голос. Как в фильме. Однажды они встречаются. И он ей во всем признается. «Я подсматриваю за вами...» и еще: «Я люблю вас...»

- Ты хочешь войти ко мне?

- Нет.

- Хочешь меня поцеловать?

- Нет.

- А чего же ты хочешь?

- Ничего...

Взрослой девушке с другой жизнью это не очень понятно. Тогда - зачем? Прикосновение еще не есть обладание, а обладать ничем нельзя, кроме мнимостей. Но она этого не знает. (...).

Важно здесь другое, мальчиково «ничего». Из истории необладаний - Данте, Петрарка и т.д. Потом - Абельяр, из миров - самый пронзительный и любимый: Сигурд и

Брунхильд. Чего они, в сущности, хотят? Ничего. Кроме самой любви. А лицо у нее может быть - любое.

У меня в последние годы какие-то странные вещи происходят с книгами, однажды я открываю какую-то и нахожу то, что мучает меня неоформленностью. И вот - все оформлено, к сожалению и радости. Помню, когда уезжала из Воронежа, как на картах, выпало цветаевское: «Когда я уезжаю из города, он кончается, перестает быть. Это не сомнение, я знаю, что в жизни городов я - ничто...».

Стоило придумать себе странную игру, как в ящик впихнули «Короткий фильм о любви». Это не жизнь провоцирует книги и фильмы, а совсем наоборот. Я постоянно ощущаю жизнь как цитату. Тысячи раз на дню. Девочка невысказанной красоты, играющая в песочнице, - почти Лолита. Темная женщина с тряпкой в руке - почти Мария из «Жертвы» Андрея. Мир прозрачен, и можно войти через любую стену. Вам захотелось еще раз сыграть Кесьлевского? Пожалуйста. Даже если вы и не подозревали о нем. Те, кто понимает, находят в этом странный соблазн и удовольствие. Доктор Судзуки призывает от всего отказаться и лет этак девять посидеть, глядя на стену. Просто чтобы доказать себе, что ты не существуешь. И потому, что оттого, сидишь ли ты вот так или мечешься в поисках истины, - результат один. Но, сидя, ты успеешь что-то понять. Может быть.

Я знаю, что так не смогу. Из европейцев никто не смог, хотя многие хотели. Я только знаю - кожей то, что монахи дзена знают даже костями. Это разные вещи. Поэтому я знаю, что нам остаются не Путь, не истина (мы их не выстрадали и не заслужили), а только игра, и Хейзинга тысячу раз прав со своим «человеком играющим». Игра не для победы или поражения (это уже не игра, а битва), а для нее же самой. Весь XX век - это прохождение сквозь стены, игра в цитаты, узнавания-неузнавания, негласный договор считать мнимости чем-то реальным. У этого даже есть дурацкое название «постмодернизм». Я люблю тех, в ком чувствую игроков. Они-то знают, что ничто в этом мире не имеет цены и смысла. Они знают, что на Путь им не ступить, но имеют наглость резвиться на обочине.

Обладатель голоса - тоже Игрок. И еще какой! Может быть, самый смелый из нынешних в нашем отечестве.

Черт, тепло снова выключили, и сигарета так подурачки горит. С одной стороны. А на почте у нас все есть. И я отправила тебе Шестова. Читай. (...).

Вчера Таганов рассказывал, как к нему в 67 приезжал Тарковский с Ларисой. В 67-м! Подумать только. Он издал книгу об одной странной поэтессе - Анне Барковой. И мне подарил. Читала со смешанным чувством - какая горечь: все знать, все понимать и не смочь. Так чувствовать стихи, как она, и быть такой беспомощной в стихах. Дневники куда как лучше, но там оценки все мужские, жестокие. Там - ненависть, а из нее-то стихи не растут, они от этого умирают. А вообще дамочка - ой-ой. Я тебе пришлю книжицу, любопытная очень.

В лицее был праздник, свет, стихи, музыка. «Иже херувимы...». Потом вышла - на улицах: три с половиной фонаря и какие-то матерные мальчишки. «Провинция мистически ужасна: была, есть и будет», - написала как-то Баркова. И будет, да. И за эту действительность мне предлагают держаться? А зачем?

P.S. А вспоминать о ком-то, значит пролистывать жизнь назад. Когда хорошо - не помнят, когда хорошо - живут. И в «Солярисе» - все точно. Может быть. (...).

28.10.93.

16

Три дня праздника просто как повод не соприкоснуться с действительностью. Лежать, блуждать по лабиринту своей памяти, чувствуя легкое головокружение от недостатка воздуха и сигарет.

Бедная память, измученная чудовищным количеством слов, вырывается из их плена и идет своими тропинками, всякий раз считывая на них новые знаки, редкий, тяжелый листопад, сырая тоска осенних улиц или нежные тени бессонниц после трудов любви...

Женщина не должна быть одна, наверное. Цветаева писала: «Я не девочка и не женщина, я могу без кукол и без мужчин. Я могу без всего...» Только писала, а мочь - не

могла. Формулы Ницше, три года назад казавшиеся просто красивыми словами, оказалось, рассказывают твою жизнь. Все, что я в ней так не любила, досталось мне сполна: город, бездарность работ, одиночество.

Не хватает всегда самых простых вещей: вечернего телефонного звонка, живого тепла рядом, вещества любви. Эта нехватка оборачивается острой кислородной недостаточностью - задыхаясь, плачешь весь вечер от унижения и боли. Сколько бы ты ни повторяла: «Я могу и так!», тебя выдает это - невозможность вдохнуть.

Даже нелюбовь к Чехову оборачивается некой комичной стороной - в конце концов я, словно его героини, сижу на вокзале и жду, жду, жду. Годы, люди, события - все проходит мимо, а ты видишь только какие-то серые пятна. Смерть наступает вчера. И для такого конца человеческая жизнь слишком длинна.

Ты перестала писать мне. Не спрашиваю, почему, видно, были причины. За твоим молчанием образовалась маленькая полынья пустоты. Я стараюсь не смотреть в ее сторону, но всегда помню о ее существовании.

Одиночества и боишься, и желаешь. И все-таки человеку нужно хотя бы время от времени разговаривать на своем языке. «Говорить - это прекрасное безумие: говоря, танцует человек на всех вещах...» (Ницше).

Всякий раз, начиная писать, чувствую, как происходит легкое отторжение: меня от текста; слова, как фагоциты, пожирают неуловимую суть, а остается только жесткая корочка текста. Три количества слов, вынынченные во время побегов, вырастают вокруг полынью камышом - и только. Побег совершаются все чаще, но они ненастоящие, да.

В поступательном движении дней существуют некие провалы: дни, в которые тонкая защитная пленка рвется, а в разрывы устремляется хаос. Это происходит внезапно, как молниеносно настигает тебя хроническая боль. Каждый раз с этим труднее справляться и тяжелее найти укрытие.

Я ничего не выбирала. Но чувство такое, что меня за какую-то провинность поставили в угол и забыли о сроке наказания. А потом и вообще забыли обо мне. Таким

образом, наказание стало бессрочным и бессмысленным. Но кто тут будет разбираться? Для таких ощущений человеческая жизнь слишком длинна. Кое-кто это чувствовал, скрываясь в потемках безумия или выбрасываясь в окно.

Прости мне этот письменный плеск.

Лена.

P.S. Тут попалась небольшая книжка «Ленинградский андеграунд. Начало». О художниках, поэтах 50-х. Очень любопытно. А то по логике наших искусствоведов, семидесятники и шестидесятники сами по себе появились. Без никого. А был - кто. У них у всех такие истерзанные судьбы, они почти неизвестны. Был среди них Роальд Мандельштам, поэт. Однофамилец. Он болел костным туберкулезом, мать бросила. Умер в 29-ть от истощения и болезни. Смотри, как здорово:

Конечно, в лужах есть окошко
Сквозь землю в южный небосвод;
Не зря к нему прилипла кошка -
Глотая звезды, небо пьет!
А рядом чуть живой от жажды,
И я - боясь сойти с ума -
Любой бы сделал точно так же!
Она подвинулась. Сама.
Внизу мякнул изумленно
Хвостатый, рыжий антипод:
Два зверя, полные соленым,
Лакали небо - я и кот!
Вот счастье! - Думать ночью поздней
О царствах мира, их тщете,
Когда безоблачная звездность
В небесно-полном животе!
Любая лужа - суть окошко,
Когда желающий забыть
Придет к нему бродячей кошкой,
Глотая звезды, небо пить.
1955 г.

Еще 10-ть лет до шестидесятничества.

И два года после смерти Сталина.

Сказки я тебе не купила. Прости. Неплатежеспособность налицо или на лице. З/п еще и за январь не выплатили. В фирме все работники бухгалтерии уволились. И март стоит какой-то зловещий. Вот так.

Лена.

18.03.94

17

Инна, сегодня такое тихое, блаженное, солнечное утро, и мне никуда не надо идти. В лицее - каникулы. Потому сижу дома, тихо печатаю нудные курсовые, жмурюсь на солнце, как толстый кот, перебираю книги. Наверное, так жили старосветские помещики.

Письмо твое прочла с грустью. Тоска твоя по дому (своему, разумеется) понятна очень. Хотя и с оговорками, п.ч. дом-то у меня есть. Свой. Чему я всегда радуюсь. Я стала замечать, что, уезжая куда-то надолго, тоже начинаю грустить именно по дому, по книгам, расположению вещей в нем. «Давайте договоримся раз и навсегда, что жилище есть краеугольный камень человеческой жизни...» (Булгаков).

А о замкнутых кругах и дверях зря ты. Кто тебе сказал, что неведомый цикл завершился? А если и завершился, то что с того? Да, впереди никого из нас ничего не ждет, скорее всего. И плевать. «Ценностное содержание жизни важнее, чем смысл ее», - как заметил Сократ. Прошлого не существует, а завтра может не наступить.

А у меня, может быть, будет сессия. В мае. Мне на нее очень хочется попасть.

Знаешь ли, ко мне тут иногда любопытный народ шастает. Один обаятельный художник (после питерской академии), папа лицейского ребятенка, с которым мы поигрываем в платонический роман, и мальчик с очень хорошими стихами, с кот. мы просто играем. Мальчик все как-то говорит, что подсознание мое должно что-то подсказать, а подсознание - ленивый бангутот, ничего не говорит, как назло. Мальчик хотел бы поснимать кино, но с его усердием - увы, увы. А стихи есть милые, например, это:

Маме было бы нежнее,
чтобы сын смотрел на звезды,
и раскрытые страницы
шелестят протяжно где-то,
мама видит все иначе,
гром сменяет дождь и небо,
мягко шелестит губами,
так давно с тобой я не был.
Рожь сменяет снегопадом,
Снегопад сменяет солнцем,
солнце пьет росу с растений
и в твоих ладонях - ветер.
Мы пришли, и мы расстались,
в этом мире все так просто -
ночь, холодный липкий ужас
и печальные созвездья,
на которых мы родились.

Но мальчик, в принципе, не так важен. А вот его мама!
Я в нее ти-хо влюблена. Она преподает музыку, и у нее есть
удивительное качество - все, кто с ней соприкасается,
становятся талантливыми, п.ч. всякий последний человек
для нее - Божий дар, и кошки, и собаки - все. У нее дома
живут 2 бывших бездомных кошки и 2 дворняги. И я, когда
ее вижу, сразу вспоминаю Пастернака:

Ты дома подымешь поупитр,
И только коснешься до клавиш,
Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь...

У такой мамы писать хорошие стихи - не велика заслуга.
Странно было б, если бы не писал.

Мне подарили альбом Босха. Большой. И бутылку
французских духов. Пахнут лимоном, ванилью, кориандром
и жасмином. Одновременно. И я их лью, куда ни попадаю.
Дом теперь пахнет кондитерской. Это я не хвастаюсь, ты
не думай. Просто это такие деликатные ненавязчивые
радости. А еще я сама купила словарь американского
сленга и сразу погрузилась в наркотический сон: Моррисон
заметался, LSD-25 замелькала. Это какая-то анти-Америка,
и мне она нравилась и нравится.

Слушай, а с причастием я тебя поздравлять не буду, п.ч. не понимаю, зачем нужно разговаривать с Богом через посредников. Церковь (любая), взятая не как архитектурное сооружение, вызывает у меня тошноту. Ты уж прости.

Я сейчас шлепаю работу про архитектуру модерна и все вспоминаю слова Блана: «Архитектура - это не сооружение, кот. украшают, а украшение, кот. строят». Жак Деррида заметил, что язык и архитектура похожи, п.ч. в основе оба имеют лабиринт. Организация места и пространства, кот. прежде не было.

(...). Нет, решительно в такое утро нельзя писать серьезных писем. Мысли веселятся и скачут, как блохи.

У нас кругом сугробищи - ого-го. Скоро будем играть в Венецию. Нарисуй мне какого-нибудь чертенка. Чтоб был не очень вредный.

Пока, пока.

Ах, да, я тут на 18-ть тысяч звонила в Воронеж. Ничего там интересного нет. По-моему. Хотя я могу ошибаться. Во, батареи выключили, чтоб не веселилась очень-то. Хи-хи.

Лена.



статьи, заметки, эссе
«...ТРЕВОЖНЫЙ СВЕТ ЛУНЫ...»

О ДНЕВНИКАХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль - и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Это стихотворение Шарля Бодлера переведено Мариной Ивановной Цветаевой. В жизни поэта нет случайностей. И перевод великого французского поэта великим русским в середине XX века поражает совпадением, созвучием их душ. Под «Плаванием» могла бы подписаться и Цветаева, так верно оно отражало и ее душу. И она, в другое время, в другой стране, ощутила и «безмерность мечты», и «предельность морей».

Под свист глупца и мещанина смех -
Одна из всех - за всех - противу всех!

Если бы судьбе требовался эпитафия, Цветаева не могла бы написать ничего точнее и лучше. Она-то как никто знала бодлеровскую «предельность морей», она всю свою жизнь с ней сражалась, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Если продлить и углубить параллели Бодлера и Цветаевой, можно сказать и так: Марина Ивановна всю жизнь сражалась за физическое воплощение других бодлеровских строк:

Но истые пловцы - те, что плывут без цели,
Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час еще кричат: вперед!

Обращение к личности Марины Ивановны Цветаевой и к незначительной части ее творчества: дневникам и письмам, конечно же, требует объяснения. В историю русской журналистики это имя явно не вписано золотыми буквами, скорее наоборот - физически ничего не могло быть друг от друга дальше, чем поэт Цветаева и газеты (особенно советские). К журналистике Марину Ивановну не притянешь, как ни построй, крепёжная конструкция не выдержит, и цветаяевская прорва, плотина прорвется:

Газет - читай: клевет,
Газет - читай: растрат.

Что ни столбец - навет,

Что ни абзац - отврат...

Да, не любила газет, не имела дела с той журналистикой (стихи и проза, печатавшиеся в газетах тех лет, - все же стихи и проза, а не заметки и корреспонденции). Не имела, в силу страшной субъективности своего взгляда, с журналистикой ничего общего, а сколь часто ее дневники читаются как блестящие образцы репортажей, очерков. И приходила она ко многим и многим в молчаливые ненавистные года со страниц именно журналов, а не книг. В 1956 году - публикация воспоминаний о Тарусе в «Литературной Грузии», в 1963 - стихи в «Новом мире», дневники в «Вопросах литературы» в 1978 и 85-м годах, «Повесть о Сонечке» в 1976-м и 1979-м все в том же «Новом мире». Дальше поток этот стал превращаться не в реку, а в некое Двуречье, Тигр и Евфрат цветаевских материалов и публикаций о ней. Это уже позже вышли замечательные книги Анастасии Цветаевой, Анны Саакянц, Марии Белкиной, отдельно - переписка Цветаевой, Пастернака и Рилье, то есть то достаточное количество книг, которое позволяет удержаться в водах Двуречья. Иногда рядом с дневниковой прозой Цветаевой становится просто жаль, что мы так кастрировали и изуродовали свою журналистику, что ничего несерое в нее просто не вмещается. Отражать свое время тоже можно по-разному. У Цветаевой: «Быть современным - творить свое время, а не отражать его. Да, отражать, но не как зеркало, а как щит. Быть современным - творить свое время, то есть с 9/10 в нем сражаться...»

И все-таки есть в таком объяснении некая неточность и недостаточность. Вторая (и самая правдивая) причина - это любовь. С Цветаевой нельзя по-другому. Или - или. Дома еще хранятся десятки знаков этой любви: распухшие папки с редкими публикациями, все книги о ней и ее тома, памятные и терпеливые сиденья в библиотеках, поездки в Москву и Тарусу и бессильные попытки собрать ее по следам. Потом, с возрастом, болезнь эта начала проходить. Не любовь гасла, нет. Просто стало понятно, что Марина - это самодостаточный, перекипающий котел, слишком в себе, через себя и о себе. За Мариной и Пастернаком идти

нельзя, нет за ними пути, никаких школ и учеников у них быть не может. Возможно б повторение, если б родился им равный. Невозможно - ведь голос-то у него был бы свой.

У Саакянц о Цветаевой: «Суббота - серебро, правое крыло («В правой рученьке - рай») - Забота - грусть - Душа - Психея - божественное начало поэта - Вертикаль...»

Мне бы хотелось выделить это, потому что, как в Тетраграмматоне, здесь «произнесена первая буква Имени». Сочетание Вертикали и «кровной, земной женщины - Грешной Евы - Горизонтالي», причем, сочетание, далекое от гармонии Мандельштама, - вот страдательная тайна поэта.

Жгучесть этой тайны еще и в том, что Цветаева, боровшаяся в себе и в судьбе за Вертикаль, за бодлеровскую «бескрайность мечты», знала не только опору Горизонтали, но крепче и глубже - она заглядывала и за нее, была Там. «Борис, Борис! Как я знаю тот. По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов.

Как я не знаю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только пойми: свет, освещение, вещи, инако освещенные, светом твоим, моим».

Есть и другое свидетельство, еще одно совпадение (идеи витают в воздухе!), доказывающее удивительный поэтический и пророческий дар Цветаевой, эдакой Вельвы русской поэзии. Судите сами:

«...Тогда понятно, что «растения слышат и думают» (сказки древности), да и вообще понятнее, что они - с душою! О, с какою еще... Но вот, что еще «сад», вообще сад, всякий сад, «наш и земной», есть немного и не «наш», и не «земной», а тоже будущего, «загробного века». Это пишет Розанов в «Апокалипсисе нашего времени». А вот Цветаева:

За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет...
...Тот сад?
А может быть - тот свет?

Но у нас еще будет время подумать об этом. Вернемся пока к земной Горизонтали.

Конец XIX века был особенно урожаен для грядущей тогда новой волны русской поэзии. Под его звездами родились Мандельштам и Ахматова, Гумилев и Волошин, Блок и Белый, Цветаева и Маяковский. «В русской поэзии не было времен более благоприятных, нежели «серебряный век». Конец петербургского периода в искусстве действительно отмечен массовым производством гениев - и в искусстве, и в науке. Но личность чувствовала себя неуютно. «Везде неблагополучно, катастрофа близка... ужас при дверях», история тех лет, которые русские художники провели между двумя революциями, есть, в сущности, история одиноких состояний...»

Одиночество - это ключ к тайнам Цветаевой, к тайнам художника.

В страшное время им выпало жить. В страшной стране, поедающей, как Уголино, своих детей и никак не получающей затылок епископа Руджери. «О поэте не подумал век», - напишет Цветаева о своем времени. И еще: «Сидели и читали стихи. Последние сидели на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено фронт, не было произнесено - в таком близком физическом соседстве - имя Распутина.

Завтра Сережа и Леня кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исааковна Чацкая бродила по Москве: как тень, ища приюта и коченя - она, которой всех каминов было мало, у московских привиденческих печек.

Завтра Ахматова теряла всех, Гумилев - жизнь».

Это беспощадное время у Цветаевой будет биться в стихах:

Бывают времена, когда голов - не надо!
Но слово низводить до свеклы кормовой -
Честнее с головой Орфеевой - менады!
Иродиада с Иоанна головой!

И в письмах: «Дело не в «собирании» написать, а в лютоści жизни. Встаю в 7 ч., ложусь в 2 ч., а то и в 3 ч. - что в промежутке? - быт, стирка, готовка, прогулка с мальчиком (обожаю мальчика, обожаю гулять, но писать, гуляя, не могу), посуда, посуда, посуда, штопка, штопка, штопка, а еще кройка нового, а я так бездарна!» И,

конечно, во многих и многих тетрадях-дневниках.

Дневники - это совсем особый мир в донельзя особом цветаевском мире. Дневники ее начинались с детства (не с запоем ли читанных дневников Марии Башкирцевой?) и не прерывались уже до конца жизни, точнее, до ее отъезда в Елабугу. И если стихи - это дух (так любимая Цветаевой голая душа), то дневники - это та траектория, благодаря которой можно проследить поэтову судьбу. Судьба эта трагична в своем конце, хотя со всем остальным можно спорить и спорить (субъективность Цветаевой в ее записях), похоже, выстроит своеобразный миф ее судьбы. Впрочем, Марина Ивановна умела быть и объективной. Вот, например, в «Чердачном»: «Гастрономические магазины сейчас похожи на витрины парикмахерских: все эти сыры-желе, пасхи ничуть не живее восковых кукол.

Та же легкая жуть».

Или, что тоже вполне соответствует нашему времени: «Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-м году, но еще меньше хочу сделаться свиньей».

Интерес цветаевских дневников для нас прежде всего в их беспощадной точности. И все же это именно цветаевские дневники - прекрасного, высокого и неповторимого русского поэта.

Стихи Марины Ивановны, если так можно сказать, забирают твою душу безоговорочно. Если «поэта - далеко заводит речь», то и поэт ой как далеко заводит.

С дневниками все намного сложнее. Потому что знаем их плохо и мало, знаем осколки, обрывки - все, что осталось после того, как ее дочь Ариадна Эфрон по несудимой дочерней воле закрыла в ЦГАЛИ архив Марины Ивановны. Все эти клочочки требуют внимания и терпения - ведь они являют пример частной судьбы. Но частное и общественное диалектически связаны, одно не живет без другого. Судьба одного человека в контексте страны, судьба художника в контексте времени - разве не представляет все это интерес для исследования?

Дневники Марины Ивановны поражают прежде всего не наблюдательностью, свойственной каждому художнику, а беспощадным определением сути вещей. Не «пассивная

фронда», не «решение важных проблем по-бытовому, с чисто женской эмоциональностью», по утверждению автора книги «Куст рябины» А. Павловского, а точность и точность, - кажется, так и чувствуешь взгляд ее зеленоватых, близоруких глаз из-под ресниц. Операция оценки - неприятная, но мгновенная. А странное ее донкихотство, ее невозможные сражения с действительностью (кто - кого) объясняет она сама: «Страсть всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворенному одним. К одному против всех - и без всех. К преступившему. Нет страсти к преступившему - не поэт (что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контрреволюцией - естественно, раз сами мятежники оборачиваются властью)». И какой кошмарной прозорливостью дышит ее строка из письма Борису Пастернаку: «Как только я ступила на сходни парохода, увозившего меня на родину, я почувствовала, что погибла». Как ответ всем, обвинявшим ее в политическом невежестве. Она, еще в Кламаре подведшая итог своему творчеству («там - ни строки не напечатают», «могла бы писать, но свободно могу и не, ведь писать в тетрадку - роскошь»), знала лучше многих, даже евразийца, страстного поклонника СССР, своего мужа Сергея Яковлевича Эфрона, куда она едет. «Воздух, которым я дышу, - воздух трагедии», - записала она в те дни.

Самые первые прозаические произведения поэта выросли из ее дневниковых записей, которые она вела в Москве, в годы революции и гражданской войны. Отметим этот важный момент. Цветаева собиралась издать эти записи, объединив их в книгу под названием «Земные приметы». Книга так и не появилась, но начало было именно таким - из дневников. Затем возникли другие темы, манера письма изменилась, и все же основа цветаевской прозы осталась той же: сочетание документальности и открытого лиризма, сплав жизненных фактов и размышлений, возникающих как бы наедине с собой, а не перед широким читательским форумом.

Когда, откликаясь на появление первой книги стихов совсем еще юной Цветаевой (1910 год), чуткий и

проницательнейший Максимилиан Волошин отметил дневниковую распахнутость стихотворений поэтессы, он назвал «чару», которой завораживала и до сих пор завораживает читателей Марина Цветаева.

Но мне интересно было все же покопаться именно в дневниках Цветаевой, чтобы из судьбы частной (насколько частной может быть для страны судьба поэта), по крупинкам суждений выстроилась и судьба России, этой гибельной для талантов страны.

Обращение к дневникам Марины Цветаевой, полным кратких и точных зарисовок, почти афористичных определений, открывает не только своеобразный, неповторимый внутренний мир поэта, хотя из этих записей, как из кусочков мозаики, постепенно складывается вся она. Да, но еще - поток времени, который у столь многих струился между пальцами и который столь немногие смогли для нас удержать.

«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА ЗА ПРИВКУС НЕСЧАСТЬЯ И ДЫМА...»

Я не помню уже, как и с чего началась для меня божественная музыка его речи: с пропахших ли псиной петербургских каналов и выстуженных сквозняками парадных или с воронежских холмов, сгрудившихся справа и слева по обе стороны погубленной уже реки, я не помню, в какой глухой и богооставленный день мне открылись его горловые, серебряные перекаты, называемые в миру стихами.

«У Манделъштама нет учителя. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта божественная гармония, которую называют стихами Осипа Манделъштама?» - писала о нем Анна Ахматова.

Петербургский мальчик с нелепой еврейской фамилией и самонадеянно запрокинутой головой, заставлявший, как флейту, звучать каждую вещь. У него охра хрипнет, ткань задыхается, речь, как кошка, мучит и царапает ухо и даже воздух - и стриженный, и денежный, и обиженный.

В поэзию Мандельштама попадаешь, как на венецианский карнавал: здесь все пробуют примерять чужие маски, знакомцы становятся неузнаваемыми, метафоры сыплются, как конфетти, а среди приглашенных Данте, Ариост, Ламарк, Голиаф - вся мировая культура. Может быть, оттого в ранних его стихах - вкус праздника и открытости миру? И потому даже его хрестоматийные строки «Сестры - тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы» или

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»

сколь бы часто повторяемы они ни были, никак не становятся привычными, оставаясь - чудом.

Несколько лет назад я купила книжку «Три века русской поэзии» - обычный, по-школьному слепленный сборник. Составители там как-то опростоволосились с датами. В двадцатом веке вроде бы родившиеся в разные годы поэты умерли вдруг в один год, как от чумы. Этот год был 37-й. Мандельштам погиб на год позже. Перед датой его смерти в другом уже сборнике, вышедшем в серии «Большая библиотека поэта», стояла чудовищная по лицемерию строчка: «Поэт уехал в Воронеж, где долго болел и умер»...

В Воронеже, на центральной, затененной каштанами улице еще сохранился один из домов, где жил ссыльный поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Сохранился и подъезд, исписанный поклонниками до потолка его стихами. Всякий год в подъезде делают ремонт, но на обновленной штукатурке первым почему-то появляется:

«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»

и постепенно все стихи - до потолка - записываются вновь.

Мандельштамовским Воронежем, «полуберегом, полугородом» уже нельзя пройти - его просто не стало после войны. Но воспетый Ахматовой воронежский памятник Петру, дивные тополя, холмы и глухие, почти питерские старинные дворы еще сохранены, как и мандельштамовские «Воронежские тетради», в которых уже нет карнавальная праздничности, а есть только растущее чувство смятения и боли оттого, что «на плечи кидается век-волкодав», что «в роскошной бедности, в могучей нищете» поэту просто

некуда деться. Не потому ли в 37-м году он напишет:

...И невольню на убыль, на убыль

Равноденствие флейты клоню.

Той самой флейты, так чудесно и полно озвучивавшей его мир.

Если верить Достоевскому, город - всегда соучастник нашей жизни, он воспитывает нас для себя, ревнует нас, хранит или гонит взащей. Наверное, Воронеж, хранивший дар Осипа Эмильевича в последние годы его жизни, за это свое соучастие в судьбе поэта имеет право хотя бы на улицу его имени.

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова -

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо...

И потому эта улица

Или, верней, эта яма

Так и зовется именем

Этого Мандельштама...

Ему почему-то уже тогда казалось, что такая улица в городе должна быть.

Он погиб в 38-м, в лагере, и домыслов о его гибели уже сейчас можно прочесть - тома. Сам он за год до ареста писал:

Наливаются кровью аорты

И звучит по рядам шепотком:

- Я рожден в девяносто четвертом,

- Я рожден в девяносто втором...

И в кулак зажимая истертый

Год рожденья - с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

- Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году - и столетья

Окружают меня огнем.

Не знаю, надежнее ли год нынешний, чем тот, мандельштамовский год рождения, от которого счетчик отсчитал уже целое столетие. Для поэта всякое время

ненадежно, тем более в стране, где насильственность смерти стала почти ритуальной.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть...

Силу этой власти - он знал. Как знала ее и Ахматова, сказавшая Осипу Эмильевичу в один из приездов в Воронеж: «Они боятся нас, потому что поэзия - это власть». Не та, «отвратительная, как руки брадобрея», а высокомерно-нищая власть над миром, дающая ему голос и цвет, и полноту.

Страницу и огонь, зерно и жернова,
Секиры острое и усеченный волос,
Бог сохраняет все, особенно слова
Прощенья и любви, как собственный свой голос.

Эти строки через много лет после смерти Осипа Эмильевича напишет другой петербургский мальчик, престолонаследник этой самой власти - Иосиф Бродский. Чудо мандельштамовской речи сохранено чудом же (стихов своих он никогда не записывал, но добрые люди - нашлись, записали). И теперь эта гармония мира, обретшего на мгновенье человеческий голос и зренье, уже навсегда оставлена нам.

МИР ВАТТО И СОМОВА

В жизни художников как-то принято исподволь усматривать трагедию. Ничего удивительного: горечь судеб Рембрандта или Сера, Тулуз-Лотрека или Модильяни стала как бы неотделима от их посмертной славы, краткие даты разорений, утрат и самосожжений давно стали опознавательными знаками их личных трагедий. Посмертная слава стоит дорого, куда дороже их картин на аукционах, и это даже не цена собственной жизни, потому что есть ведь еще близкие, разделяющие эту судьбу (вспомним хотя бы Жанну Эбютерн). И никто не знает, когда эта слава придет, - через несколько дней после смерти, как к Модильяни, или через два века, как к Вермеру Делфтскому.

Судьба Жана Антуана Ватто стоит словно в стороне от трагедийного пафоса, только изредка в своем подводном течении обнаруживая одиночество и постоянную денежную зависимость, странные черты характера и раннюю смерть. Но одиночество было не уделом, а выбором, денежная зависимость позволяла не испытывать нужды, а странности художника как бы питались странностями самого времени, переламывающегося из века XVII в XVIII, прозванный поверхностными ценителями «легкомысленным и галантным». А разве, возразят мне, на картинах Ватто или Ланкре он не предстает таким? Но ведь живопись - это отнюдь не самоидентификация мира. Андре Моруа вспомнил в одном из своих эссе: «... мне довелось слышать, как Бруно Вальтер, дирижировавший в Италии «Похищением из Серaley» Моцарта, сказал оркестрантам: «Нужно, чтобы это звучало весело, так весело, чтобы всем захотелось плакать». Иногда кажется, что Ватто, никогда не слышавший этих слов, словно следовал их совету. Да и начало века на родине художника - Франции - больше располагало к слезам, чем к радости.

«Тем временем все постепенно гibly, по крайней мере с виду: Королевство, совершенно теряющее силы, войска, которым ничего не платили, солдаты, угнетенные дурным командованием, которое не умело добиться военных успехов; полный упадок финансов; генералы и министры, лишенные каких бы то ни было талантов; назначения лишь по прихоти и в результате интриг; никто не наказывался, ничего не обдумывалось и не обсуждалось; неспособность как вести войну, так и добиться мира... Монсеньер, отправляясь в Оперу и возвращаясь оттуда, не раз подвергался нападению горожан и огромного числа женщин, кричавших: «Хлеба!» - так писал герцог де Сен Симон о Франции того времени. Франции времен Ватто. И тут вспоминается совсем другой голос, иного века и иной страны. «Везде неблагополучно, катастрофа близка, ужас при дверях». Это слова Александра Блока о России, где через два века, словно повинуюсь неведомому закону периодики, возникнет в художественной жизни донельзя странное и почти необъяснимое явление - «Мир искусства»,

с утонченными, манерными, совершенно точными по стилистике картинами Сомова, Бакста, Бенуа.

Ощущения времени в них почти нет, как и динамики действия. Но - ощущение печали, которая еще только предстоит, как в перевернутом мире Бредли, слабое предчувствие прошлого в этих случайных, прелестных лицах, улыбках, поцелуях. Чистая поэзия.

И все же объявлять с разбегу о безусловном сходстве Антуана Ватто и Константина Сомова было бы нелепо, хотя бы потому, что обыденность окружающих предметов одного: драгоценные кружева, пышные прически дам, итальянская комедия, случайные сценки в парках и некоторая фривольность нравов, увлечение «шинуазери», - для другого было искусной игрой. Но почему в начале XX века он выбрал именно эту игру?

«В те дни художники имели не только право, но и обязанность утверждать знамя «чистого искусства», - писал Блок. Сомов понял «чистое искусство» именно как эстетическую самозабвенную игру - ни больше и ни меньше. Рядом с именами Гончаровой и Ларионова, Малевича и Шагала - это не много, но в смысле эстетической приемственности - и не мало.

«Есть только та действительность, которую мы создаем внутри себя», - заметил Ортега-и-Гассет. Разглядывая маленьких сомовских прелестных Коломбин, спящих женщин, его изысканную «Итальянскую комедию», вдруг ощутишь чувствуешь укол утраты, которая еще только предстоит, понимаешь, почему он затеял свою изысканную игру. Да и как знать, валансьенские кружева и «костюмы Ватто», Жили и Арлекины - не было ли все это своего рода «мыслительной реальностью» для художника в пору поисков Прекрасной Дамы, мечтаний о Розе Мира и хрустального эстетства?

Михаил Эпштейн верно заметил: «XX век искал себе провидческих сходств в эпохе барокко с ее фантастическим изыском, драматическим напряжением и бьющей через край энергией...»

О жизни Жана Антуана Ватто сегодня известно не так уж много, хотя, конечно, все внешние вехи его судьбы

прослежены в потоке времени дотошными биографами и искусствоведами. Он родился в 1684 году в небольшом фламандском городе Валансьен, примечательном только своими чудными кружевами. Ну и что? Надо же человеку где-то родиться. Что это в конечном счете добавляет к нашему знанию о нем? Ровно ничего. Он был рожден художником и стал бы им независимо от даты и места рождения. В шестнадцать с небольшим он уехал из Валансьена в Париж, один, без протекции и денег - учиться живописи. Еще один провинциал поехал искать счастья в столице, и она, как водится, ошеломила его. Каким он увидел Париж? «И если что и осталось от прежнего Парижа в Париже нынешнем, то не столько осколки картинок галантного века, сколько решительная непохожесть этого города на все, что вне его, - неповторимость его очарования и его гримас, лика и личин, красот и безобразия... А сам город - он грязен, душен, суетлив...», - так пишет о Париже времен Ватто Михаил Герман в своей книге о художнике.

Но Париж в творчестве Ватто всегда останется как бы вынесенным за скобки, художник не писал Парижа, хотя, очевидно, иных, кроме парижских, впечатлений не знал. Париж - незримый участник его водевилей и фарсов, насыщенный раствор, кристаллизующий впечатления художника. И если у Ватто за скобки вынесена среда обитания, то у Сомова - уже и само время. Мир этого художника являет как бы шпенглеровскую псевдоморфозу: расплавленные вулканические формы массы должны заполнить наличную форму: «так возникают кристаллы, внутренняя структура которых противоречит их строению, один вид минерала с внешними чертами другого».

Если существуют какие-либо коды к пониманию творчества Ватто, то одним из них наверняка является театр. «Номо Ludens» Хейзинги будет написан много позже, а об «игровом космосе» Платона сам Ватто вряд ли помышлял, но именно его картины заставляют вспомнить «играющего человека», потому что все в них - чуть-чуть игра, маленькая театральная постановка, в которой участвуют, словно скрывая улыбку. Всмотритесь, разве «Обольститель» или «Затруднительное положение» не так

же сыграны, как и «Любовь на французской сцене»?

А сам Париж с его одряхлевшим монархом Людовиком XIV, женатым на ханже Монтенон и впавшим в унылое благочестие, Париж с его остроумцами из Итальянской комедии, с пышным Французским театром, ярмарками и сплетнями - разве это не кусочек сцены, где роли Бригеллы, Арлекина или Коломбины исполняли знакомые и достоверные лица?

Ватто любил театры и балаганы, он писал их участников с особой нежностью, «Жиль» Ватто сегодня считается шедевром.

«Жиль» почти лишен жестов и мимики, неуклюж и беспомощен рядом с другими театральными картинами Ватто, где актеры изображались в движении, нередко утрированном и забавно-деланном. Актер, который ничего не играет, актер под двойным прицелом глаз - публики и зрителей картины. Лица актеров на заднем плане веселы и оживленны, а у этого - грустные темные глаза, во взгляде которых в XX веке хочется прочесть человеческую драму, а не только блики театральной роли неудачника. Но различить, где лицо, а где маска, - почти невозможно, да и театральный задник не дает забыть о сцене. Потерянная поза, бесформенный балахон. Нам трудно судить, ведь мы знаем не только «Жиля», но и комедиантов Домье, клоунов Тулуз-Лотрека, акробатов Пабло Пикассо и утонченных паяцев Константина Сомова, и, без сомнения, будем проецировать их образы на героя Ватто, как и смятение, и боль своего времени. Мы уже вряд ли сможем сказать, что таит в себе «Жиль» - иронию или печаль, фарс или драму? Но и сейчас почувствуем в нем обезоруживающую незащитность и доверительность, двойственность актера и человека и в то же время - их необъяснимое единство. Если картину можно считать прямой речью художника, то Ватто в данном своем монологе сказал даже немного больше, чем, наверное, хотел, и, словно опомнившись, что проговорился, дорисовал веселый задник, как бы желая сказать: «Послушай, это всего лишь вымысел, холст, игра». Не понимая, что таким образом проговаривается дважды.

«Жиль» Ватто - это и чудесная живопись, даже в

нелучших репродукциях можно уловить пепельно-золотистые, лиловые и серо-розовые тона, составляющие одежду актера, словно вобравшую в себя отблески театральных огней.

Ватто ничего не знал о поисках современной нам культурфилософии и ее отношении к игре. Он просто писал игру, ловил ее в незначительных сценах, выражении лиц, линиях жестов.

Утверждения некоторых искусствоведов (например, М.В.Алпатова) о том, что мастер эпохи раннего рокайля был в значительной мере романтиком, все же немного спорны - слишком много скрытой иронии вносит Ватто в свой живописный мир, слишком тонко чувствует его бутафорность и театральность, чтя, впрочем, договор с действительностью и старательно фиксируя ее странные aberrации. Ватто много читал, а литературе того времени были свойственны и скепсис, и юмор, и умение видеть забавные и печальные гримасы повседневности, так же как и жеманность, а порой и непристойности, как у Фюретьера. Галантный век был не из стеснительных, чего стоят хотя бы свидетельства герцогини Орлеанской о визите дам к шотландскому коммерсанту Лоу: «Одна герцогиня при всех поцеловала ему руку. Если так поступают герцогини, то что же станут целовать другие дамы? Я думаю, что если бы он пожелал, француженки стали бы целовать ему зад. Разве не стали они настолько бесстыдны, что смотрят, как он мочится? Чувствуя в том необходимость, он однажды отказался принять дам, объявив открыто, чем объясняется его отказ. Они ответили: «Пустяки, занимайтесь этим и слушайте нас».

В 1715 году после смерти Людовика XIV власть перешла в руки регента - герцога Орлеанского. Ханжество сменилось элегантными забавами, переходящими к пышно декорированному свальному греху, тягостные установления минувших лет царствования несколько смягчились, запреты рухнули, даже изгнанная из Франции итальянская комедия была вновь приглашена регентом. Как ни странно, очень точное ощущение эпохи рококо можно найти у Пушкина: «Между тем общества представляли картину самую

занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение».

Что изменилось в ту пору в картинах Ватто? Чувствовал ли он парадоксальность открывавшегося ему мира?

Он жил тогда у Кроза, государственного казначея, одного из самых богатых и изысканных людей Парижа, знавшего толк в искусстве и удовольствиях. Кроз считал Ватто самым талантливым художником его времени. Созданные Ватто миражи у Кроза обернулись явью: спектакли, танцы, концерты на фоне парка, украшенного каскадами и статуями. С тех пор сюжеты Ватто ничуть не изменились, легендарные непристойности Пале-Рояля и фривольные сцены у Кроза не вносили в его живопись ни капли эротики, парадоксальность века не меняла характеров, добавляя лишь смелый артистизм и стущая «силовое поле» картин. Его работы можно назвать музыкальными в том смысле, что он много раз оранжирует одну и ту же мелодию, делая ее то ироничной, то просветленной, то забавной. И снова пишет актеров. Портрет четырех актеров с арапчонком, продуманный до мельчайших деталей. Контрастный, колористический взрыв слева: красный с темным мехом кунтуш, белый тюрбан, оттеняющий теплый румянец лица, а в правой части картины цветовые сочетания уже не контрастны, цвета нежно переливаются друг в друга. У Кроза же Ватто напишет и однофигурного «Равнодушного» - тоже театральный образ в безупречном костюме, отливающим теплым серебром, в подбитом белым шелком плаще пепельно-терракотового цвета и бледной розой на шляпе. Плотные маленькие мазки создают удивительное ощущение воздушной среды. А ведь до импрессионизма еще более ста лет. Пишет художник и другое полотно - «Паломничество на Киферу», увенчанное

академическим званием. Хотя это вряд ли лучшее произведение Ватто, ведь оно написано с оглядкой на вкусы Академии, а подневольные, заказные картины ему плохо удавались.

Итак, Ватто стал академиком. Он ушел от Кроза. Уже тогда у него было громкое имя - жизнь не обидела его признанием. Современники вспоминают его как человека «мрачного, желчного и язвительного». Он жил одиноко и был неизлечимо болен. Ему немного оставалось жить. Он не любил разговоров о будущем. «На худой конец есть Госпиталь». Там никому не отказывают».

Все это известно, и все же в жизни Ватто больше вопросов, чем ответов. Почему он ушел от Кроза, почему жил совсем один, не создал семьи, откуда, наконец, нескрываемая мизантропия Ватто? Ответов нет, существуют только предположения. Одно в жизни Ватто по-прежнему несомненно. Театр.

Итальянский и французский театры соперничают, завоевывая новых зрителей. Ватто ходит на представления обоих и пишет парные картины «Любовь на французской сцене» и «Любовь на итальянской сцене». Представления происходят в парке, французское - днем, итальянское - ночью, что точно определяет разные театральные манеры: отточенную определенность французской игры и сценического текста, с одной стороны, и романтическую живописность и импровизационность - с другой.

Как и прежде - и более, чем прежде, для Ватто, кажется, не осталось композиционных трудностей. Словно и не выбирая, не ища расположения фигур, Ватто с непосредственностью зрелого артистизма расставляет персонажей на лужайке так, что все девять актеров одновременно открыты зрителю так, что ни одно движение, ни один ракурс не повторяется, и одновременно так, что все фигуры образуют, как бы случайно, подобие неподвижного хора.

При этом движение состоит из нескольких более частных связей. Зрительный дуэт между начинающей танец дамой и юношей в красном в правом углу картины, центральной группы во главе с героем, двух соединенных движениями

или взглядами пар. Ватто не боится пустоты - лужайка на первом плане свободна от фигур, зрительский взгляд вольно и легко входит в картину, где ему просторно и где тонкий расчет художника осторожно и безошибочно указывает ему дорогу.

Рядом с филигранной отточенностью движений французских актеров картина «Любовь на итальянской сцене» кажется головокружительной гофманианой. Густой мрак, разорванный светом единственного факела и едва заметным мерцанием маленького фонаря, фигуры в глубине, которые скорее угадываются, чем могут быть увидены, странные маски, синкопированный ритм жестов - это, конечно (во всяком случае на первый взгляд), - иной мир, иное искусство. Или просто другая пьеса? Ведь прямого противопоставления, признания превосходства одной театральной школы над другой здесь не чувствуется.

«Любовь на итальянской сцене» - игра традиционных масок, занимательный ночной маскарад Арлекина и Пьеро, Коломбины и Жилия.

И кажется, что от этой картины и «Итальянских комедиантов» Ватто незаметно перейти к «Итальянской комедии» Константина Сомова с его прелестными Коломбинами и лукавым Пьеро - пара пустяков, так знакомы уже эти сюжеты и персонажи. Но на этот раз обманут не маски, обманет сам автор. Присмотревшись внимательно, увидишь, какую значительную трансформацию претерпели у русского художника французские прототипы, утратив какую-то долю своего обаяния, что, впрочем, вполне объяснимо, если вспомнить о шпенглеровской псевдоморфозе: «Все, вышедшее из глубин изначальной душевности, изливается в пустые формы чужой жизни...». И тут к месту задаться вопросом: «Почему?»

Зыбкий, мятущийся, взвинченный, тяготеющий к символическому мышлению, полифонизму, мир «эпохи рубежа» - это один из ответов. Отношение к нему художников - другой.

Автор книги «Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX веков» М.Г.Неклюдова

так определяет специфику того времени: «В мире, где обедняется духовное существо человека, у него как защитная реакция нарастает жажда обновления, в том числе и путем освобождения от всего помимо воли усвоенного, навязанного, традиционного, потребность вернуться к первоисточкам своего овладения миром. Это побуждает художников прибегать к иронии как скрытой форме самоутверждения, к различным формам эстетической игры, когда сдвигаются временные и пространственные планы, а вымысел и реальность меняются местами. Так, Сомов «забавляется» своими бесконечными «маскарадами» и галантными сценами, Бакст - оперно-балетными интерпретациями...»

В искусстве предполагают самостоятельную, независимую жизнь от жизни всего общества, предлагая вращение в замкнутом круге - от одних формул к другим, от традиции одного умершего искусства к традициям другого.

В предисловии к собранию сочинений В.Набокова Виктор Ерофеев, размышляя о метаромане писателя, заметил: «Таким образом, набоковское «я» оказалось в полном одиночестве, предельной изоляции, удержав в сознании символическую идею неподлинности «здесьнего» мира, условности его декораций, оно волей-неволей должно было театрализовать этот мир декораций (в театрализации содержится момент преодоления и освобождения от неподлинного мира)». Как тут не вспомнить театральные циклы Сомова и Бенуа?

Мирискусникам в то время было свойственно прибегать в своих работах к различным видам изобразительных иносказаний, им присуща тенденция одухотворять вещи (статуи в «Версальской серии» Бенуа), заставлять их жить особой, порой зловещей жизнью или, наоборот, живые существа уподоблять неодушевленным предметам: превращать фигуры исторических персонажей в марионетки, женщин сравнивать с куклами («Спящая молодая женщина» Сомова), создавать в своих картинах странный двойной мир, в котором различные планы реальности все время смещаются, одним из характерных

приемов в творчестве мирискусников становится гротеск. Таким образом, мысль «о просветлении жизни красотой» и апелляции к прошлому теряют свои патетические ноты, даже само прошлое под пристальным вниманием тех же Сомова и Бенуа воспринималось как бы во внешних театрализованных проявлениях, потому не удивительно подробное выписывание антуража «театрализованного мира декораций». Зрелище подобного спектакля, разыгрываемого людьми-марионетками при вспышках фейерверков, под арками радуг или на посыпанных песком дорожках, привлекало его режиссеров прежде всего своей декоративностью, стремлением ощутить эстетический аромат ушедших эпох, их привлекало искусство барокко и в еще большей степени - рококо. Кажется, сам стиль рококо с его измельченными формами, легкой печатью пресыщения и усталости был созвучен эмоционально перенапряженным душам «детей рубежа».

Галантные сюжеты, легкая и грациозная игра художественных форм, изгибы линий, прихотливый ритмический узор - все это, существовавшее так ярко в картинах Ватто, словно повторилось в начале XX века. Однако у мирискусников, этих утонченных стилистов, доминанту картин составляли не светотеневые моделировки, а линии и цвет. Четкий контур служил для выявления общего силуэта фигур, а цвет часто понимался как раскраска того, что уже было передано в рисунке (как, например, в эскизе титульного листа книги «Театр» у Сомова).

«Для психологии творчества мирискусников, - пишет М.Г.Неклюдова, - очень симптоматична их любовь к миниатюре (особенно у Сомова), что сочетается порой с использованием круглых обрамлений. Это не только еще один вид эстетической ретроспекции, но и следствие своеобразного - отстраненного и одновременно интимного созерцания людей, предметов, явлений, словно находящихся на театральных подмостках и наблюдаемых из ложи в бинокль: изображение оказывается стереоскопически четким, доступным для всех, но переживаемым глубоко интимно, с некоторой долей гурманского наслаждения эстетизированным зрелищем жизни». Но разве эти слова

нельзя полностью отнести и к Ватто?

Говоря о мирискусниках, нельзя не коснуться понятия стилизации, явления, неотделимого от мирискуснического ретроспективизма и вообще характерного для художественного мышления начала XX века.

Андрей Белый отождествляет стилизацию с созданием своего рода эстетической модели стиля той или иной эпохи, удовлетворяясь, однако, достижением непохожести, не затрагивающей внутренней сущности моделируемых явлений. Это очень близко к тому, что находило свое воплощение в творческой практике «Мира искусства». Достижение некоего эстетического подобия (но не копии!) на основе усвоения внешних (но очень ярких) стилевых признаков, причем, как правило, особенно заостренных, в результате чего образный строй нового произведения получает экспрессивный и в то же время отчетливо рассудочный характер.

В творчестве мирискусников стилизация занимает значительное место и была как бы «узаконена» самой эстетической концепцией объединения. В истории русской культуры мирискусники отмечены как очень тонкие «стилисты», это понятно: они были интеллигентны, обладали общей большой культурой. Их чувство стиля было безупречным, но особенно ярко мастерство стилизации проявилось в их театральных работах. Пожалуй, такое оранжерейное растение, как продуманная стилизация, могло окончательно расцвести именно в театре («Театрализовать этот мир декораций»).

Нужно еще отметить деталь, свойственную Сомову и Бенуа, - они «выключают» себя из настоящего в момент его эстетического восприятия, они словно бы кадрируют мгновения и сопоставляют с им подобными - отсюда «многосерийность» многих произведений, где увиденное художником воспринимается как сочетание отдельных явлений, без их внутренней диалектической связи.

Возвращаясь еще раз к миниатюрам Сомова, приведу довольно интересную мысль Сьюзен Зонтаг в эссе о Вальтере Беньямине: «Уменьшить - значит сделать бесполезным. До гротеска сведенное к малости освобождено

от прежнего смысла: главное в нем - крошечная величина, и только. Это и область целостности (иными словами - полноты), и воплощение фрагментарности (то бишь несоизмеримости). А потому миниатюрное - предмет незаинтересованного созерцания, грезы...». Предметом грезы в какой-то степени была вся живопись Константина Сомова и Антуана Ватто. «Мир впускает в себя, только обернувшись книгой», - пишет Зонтаг. «Если хочешь приобрести книгу, лучше всего переписать ее», - замечает сам Беньямин. Чтобы обладать миром грезы, который впускал в себя их только через картины, Ватто и Бенуа переписали его на свой лад. В этом, наверное, и заключено их главное и потаенное сходство, несмотря на множество иных.

ПЕРЕСКАЗ СНА

(Сергей Параджанов. «Ашик-Кериб»)

"...Мне бы особенно хотелось, чтобы наслаждение зрителю доставляли чувственные визуальные образы, сотворенные из света, являющегося единственной истинно кинематографической субстанцией, не пренебрегая и тем, что могли бы поведать либо сотворить другие - в мире, который ежеминутно поражает воображение и который столь странен..."

Питер Гринуэй.

Мозаичные воспоминания друзей и знакомых Сергея Параджанова о его жизни сейчас почти заключены в раму легенды. Даже несомненные достоверности, вытаскивающие из рукотворного мифа его судьбы, мало чем отличаются от легенды, где каждое событие и всякий поступок как бы укладываются в один из его коллажей.

Параджанов, может быть, как никто иной вписывается в теорию Хейзинги о человеке играющем: миф у него рождается из игры, а игра, словно рыба, проскальзывает в радужном потоке мифа. И все воспоминания о нем, щадяще рассказывающие о нелепых прихотях и капризах, безответственных порой поступках и заявлениях, словно

выстраиваются в жесткую конструкцию формулы Цветаевой: «Безответственность во всем, кроме игры».

«Ашик-Кериб» был последним фильмом Сергея Параджанова. В 1990 году, в Москве, он получил чуть не все присуждавшиеся по итогам кинематографического сезона «Ники»: за режиссуру, операторскую и оформительскую работы. А годом раньше фильму дали, по словам самого автора, «кривоногого еврейчика по имени «Оскар», плохо сделанного скульптором» (речь идет о «Феликсе»). Европейский «Оскар» получили именно художники фильма, что совсем не кажется странным.

Параджанов был не просто рисующим режиссером. Я еще помню слабый отзвук потрясения от увиденных однажды фотографий его квартиры и коллажей, где концептуальное построение разнородных и разнотильных вещей, рухляди, обломков, кусочков тканей и фотографий рождало новые смыслы в замкнутом пространстве комнат или рам. Умберто Эко писал о коллажах Макса Эрнста, в которых были вмонтированы куски гравюр XIX века: «...Это уже постмодернизм; их можно читать, кроме всего прочего, и просто как волшебную сказку, как пересказ сна, не подозревая, что это и рассказ о гравюрах, о гравировании и даже, по-видимому, о самом этом коллаже».

В какой-то мере эта цитата могла бы относиться и к Параджанову. Но Параджанов - постмодернист? Нет ли в этом утверждении некоторой странности? И хотя в игре порой можно участвовать, даже не понимая ее, я не буду спешить с каталогизацией Параджанова. Наверное, его язык несколько иного свойства.

«Ашик-Кериб» создан по одноименной сказке Лермонтова, и эта литературная основа послужила режиссеру своеобразным холстом, на котором он тут же начал создавать многоцветный и густонаселенный мир, перенасыщенный деталями, словно орнамент восточного ковра. В первые несколько минут фильма я старательно пыталась вспомнить, что же все это напоминает, привычные поиски интертекста в современном кино на сей раз привели назад, к Параджанову же. Потому что в своем кино он походил на себя самого - автора коллажей, квартир, картин

и собственной жизни. Это был его собственный мир, его государство, старательно перенесенное на пленку, здесь существовали только его язык и его символы, совсем не совпадающие с обычной символикой и привычными кодами к кинематографии.

То, что фильм был разбит на крохотные новеллы с немудреными названиями: «Доброта», «Проводы на заработки», «Обряд обручения», помогает ему сохранить хоть видимость повествовательности, не будь этого, «Ашик-Кериб» превратился бы в сплошное живописное полотно с особым уровнем пластической выразительности. Некоторые кадры в той же микроновелле «Доброта» выстроены сколь композиционно совершенно, столь же и картинно-неподвижно, оставляя иногда чувство, что герои на полотне вообще по ошибке заговорили. И правда, если бы в какой-то момент звук прервался, это прошло бы почти что незамеченным - потрясающе красивому, статуарному миру «Ашик-Кериба» нужны не слова, а краски, выразительность не звуков, а деталей, будь то белый гранат на свадьбе героя, или кувшин, бесцельно, из-за одной только красоты стоящий у струй горного водопада, или живая рыба на испещренной чеканным узором сковороде. Это мастерство живописца, а не рассказчика.

Следуя за фильмом, поначалу поражаешься его нединамичности, кадры то и дело словно застывают вместе с героями. Только потом начинаешь понимать, что картинная выверенность каждого жеста и украшения на костюме помогают избежать пресыщения: приобрети «Ашик-Кериб» чуть большую динамичность, измени своему ритму, и всего станет слишком, красота не удержится от соблазна кича.

Кто сказал, что фильм должен скрывать свою природу и быть окном в мир? Я расскажу вам сказку, где будет любовь, смерть, лепестки роз, морские раковины, сказку, которую от банальности удержит лишь мастерская работа с формой и композицией. Я открою вам окно в сон, и когда черная плетеная шаль спадет с него, как пелена слепоты с глаз матери вернувшегося ашуга, вы увидите не окно, а витраж, пронизанный цветными пучками света. И когда вы

совсем уверитесь в этом наваждении, я вдруг скажу вам, показав объектив кинокамеры: «Послушай, это всего лишь вымысел, пленка, игра». Не так ли хотел обратиться к нам Параджанов в своем «Ашик-Керибе»?

В самом начале своей кинобиографии Параджанов, работая на Киевской киностудии, задумал фильм «Киевские фрески», сценарий которого сохранился. Основа его тоже не носит нарративного характера, это именно фрески, спешные рисунки города, комнаты, женщины, мужчины, чувства, встречи, расставания, рисунки, напроочь лишённые дискурса, объединённые не сюжетом, а ритмом письма.

Ритм - это, помимо прочих, тоже код к параджановскому кино. Замедленная ритмика «Ашик-Кериба» позволяет не просто совершать вдох и выдох, но вдохнуть глубоко, расплавленный ритм тела и цвета позволяет очертить контур чувств, родственных какому-то религиозно-мистическому экстазу.

Если фильм, как и роман, является космологической структурой, то, по утверждению того же Эко, задача автора сводится к сотворению мира. Если это так, то в кино Параджанову оставался единственный труд - перенести давно сотворенный им мир на пленку, чтобы этот пересказанный сон раскрыл беспощадно-красивую конструкцию игры, мыслимой как жизнь и показанной мифом.

«КОМПЛЕКС РАСКОЛЬНИКОВА» В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

По утверждению У.Эко, «автор не должен интерпретировать свое произведение». Заглавие, к сожалению, - уже ключ к интерпретации.

Новый фильм Инессы Селезневой по сценарию Валентина Черныха, премьера которого состоялась в середине октября в киноцентре, носит пространное название «Воспитание жестокости у женщин и собак». Название вполне интригующее, если не подразумевать, что оно толкует смысл фильма почти буквально. Название неплохое как ключ или шифр, но не как основополагающая линия

сюжета. На встрече со зрителями сам Валентин Черных лукаво сообщил рецепт новоиспеченного фильма: милая сердцам уставших от чернухи кинолюбителей мелодрама с приправой из детективных добавок и «лав стори». А ключевая линия сюжета, собственно, законсервирована в названии фильма.

Красивая, одинокая и вполне устроенная в жизни женщина (Елена Яковлева), обреченная на короткие встречи с женатым преуспевающим жлобом, однажды находит в своем дворе молоденькую собаку ризеншнауцера, оставленную хозяевами по причине отъезда оных в дальнее зарубежье. Нюрка - так окрестила свою находку героиня - остается жить у нее и скрашивать ее комфортное одиночество. История, как видим, вполне житейская, правда, собачки и кошечки у одиноких дам появляются чаще к закату, когда надеяться особенно уже не на что. Но, как и следовало ожидать, спокойная жизнь с собакой Нюркой героиню не ждала. Добродушную Нюрку украли, перепродав солидному инженеру неизвестной фабрики, владельцу пыжиковой шапки и новенькой «Волги» (непонятно лишь, зачем благополучному человеку понадобилась краденая собака?). Но инженер появится все же позднее, а пока героиня обречена на слезы, бесплодные поиски и унижения, хотя в ее жизни и появляются кое-какие надежды в виде интеллигентного и милого кинолога с неудавшейся личной жизнью, собирающегося по этому поводу не куда-нибудь, а в Австралию (виза уже получена). Ей с кинологом еще предстоит уходить от инженерской погони на стареньком «Запорожце», смывать кровь с разбитого лица и плакать, постепенно превращаясь в некую «дьяволицу», мстительницу, словно Гудрун в скандинавской саге о Вельсунгах. Объявив войну локального значения своим обидчикам, героиня ни перед чем не останавливается: уродует неизвестным химсоставом «Волгу», выступает на фабричном собрании, обвиняя инженера в воровстве, грузчика, укравшего и перепродавшего Нюрку, сдает в руки милиции с «левым» товаром (попросту доносит на него), а его товарища заставляет униженно извиняться.

Нюрку же отдает жестокому дрессировщику, после чего от ее бывшего щенячьего добродушия не остается и следа. И даже любовь, внезапно открывшаяся героине, кажется, не приносит ей столько радостей, сколько дает эта личная реконкиста.

Выводы из всего этого следуют весьма неутешительные. Общество, не умеющее защитить своих членов от преступных посягательств на их имущество или личное достоинство, получает в ответ тени Башмачкиных, вершащих правосудие по своему усмотрению. Но в том-то и беда, что в данном случае, даже если бы и существовал праведный суд, он вряд ли бы удовлетворил героиню - ей ведь нужно своими глазами видеть унижение противника и быть непосредственной причиной этого унижения. Все фобии, обиды, нескладывающаяся личная жизнь были предъявлены ею другим в виде счета за украденную собаку (которая, по сути, и не была ее собакой). По логике авторов, которым героиня, видимо, симпатична, если завтра у вас утащат дипломат, то вы можете идти войной на весь мир, вспоминая походя все его обиды, нанесенные вам. В известной мере это тоже система самодоказательства, только сомнительного свойства. Этакий «Рэгтайм» на российский лад.

Впрочем, фильм, напоминающий недорогую открытку и рассчитанный на весьма непритязательный вкус, выйди он на экраны сегодня, мог бы вполне рассчитывать на успех. Сценарист фильма «Москва слезам не верит» Валентин Черных вполне учел запросы времени и сотворил по его лекалам героиню, которая именно сегодня и вызовет сочувствие и понимание в обществе (директора столичных фабрик из числа лимитчиц нынче уже не в моде).

Но показ фильма, по словам авторов, состоится лишь через два года на телеэкране. И если и тогда в нас будет жить комплекс Раскольникова и в качестве самодоказательства («Тварь я дрожащая или право имею?») нам непременно потребуются унижение или уничтожение другого (других), то фильм «Воспитание жестокости у женщин и собак», увы, обречен на успех.

НЕЗАМКНУТЫЙ КРУГ

*Все меньше тех вещей, среди
которых я в детстве жил...
Арсений Тарковский.*

Отношение человека к вещи менялось неоднократно, переживая революционные всплески и радостное возбуждение от разрушения. Керосиновые лампы на цепях, хрупкие фарфоровые чашки в резных буфетах, шторы на шелковых подкладках - все это, говорившее когда-то о неизменности и прочности мира, делавшееся «на века», уже Золя было осмыслено как заманчиво страшное, стремящееся заменить собой стоимость человека. И все же человек еще существовал в круге знакомых с детства вещей, становившихся своеобразными кодами памяти, связывавших его с собственным прошлым и сообщавших жизни некую устойчивость. Октябрь 17-го изменил не только судьбы людей, но и судьбы вещей. Он окончательно определил отношение к ним.

Виктор Шкловский в книге «Эйзенштейн» писал о своем герое: «Он знает злобу вещей: квартиры, обстановки, подушечек, икон, могил, памятников». И чуть дальше: «Октябрь» - лента о конце вещей... Это тоска человека по воле от вещей, по освобождению, по небу, простору мысли». Но взаимосвязь человека и вещи не была окончательно разрушена Октябрем, изменилась только фактура вещи. Мир стал универсально разнообразен. Стало обнаруживаться, что и без старых, подточенных жучком часов, кузнецовских чашек и резных буфетов до неба так же далеко, и «простор мысли», и «освобождение» никак не связаны с этими трогательными безделушками, за разрозненную хрупкость и бесцельность которых платят нынче огромные деньги. В современных домах они смотрятся нелепо и жалко, потому что выключены из круга отношений с человеком, оставаясь кодом чужой памяти.

Андрей Тарковский - художник, в наше время переосмысливший отношения между человеком и вещью. Если Эйзенштейн «знал злобу вещей», то Тарковский знал их добро, он очеловечил отношение людей к вещам. Он

увидел особое обаяние старых вещей. «Старые стены, - сказал он однажды, - старая одежда, разбитая посуда - это вещи, на которых отразилась судьба» (Советская Россия, 1988). Можно вспомнить тут «Ностальгию», где из всей красочной живописности Италии режиссер выбрал самые унылые, «неитальянские» виды, оставив в кадре лишь то, что соответствовало в тот момент его душевному состоянию, и снимая «вопиющее запустение посреди красивейшей страны».

Вещи у Тарковского обладают какой-то самостоятельной природой и в то же время слиты в завораживающий круг с иными знаками, будь то дождь, опрокинувший чайную чашку, рассыпавшиеся яблоки или снег, падающий в лишенный крыши дом. Я бы сказала, что вещь в мире Тарковского перестает быть объектом потребления, она хрупка и уникальна оттого, что включена в круг сновидений и воспоминаний, где все незаменимо и единственно.

На свете все преобразилось, даже

Простые вещи - таз, кувшин, - когда

Стояла между нами, как на страже,

Слоистая и твердая вода...

В фильме «Солярис» в воспоминаниях Криса Кельвина о доме, где мать предлагает ему помочь омыть рану, появляются именно таз и кувшин белого фаянса, как знаки, подтверждающие достоверность памяти в замкнутом и двоящемся пространстве космической станции. Все может измениться и преобразоваться в физически близком соседстве с мыслящим Океаном, но эти подробности не должны претерпеть изменений. Вместе с языками костра, полосой неба, лицом матери, запечатленными на любительской пленке, захваченной на станцию, эти вещи рассказывают о непереводаемости и неповторимости земного мира Криса и мира всего человечества.

В «Солярисе» круг вещей и явлений особенно отчетлив оттого, что воспринимается он как бы по ту сторону - из замкнутого пространства космической станции. И в то же время он приобретает и некую двойственность, потому что он не только включен в сферу памяти земных героев, но он приобщает к земному бытию и пришедшую ниоткуда Хари.

В какой-то мере Тарковский отдает Крису ткань собственных воспоминаний, иначе мы вряд ли бы смогли ощутить так остро душевные движения Криса. Но воспоминания Тарковского, знаки его памяти не следует читать буквально. Потому что на экране режиссер дает как бы воспоминание о воспоминании, это не точные копии, а собирательный образ. Я бывала в Юрьевце, где стоит дом семьи Тарковских. Он мало похож на тот, что снимали в «Зеркале». Но это ничего не значит, потому что режиссеру важна не достоверность дома, а образ, дающий ощущение времени. Каждая вещь в экранном мире Андрея Арсеньевича приводила с собой длинный семантический ряд, но она же рождала и нечто более важное в тот момент - ощущение.

Майя Туровская в книге «7 1/2, или фильмы Андрея Тарковского» писала о фильме «Зеркало»: «Для нашего поколения фильм имеет особую, неизъяснимую прелесть узнавания, тождества детских воспоминаний. Его можно назвать «Мы вспоминаем». Бревенчатые темные сени.., кружевные, вздутые ветром занавески; узкое стекло лампы-пятилинейки; ...и полотняное с шитьем платье матери...».

Мир воспоминаний отчетлив, почти ощутим физически, вещен. Он обозначался посредством знакомых вещей, которые были общими кодами памяти поколения, делали единичное впечатление многозначным. Изношенные стены домов, прошедший недавно дождь, сухие букеты, стеклянная кринка с молоком - все находилось в едином круге «державы природы», осмысленном как чудо.

Поиски утраченного времени детства приводят к конкретным знакам и впечатлениям этого времени, и физическая их ощутимость обладает странной, почти гипнотической силой. То, что Йос Стеллинг назвал «системой кодов, рассчитанных на ответную реакцию зрителя» (Искусство кино, № 5, 1991), срабатывает безукоризненно, но срабатывает именно потому, что Тарковский знает: «Контакт с произведением искусства происходит не при помощи головы, не при помощи сознания, а при помощи других органов». Но знал он и другое: «Если через десять минут зритель не будет моим, он не будет моим никогда. Но я не хочу никого переубеждать».

Я хочу иметь дело с людьми, с которыми мы друг к другу расположены априори» (Советская Россия, 1988). Система кодов срабатывает только в том случае, если знаешь шифр. Так или иначе она рассчитана на посвященных: ощутивших когда-то сходное потрясение детской души, переживших в остроте и первоначальности ощущений дождь, обрушившийся на сад и крыльцо веранды, магическое движение воды или огня. Без этого в потоке «запечатленного времени» останутся нерасшифрованными перетекающие из фильма в фильм темы Андрея Тарковского, среди которых постоянным речитативом шли: Детство, Чудо, Сон.

Жизнь - чудо из чудес, и на колени чуду

Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один, среди зеркал - в ограде отражений...

Именно постоянство тем Андрея Тарковского обуславливает в какой-то мере и постоянство предметов, несущих символическую нагрузку. Будьте уверены, о чем бы ни говорил режиссер: о средневековой Руси, космической станции или загадочной Зоне, - вода появится обязательно, это такая же неизменная составляющая круга, как и худые, большеглазые дети, смотрящие в мир из четвертого измерения сна. Она течет зеленым слоистым потоком, шевеля водоросли, словно волосы, остается грязными лужами на дне итальянского бассейна, просачивается сквозь крышу дома, попадая мимо узких бутылочных горл, бесцельно нацеленных в потолок в комнате Доменико тут и там. Сегодняшние авангардисты пытаются использовать воду как материал, основываясь именно на ее ежесекундном, бесконечном изменении. Они просто снимают поток, периодически останавливая кадр, тем самым давая возможность увидеть эти изменения. Это действие, лежащее, казалось бы, за гранью художественного, все одно завораживает. В фильмах Тарковского существует язык воды, говорящий порой выразительнее и больше, чем речи рефлексирующих героев.

Сожженное дерево в «Ивановом детстве» или сухое, которое ежедневно поливает малыш в «Жертвоприношении», шумящие листьями дерева Земли в

«Солярисе» - тоже говорящий знак, как и лошади или появляющиеся ниоткуда псы, которых потом никак не могут объяснить критики. Хотя их не надо объяснять, они приходят из неведомых уголков памяти, составляющих мир художника. И сновиденные полеты героев Тарковского тоже вряд ли нуждаются в объяснениях. Может быть, приди к нам Шагал раньше, стань он много доступнее еще тогда, когда фильмы Тарковского шли впервые, никому и в голову бы не пришло удивляться факту полета без достаточной сюжетной мотивировки.

Дом у Тарковского тоже включен в завораживающий круг (именно дом, а не городская квартира, как в «Сталкере»), он узнаваем и неповторим, он существует со всеми подробностями вещей, сохраненных героями в памяти. «Он - часть природной жизни так же, как жизни человеческого духа, их средостение».

Но, говоря о мотивах Андрея Тарковского, поэтическом осмыслении им круга вещей и явлений, просто нельзя не сказать об отце режиссера - Арсении Александровиче Тарковском.

У них поразительно сходное ощущение этих самых вещей и явлений, мир Арсения Александровича так же подробен и конкретен, но и так же притягательно необъясним. Мир последнего поэта серебряного века, о котором Цветаева говорила, что в стихах он может все, заключает в себе те же знаки: воду и огонь, и худых голодных детей, и лампы-молнии, и молочные кринки, и человеческое сиротство, «и явь, и сны, и смерть...». Еще до рождения режиссера Тарковского поэт Тарковский «немую плоть предметов и явлений одушевлял, давая имена». Хотел того или нет Андрей Тарковский, но у них с отцом существовала сходность впечатлений и знаков, включенных в круг сновидений и памяти. Недаром в «Зеркале» звучит живой голос отца, читающего свои стихи, а в «Ностальгии» и «Сталкере» снова появляются цитаты из его книг. Отец слышал «яблока круглого круглый язык», видел, как «дождь по саду прошел накануне» и «шатучий мост, и женщину в платке, сползавшем с плеч над медленной водою...», и ветер, «трогающий волосы руками». Все это тоже так или

иначе вошло в фильмы Андрея Тарковского. Уже имевшая имя вещь получала зрительный образ. В этом, помимо «таинственного мира соответствий», обнаруживается странный закон, открытый Арсением Александровичем:

И то, что прежде нам казалось нами,

Идет по кругу...

Круг остался и дополнился новыми символами и знаками. Этот круг не замкнут в силу бесконечного движения самой жизни, но из него ничего нельзя вычесть, только прибавить что-то новое. В нем живут старые привычные предметы и неповторимые впечатления детства, и мозаичная поверхность снов, в нем таится неосознанная жажда чуда и понимание жизни как «чуда из чудес», в нем текут и струятся водяные потоки и шумят деревья, и все это, составляющее уникальный мир Андрея Тарковского, проходит сквозь нас, продолжая свою таинственную работу.

«Я» В СИСТЕМЕ ЗЕРКАЛ

(«Армавир» А.Миндадзе и В.Абдрашитова)

Надо признаться, что всякий критик - это бич для автора, и чем умнее и толковее критик, тем ему, автору, хуже. Его многострадальное произведение растолкуют, раскроют, показав внутренности при очень ярком дневном свете, привяжут к нему пучок мыслей, которых у автора не было отродясь, и, завершив истязание, присыплют все это ворохом цитат. Но, с другой стороны, автору жаловаться не на что, потому что вряд ли он полагает, что его произведение заканчивается точкой в эпилоге или воровато скользнувшим на экране словом «конец». Все сказанное, по Уайльду, лишь предлог для нового созидания. Причем, созидать в данном случае будут уже без автора - актеры, зрители, критики или читатели. И никогда их вольный перевод не окажется идентичен авторскому замыслу.

Вокруг фильма «Армавир» созидательный процесс еще продолжается, хотя большая часть зрителей в силу полной анемии нашего проката смогла увидеть его лишь в

телевизионном показе. В числе многих выводов, извлеченных когда-то критиками из загадочной двойственности картины, был, в частности, и вывод Ирины Рубановой о том, что «фильм Миндадзе-Абдрашитова - опыт путешествия в зазеркалье постколлективистского общества». А Лев Аннинский так пытался истолковать название фильма: «Как бы это на теперешний-то русский лучше перевести? Слава боевикам!.. Здравствуйте, товарищи омовцы!..»

Трудно сказать, где именно в фильме уважаемый мною критик увидел столь конкретное наполнение символов. Но даже если бы это действительно так уж четко прочитывалось, упомянутая уже двойственность созданного авторами оставляет лукавую возможность толкования.

Искусствовед Б.Гройс предупреждал: «Поскольку в наше время не существует ни единой научной концепции пространства, ни единой исторической концепции времени, современный человек не знает своего индивидуального места в мире и потому не может стать собой».

Герои «Армавира» именно и брошены в пространственно-временной хаос, у которого есть вполне немистический предлог - кораблекрушение. О времени тут изредка напоминают атмосферные осадки (снег, сменяющий дождь), оно уплотнено с того самого момента, когда Семин (артист Колтаков) слышит хрип в телефонной трубке: «Армавир! Армавир!» до такой степени, что молодцеватый Аксюта (Сергей Шакуров) успеваеt оказаться в финале почти стариком. Зато с пространством авторы обращаются, как с пластилином, вытягивая его, заставляя хромого вахтера Семина догонять вчерашний день в самолете, у моря, в парковой аллее или уходящем из неизвестности в неизвестность поезде. И хотя у происходящего вроде и есть малые зацепки деталей действительности, как тот же парк, очертания города или вокзала, но ощущение остается такое, что действие происходит на морской глубине, искаженное, задыхающееся и мучительное.

«...Жизнь в целом и в каждый момент похожа на выстрел в упор», - писал Ортега-и-Гассет. - Выстрел сделан, и

человек оказывается в мире, подобно потерпевшему кораблекрушение. Он словно забывает, что живет здесь и теперь, а когда ему пытаются об этом напомнить, пробует слабо протестовать: «Я не готов к этому, помилуйте!»

Заточение «я» в собственной интимности, закрытого, как комната больного, полная зеркал, безнадежно возвращающих ему собственный профиль, изображение человека чуждым самому себе - вот тема, прежде всего, мне кажется, занимающая сценариста Миндадзе.

Но в том-то и дело, что в вялотекущей жизни процесс отчуждения человека от самого себя да и всего вокруг, кончающийся порой четырьмя пулями под слепящим алжирским солнцем, почти не осознается между всякого рода незначительностями. Нужно придать жизни чрезмерное напряжение, чтобы приблизиться к «пропасти без фраз...». Это весьма опасный шаг (ведь неизвестно, куда он заведет), именно потому, мне кажется, режиссер Абдрашитов словно подстраховывает, делая в фильме упор на реалистическую установку и во многом растеряв удивительное состояние погруженности, отойдя от пропасти, к которой исподволь вел Миндадзе.

Вообще осознанно или нет, но Миндадзе выстраивает сценарий по излюбленной Борхесом схеме - лабиринта и зеркал. Ведь задыхающийся бег главных героев - Семина и Аксюты - это как бы путешествие по лабиринту. И когда, казалось бы, выход найден, оказывается, что герои не трогались с места, обманутые спрятанными вокруг зеркалами. Эти герои в фильме изначально безумны. И именно их нескончаемый бег за скрываемой где-то Мариной, нечеловеческая одержимость ею и служат тому подтверждением. Старинные определения безумия переводились именно как «принадлежность чужому», одержимость кем-то другим. Беспмятны в фильме почти все герои, играющие в бесконечную чехарду неузнаваний и лжеузнаваний, одержимых - двое. Так в хаосе пространства, времени, всеобщего беспмятства замкнутых «я», полных «чудес и преступлений», возникает некая плотность, спасательный круг - любовь.

Ищет любимую Марину ее отец - Семин и ее муж -

Аксюта. Но тут и возникает некая двойственность, перетекание их реального в воображаемое. Именно из диалога тестя и зятя, отца и мужа понимаешь, что оба они несли симптомы своего безумия и до катастрофы, что внутри них она ничего не открыла, только подстегнула их к действию, бессмысленному, как броуновское движение. Понимаешь, что в любви Семина к Марине уже давно кроется что-то большее, чем просто отцовская любовь. «И что за любовь у отца такая?» - словно догадывается вдруг Аксюта, обозначая таким образом трагедийный оттенок отцовства Семина. И эта схороненная в бумажнике фотография, медальон с инициалами «М» и «Г» (Герман - имя Семина), воспоминания, хранимые, как драгоценности, - все складывается в хрупкий, скрытый, почти преступный в воображении мир невозможной любви. «Я ей и отец, и мать... Ну, считай, я ее муж. Так считай». Попытка Семина заменить собою для Марины всех в этом мире разрушительна для обоих. Это никуда не ведущее напряжение и должно было закончиться катастрофой. Хотя тут не повторен обычный код глубокой страсти - смерть. Героиня не умирает, она просто никогда не узнает отца.

Любовь Аксюты только внешне может показаться «нормальнее» чувства Семина, тут вроде бы и нет никаких фрейдовских подтекстов. Но герои - ровесники, им обоим под пятьдесят, и монолог седеющего Аксюты не менее странен, чем признания Семина. А может, даже более пограничен, потому что для отца все же естественно испытывать нежность к своей маленькой дочке, но для капитана Аксюты, заласканного женщинами, «ждать всю жизнь» играющую в песочнице девочку почти невозможно, нереально. И в этом Аксюта оказывается словно зеркальным отражением Семина, даже следование первого за семьей Марины из города в город только подтверждает это. Отражение же не может существовать самостоятельно. Между этих зеркал путается реальность, потому и рассказ Аксюты о том, как он стал мужем Марины, в сценарии - где-то на грани воображаемого. Я даже уверена, что Марина перевоплотилась из невозможной любви в жену только в мечтах героя, случайно, как случайна, в принципе,

обмолвка Семина: «...я ее муж». Это фантазии, ошибки, только подтверждающие безнадежность любви. Хотя в фильме Шакуров рассказывает все это как реальность. И в какой-то мере оба актера играют словно в привычной семейной драме, по прямой: отец - дочь - муж, а не по задуманному Миндадзе пугающему треугольнику.

Именно это скрытое безумие, равная болезни одержимость, не приобретенные в момент катастрофы огромного корабля, а как бы изначально данные, отделяют Семина и Аксюту от прочих героев. И в разбитом на одинокие, потерявшие всякую опору «я» мире, это иная и страшная степень отчуждения, зависание, словно в кабинке «чертова колеса», между временем и пространством. И женщина, выискивающая «своих» криком «Армавир!» обращается все же не к ним, висящим в кабинке аттракционной конструкции. Да они и не откликаются. У них другой пароль. Другой срок катастрофы. Для них нет и не может быть никаких «своих», никакого единства, хотя бы внешнего: ни с толпой, ни с кричащей женщиной, ни с подавшим из тамбура руку парнем в уходящем поезде.

Для всех других героев еще остается возможность уйти от трагедии отчужденности, найти, узнать, вернуться, полюбить снова, наконец. Для них гибель «Армавира» так или иначе станет прошлым, может быть, и искажающим настоящее, но никак не будущее. Для Семина и Аксюты, всю жизнь живших будущим, тем, чего не было, по логике действия, это будущее окажется гибнущим в ночи кораблем и остановится оно с ответом Марины на вопрос Семина:

- Это ты?..

- Нет.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПАМЯТИ

Я жду в будущем фильм, осуществляемый собственными средствами; до тех пор, пока решающую роль в нем будут играть литература, театр и актер, он ничего не будет стоить.

Фернан Леже.

Град Петров нынче сильно захламен и в отдельных своих фрагментах словно подвержен артиллерийскому

обстрелу. Впрочем, мозаичность его существования не нарушает линейно-циркульную гармонию архитектурской мысли, узаконенной в открыточных видах настолько, что кажется: перестань этот город однажды существовать вовсе, никто из живущих в нем и пребывающих в качестве гостей и не заметит такого отсутствия, все так же открывая и закрывая невидимые двери пропахших мочой и псиной парадных. Не скажу, что мысль очень уж свежая, ведь еще Достоевский примечал его привиденческий облик: «Петербург - самый абстрактный и искусственный город, который только существует на свете».

Стоит ли тогда удивляться, что на его выморочной земле, удобренной несколькими пластами российской культуры, то и дело произрастают новые и подчас завораживающие ее явления, еще не подвергшиеся каталогизации и объяснениям. Кинематограф, увиденный Питером Гринуэем как «артефакт, трюк, искусственная штучка» в новой невской интерпретации - тоже из их числа. Кино, переставшее скрывать свою природу, быть окном в мир, куском жизни, принимающее как данность, что оно «лишь пленка и ничего более, самозабвенный предмет киноигры». У тех, кто научился снимать такое кино - самое яркое на сегодня имя у Сергея Дебижева, получившего в Париже главный приз в Международном центре кинематографии за фильм «Золотой сон». В какой-то степени растущую в определенных кругах известность автора можно объяснить не только призом (хотя мы потихоньку привыкли к тому, что признание своих произведений у нас совершается лишь после проставления на них заграничной пробы), сколько прямой соотнесенностью с почти мифологизированными в «невской волне» именами тех же Курехина и Гребенщикова. Несомненно, они очень украшают кинематографические игры Сергея Дебижева, хотя и придают им вкус знакомых мистификаций. Но в «Золотом сне» господам оформителям пришлось потесниться, уступая синтаксису движения пленки и неуловимой мистике фильма.

Норман Мейлер в лекции «Курс создания фильма» заметил: «В фильме можно соединить что угодно с чем

удовно - существует коррелят в каком-нибудь психическом состоянии памяти, в сновидении, в дежа-вю или в посмертной маске, в каком-нибудь моргании глаза или подергивании нерва. Таким образом можно работать на всем протяжении фильма без всяких мыслей о рассказывании истории».

Сергей Дебижев уклоняется от подобных мыслей. «Меня вообще не особенно волнует кино.., где рассказывается какая-то отдельно взятая история». И действительно, чего ради цепляться за реальность, если в ней можно удостовериться, выйдя на улицу?

«Золотой сон» почти полностью «собран» из кадров хроники, только в начале ее монохромное звучание предваряют цветные игровые кадры, как раскрашенные заглавные буквы в старинных рукописных книгах, кадры, изысканно стилизованные, словно картины Сомова или Бакста, и потому вливающиеся в хронику начала XX века. Четыре убегающие вдаль «ню», художник за мольбертом, юноша, натягивающий тетиву лука, - никакой особой символики, кроме собственно красоты, ради которой и было это снято, красоты мирискусничества - ради нее же самой. Монархическая пара, лотошники, русский балет, нелепые конкурсы - хроника, пропущенная сквозь сон? Или это уже и не сон вовсе? А давно уже смерть?

«Живое чувство прошло через кладбище - и воскресло...»

На громадной высоте аттракционной установки - серая лошадь с хрупкой наездницей. Шаг, съезжающие по головокружительной вертикали досок копыта, короткий прицел прыжка в еле видный внизу бассейн. Туча брызг, следующая в кадре по логике действия, превращается в сиреневые, розовые, голубые анимационные пятна... «Словно кино существует в мозгу так же, как память или сон».

Ощущение времени? Почти что нет. Динамика действия? Тоже нет. Но - ощущение тоски, страха, страдания, предшествующих войне, революции, разрухе, как в перевернутом мире Бредли, слабое предчувствие прошлого в этих случайных лицах, улыбках, поцелуях людей, которые давно умерли. Это словно поэзия, слабо объяснимая

техникой монтажа или выбором кадров. Та самая мистика, начинающая жить в фильме почти бесконтрольно и самодостаточно.

Чувство трагичности данной временной территории (в нашем случае - России), чутко уловленное в начале века многими художниками и поэтами, как бы вернулось «на вне возможные монтажи смерти», озвученное мистериальной музыкой «Русско-абиссинского оркестра». Только видимость повествования, как и видимость фраз в музыкальном действе Бориса Гребенщикова в этой экзистенциальной реке подсознания.

Тяжелый и редкий снег, плывущие лошади, кадры эйзенштейновского «Октября», вдруг потерявшие свою декларативность. Спящий человек в тяжелом пальто, западание клавиш, прах землемеров в прогнивших шинелях пехоты - это словно часть механизма памяти или ее странное дополнение. Все, что только становится будущим в нашем искореженном прошлом.

«Я рассматриваю фильм как своего рода акт с целым рядом оргазмов...», - сказал автор «Золотого сна». Очередная примочка?

Не знаю, читал ли Дебижев только что переведенного Мейлера, но послушайте, как похоже: «Уже нельзя перечислить, как раньше: секс-память-сон-смерть; теперь река течет через технический век и должна описываться так: секс-память-кино-сон-смерть».

Лицо мертвого человека с некрасиво открытым ртом, редкий тяжелый снег. Убегающие, почти модильяневские «ню». Золотой сон на склеенном целлулоиде памяти XX века.

ДРУГИЕ БЕРЕГА

*Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
А что не отделялось запятой,
То запятой и смертью отделилось.*

А. Тарковский.

Помнится, классики «новой волны» любили насыщать свои фильмы разного рода цитатами: от заковыченных книжных до вполне расковыченных кинематографических.

Далее на сцену вышел и раскланялся публике постмодернизм, в пору которого ничего не цитировать стало просто неприлично. Киноведы с лупой в руках отыскивали возможные и невозможные цитаты и писали толстые диссертации об интертекстуальности в кино.

Питерский киновед и архивариус Олег Ковалов, ставший по совместительству режиссером, решил избавить собратьев по перу от утомительных цитатных раскопок - свой второй фильм «Остров мертвых» он целиком собрал, склеил, сложил из цитат, заимствованных у немого русского кино, посвятив этот добросовестный коллаж памяти Веры Холодной.

Название фильма, конечно, не случайно (никаких случайностей у Ковалова быть не может), оно сразу же отсылает память к художнику Арнольду Беклину и его небезызвестной картине «Остров мертвых», а уж память сама рифмует начало века с прихотливыми поисками модерна, чарующую игру мирискусничества и неповторимую прелесть женских лиц...

В фильме есть очень известные кадры кинохроники, запечатлевшие похороны «королевы экрана» Веры Холодной: толпы, текущие по одесским мостовым, сливающиеся в людское море, случайно вырванные из небытия лица кадетов, студентов, курсисток. Я видела эти кадры много раз, и всегда с ними рождалось чувство тоски от февральского ли липкого снега, или от зыбучей медлительности этих толп, прощавшихся не просто с актрисой, но и с целой эпохой русского кино, обреченного с тех пор на жидкие строки в киноучебниках.

«И все они умерли, умерли, умерли...», - писала с отчаянием Цветаева о близких ей людях той же, досоветской России. Да, умерли, и «пальцы пахли ладаном», и толпы текли, и живое море шумело, разбивая волны о берег кончившейся эпохи, которую никто тогда и не подумал связать с материком нового советского искусства. Эпохи, так и оставшейся островом. Островом мертвых.

Густой речитатив этой эпохи и попытался воссоздать в своей картине Олег Ковалов. Передать ощущение черной всасывающей пустоты утраты.

Откровенно синефильское произведение Ковалова полно узнаваемых лиц и знаков. Тот, кто прочитал все эти знаки и даже дополнил их «своими», увидел то, что и обещали, - остров мертвых, картину, грешащую описательностью, а не множественностью смыслов.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,

К сожалению, трудно. Красавице платье задрав,

Видишь то, что искал, а не новые дивные дивы...

Не нов и сам принцип монтажного фильма, использованный автором. Стоит все же сказать, что сама идея картины (равно, как и ее монтажный принцип) уже была блестяще использованы Сергеем Дебижевым в «Золотом сне», где чувство трагичности данной временной территории (в нашем случае - России), чутко уловленное в начале века творцами, как бы вернулось на «вне возможные монтажи смерти», превращаясь в поэзию, слабо объяснимую техникой монтажа и выбором кадров. Хотя кадры-то как раз были принципиально иными - Дебижев использовал только хронику, и она куда лучше выдержала все смысловые нагрузки и перегрузки, нежели, пусть и знаменитые, кинокадры.

Как ни пытались из коваловского рукоделия сделать кинособытие, оно вряд ли таковым стало, имея скорее познавательную, а не эстетическую ценность. Столь любимое автором кино, из которого он, как алхимик, пытался сотворить вытяжку трагедии, сыграло с ним злую шутку: кадры великого немого упорно выламываются из навязанного им контекста, а сами великие исподволь сопротивляются законам чужой игры. И потом как-то странно и насильственно сведенные Коралли и Маяковский, Бауэр и Малевич конкретикой и разницей своих судеб разрушали всякую придуманную и обобщающую совместность. В жизни, если вспомнить точнее, кому получался остров, а кому - материк.

Впрочем, тем, кому небезынтересно немое русское кино и дальнейшие его искания, фильм, конечно, следует посмотреть хотя бы ради того, чтобы насладиться стильным декором Бауэра или нежной прелестью Веры Холодной, которая в этом царстве теней - истинная царица. И остров,

на который Коновалов отсылает всех участников своего фильма, ей подходит как нельзя больше, именно ей и времени, символом которого она невольно стала, но не многим прочим, у которых, как помнится, были другие берега.

НАЧАЛО

Мне говорят, а я уже не слышу,

Что говорят. Моя душа к себе

Прислушивается, как Жанна д'Арк.

Какие голоса тогда поют!

А. Тарковский.

У нее удивительное лицо, такое, наверное, можно встретить на фресках в небольших церквях севера Италии: почти некрасивый большой рот, большие выпуклые глаза, словно разбивающие симметрию лица. Иногда их выражение хочется зафиксировать, как это делал прустовский Сван, любясь лицом Одетты, похожим на мадонну Сандро Боттичелли. Такое лицо было слишком специфично для кинематографа, ему нужен был яркий художник, запечатлевший бы его бесконечное мимическое своеобразие. И он нашелся: в 1970-м году выпускник Высших режиссерских курсов Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова встретились на съемочной площадке «Ленфильма».

Евгений Габрилович, автор сценария к фильму «Начало» (совместно с Панфиловым), вспоминал, что молодой режиссер долго сомневался, выбирая актрису на главную роль. В конце концов он решил посоветоваться с Габриловичем. «Когда я зашел к нему, - пишет Габрилович, - он сидел перед несколькими фотографиями разных актрис. «Кого бы из них Вы выбрали?» - спросил Панфилов. «Только не эту!» - твердо сказал я, указывая на неизвестную мне Чурикову. «Именно ее я и выбрал», - ответил Панфилов».

Отголоски этого разговора послышатся в фильме, когда, просматривая черновой материал, сценарист недовольно заметит: «Неужели нельзя было найти актрису посимпатичнее?»

Фильм «Начало», показанный в ретроспективе «Ленфильма», прелестная и малосостарившаяся лента, оказался началом долгой совместной работы Инны Чуриковой и Глеба Панфилова.

Роль в «Начале» Чуриковой - это роль фабричной девочки Паши Строгановой, некрасивой чудачки, живущей в общительной и требующей разных мелких услуг коммуналке, а на досуге играющей в любительском театре роль Бабы-Яги. Но роль Паши включает в себе еще одну - роль Жанны д'Арк, которую неожиданно («как в кино») предложит ей заезжий режиссер в своем фильме. Такое совмещение разных актерских задач, столкновение мысленной реальности Средневековья и современности в одной актерской работе - прием, конечно, не новый, требующий тройного перевоплощения без утраты достоверности. Надо все же признаться, что Жанна д'Арк Паши Строгановой носит некий налет любительства рядом с Пашей Строгановой Инны Чуриковой. Потому что прием этот нужен был режиссеру не столько для подчеркивания актерских достоинств исполнительницы, сколько для раскрытия характера все той же Паши, благодаря роли Жанны д'Арк прислушивающейся к себе и открывающей в себе нечто новое.

По логике неудач, составляющих жизнь подобных людей, Паша влюбляется в симпатичного женатого Аркадия (Леонид Куравлев). Эпизоды встреч Паши и Аркадия, наверное, самые выразительные в картине, начиная с первого - когда Аркадий пригласит скучающую Пашу на танец под самый конец нелепого танцевального вечера. Первый диалог героев, как всегда в таких случаях, - речитатив никчемных фраз, звучащих, пока глаза исподволь совершают свою работу, подмечая рисунок губ или цвет рубашки и еще тысячу мелочей, что незаметно составят образ другого человека. Эпизод приглашения героини на танец знаменателен; Паша, вечно вынужденная быть наблюдателем и слушателем: вот этих кружащихся пар или матримониальных планов своих навязчивых знакомых, - сама становится исполнительницей; у нее, неожиданно для всех, появляется не только вызывающая грустную

улыбку личная жизнь, но и роль Жанны д'Арк, как у Золушки - карета и бальные туфельки ровно на миг, чтобы растаять с полночным боем часов. Но пусть все это рассыплется завтра, но сегодня Аркадий, в очередной раз изгнанный из дома женой, приходит в дом к Паше, сквозь детски-серьезную гримасу которой так и рвется счастливая улыбка.

Радость, обида, разочарование, ярость, сменяющаяся отчаянием, забавная серьезность - все эти состояния Чурикова передает в фильме с удивительной пластической выразительностью. Играя роль чудачки, она не боится быть смешной, нелепой, угловатой, напротив, в этом-то она и находит новые акценты роли. Но прежде всего Чурикова не боится быть некрасивой. Вспомните последнюю встречу Паши с официальной женой Аркадия, когда принаряженная Паша придет со странным, по общественным меркам, визитом к Аркадию. Именно эта нарядность, которую так неумело и непривычно несет Паша (и так тонко и стильно играет Чурикова) беспощадно подчеркивает и некрасивость героини, и ее беспомощность в ту минуту, когда тают последние надежды и бальные туфельки.

И потому последняя встреча героев, сидящих на скамейке лицом к зрителю, как на старинных семейных фотографиях, собственно, прощальная и замыкающая кольцо всех прочих, эта сцена становится началом немного иной Паши, уже знающей «творческую красоту неудачи». Тихий, почти домашний и смешной какой-то разговор героев оборвется некрасиво - растянутым детским рыданием Паши после плюшевой неловкости Аркадия, который никому не желает зла, но и не любит никого толком.

Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна!

Пусть коронован твой король - какая
Заслуга в том?

Такое несложное и временами почти комичное «воспитание чувств» дает такой странный результат, а вернее, отсутствие результата, отсутствие начала, обещанного в названии. Внешние события этого кусочка жизни Паши исчерпали себя, подошли к логическому концу, ставя в начало уже новое и более серьезное

воспитание чувств героини, без бутафорских костров и сожжений.

НАРИСУЙ ЭТО КРАСНЫМ...

«Ганс Кастроп ощутил в душе жало тайных сомнений: ...действительно ли за этим ничего не кроется, действительно ли допустимо такое рассмотрение человеческого тела в содрогаящемся, потрескивающем мраке?»

Т.Манн. Волшебная гора.

Когда боль перерастает мыслимые пределы, в горле что-то безжалостно и нежно сжимается, рождая крик. Можно закрыть глаза и попытаться убаюкать ее, как малыша, - это ведь только чужой сон, словно ласка гюрзы, от которой немеет тело. Или слабеющий поток гибнущего сознания, пробивающийся сквозь механический лязг и свист звукового ряда анемичными ростками памяти, пока обломки трепещущей плоти превращаются в кроваво-страшное месиво. Нарисуй это красным, и пока тот, неведомый, умирающий на одном из фронтов первой мировой, говорит или просит о смерти и любви, распутай эти смысловые клубки и параллели, прочти стройные ряды цифр и цитатных подсказок. И когда последнее воспоминание о любви погибнет, как прооперированные сиамские близнецы в кадре, а на их месте возникнет азиатский колодец, полный кроваво-бурой жижи и огромных клещей, то... Но что же это такое, Господи? Ведь это же ни на что не похоже!

«Слова - это пальцы, указывающие на Луну», - говорится в дзене. Они, конечно, раскроют популярную механику увиденного, но передать глубины ощущений явно не смогут. Между тем фильм молодого режиссера Андрея И «Конструктор красного цвета» - фильм не слабых ощущений и эмоций, а механика его такова, что, перерыв многочисленные запасы мировых синематек, мы с трудом найдем нечто подобное. Не побоюсь сказать, что «Конструктор» был самым неординарным событием минувшего московского фестиваля. Между тем автору отовсюду сыпались обвинения в жестокости по отношению к зрителю (Буньюэль, слыша такое, плакал бы от зависти)

и даже недвусмысленные угрозы от каких-то загадочных христиан-баптистов.

Назвав свое концептуальное детище «интеллектуальным триллером», реконструирующим незаконченную последнюю главу «Волшебной горы» Томаса Манна, Андрей И (это фамилия такая) явно имел в виду не жанровую принадлежность фильма, а методы психоструктуры его воздействия на зрителя. Обвинять автора в жестокости довольно бессмысленно, даже зная, что эмоциональный шок у восприимчивого зрителя им заранее просчитан.

Касаясь не то чтобы запретных тем, но чего-то явно непрогнозируемого и непереносимого, режиссер тем не менее ведет с нами честную интеллектуальную игру. Это честность самурайского кодекса, где кошмары становятся явью прямо у вас на глазах, честность кривого хода короткого ножа, совершающего очистительное сеппуку.

Автор использует уникальные документальные кадры экспериментов над человеческим телом, проводимых в Союзе до 80-х годов, адаптируя их чудовищные физические образы к декоративной фактуре всего фильма и монтируя то как кровавый триллер, то как научно-документальный фильм, то как любовную историю. На самом же деле на экране ни первого, ни второго, ни третьего нет и в помине, а только и есть задыхающийся бег чьей-то обреченной памяти и беспомощность плоти, которую можно изрезать вдоль и поперек, так и не поняв, как человек умирает (и как живет - тоже).

Этот квазидокументальный фильм, незаметно перерастающий в художественный, - явление явно авангардного порядка. И является он, по признанию режиссера, лишь первой частью задуманного им триптиха.

В 1980-м году Андрей И снял свой первый получасовой фильм «И взошел он на гору» о психотронике в искусстве. Некоторая странность темы объясняется предыдущим образованием Андрея - до поступления во ВГИК он еще успел закончить МАИ, где занимался проблемами психотроники. Он математик и мистик, снимающий эзотерическое кино. В наше-то время!

Он выстроил свой фильм, как математик (три главы по

три части), он даже заранее просчитал наши эмоции, но именно на них наука о числах дала сбой, и игра повернулась к зрителю неожиданным углом, а клюквенный сок явно приобрел солоноватый вкус достоверности.

Сартровское изречение «Бог есть его отсутствие» в этом фильме обрело конкретные очертания. Не оттого ли он и рождает некий метафизический страх, что именно в нем начинаешь чувствовать чудовищное одиночество гецев на земле и под небом и мучительную обреченность человека только на самого себя и на эту жизнь, которую можно разъять на мелкие кусочки и сшить их обратно, но никак нельзя изменить? И даже если метафизическое отчаяние здесь сочетается с некими выходами в потусторонние миры, то в них давно нет истории, равно как нет и Бога. Может быть, именно это так напугало московских христиан, а вовсе не высказанные в фильме предположения о существовании четырех близнецов Иисуса?

А самыми странными и, может быть, страшными кадрами в фильме оказались не монохромные документальные о переливании трупной крови или трансплантации пальцев рук и ног, а постановочные цветные, в которых тонкая женщина в красном пожирает вареных (красных же) раков из прозрачной посуды и в которых рождающееся чувство отвращения прямо пропорционально подкатывающей к горлу тошноте. Речь невидимого героя оборвалась, с ней прекратилось ощущение тревоги и боли, но оно сменилось иным, которое так или иначе рождает смерть у здорового человека, - отвращением.

Это очень страшный фильм. Даже если автор его просто хотел порисоваться, пугая зрителей, кадры, им показанные, обладали такой самодостаточной силой, что опрокинули все шутейные испуги. Андрей И снял фильм о смерти. В отличие от Сокуровского «Круга второго» не о смерти как свершившемся факте, а скорее об умирании. Хотя к некрореализму это не имеет никакого отношения. Фильм Андрея И пристроить-то особенно не к кому.

А «страшность» его лучше всех объяснит, наверное, Гессе, считавший, что в мире нет таких страшных картин и образов, которые бы уже не жили в нас.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТАРА

Фильмы Отара Иоселиани постепенно возвращаются к нам. Точнее, к кому-то возвращаются, а к кому-то приходят впервые. Их теперь можно посмотреть неспеша, один за другим: от «Апреля» до «Охоты на бабочек», как неторопливо прочитывают толстую книгу, делая на ее полях карандашные пометки и обводя понравившиеся места.

Если бы потребовалось найти для картин Иоселиани созвучную им прозу, я, не задумываясь, выбрала бы книги Пруста, где в тонкой паутине памяти трепещут, как крылья бабочек, подробности местностей, взглядов и разговоров, оставляя на белесых нитях цветную пудру пыльцы... «В то время для меня имели цену только лучи, запахи, краски, ибо смена мечтаний влекла за собой переворот в моих устремлениях и внезапное - вот так же внезапно иногда меняется тон в музыке - резкое изменение моего душевного настроя».

Но не только лучи, запахи, краски живут в фильмах Иоселиани, как в его первом «Апреле». В «Листопаде», «Пасторали», «Охоте на бабочек» человек существует в круге знакомых с детства вещей, становившихся своеобразными кодами памяти, связывавших его с собственным прошлым* и сообщавших жизни некую устойчивость.

Прелесть и притягательность мира Иоселиани для меня несомненно заключались в этой устойчивости, пропитанной ритуальностью и традициями старинных тбилисских интеллигентных семей, тоже по-своему бывших явлениями культуры, как были ими и мгновения гармонической связи людей и мира, и высокие альтруистические отношения.

По поводу этих отношений постаревший режиссер в одном из интервью сказал: «Нужно жить для других. Это однозначно. Потому что жить для себя неинтересно и потому что мы не управляем своей судьбой... Я часто бываю в церкви и вижу, как люди молятся. И среди них нет ни одного, кто бы просил чего-то не для себя...»

Самоотвержение и самозабвение для Иоселиани принадлежат к нравственным понятиям культуры человечества. Именно эта тема была основной для картины

«Жил певчий дрозд», звучала она и в «Листопаде».

Но, начиная с «Фаворитов Луны», Иоселиани снимает фильмы несколько с иным звучанием, с едва различимым, как в очень сухом шампанском, привкусом горечи, растворенном в легкомысленной прелести подробностей с покальывающими пузырьками иронии. Появление этого нового оттенка изменит всю интонацию картины, и отношения героев, прежде бывшие самой принадлежностью культуры, ныне изменятся, как изменятся и сами герои - они насквозь пропитаются разрушительной ложью.

В «Охоте на бабочек», казалось бы, сохранены магический круг традиций и некая поэтическая простота и добротность быта, несмотря на то, что осуществляется он внутри фамильного замка, заполненного тем, что для хозяев является знаками памяти, а для прочих, суеящихся вокруг, - стильным и весьма дорогостоящим антиквариатом. Около французского замка, принадлежавшего двум сестрам, в юности, по-видимому, эмигрировавшим из России, крутится немало разного народа: желающие приобрести фамильную собственность японцы, навязчивые кришнаиты, родственники и еще отдельные темные личности вроде бойкой дамы, всякий раз увозящей из особняка те или иные предметы обстановки. Я знаю, что Иоселиани не очень-то жалует драматургию Чехова, и на пресс-конференции он однозначно отверг все видевшиеся созвучия с ним, но тема его фильма в известной степени оказалась схожей, только в качестве чудесного и ненужного с практической точки зрения сада здесь выступает замок. Но замок - это прежде всего территория человеческой культуры, поле напряжения, в котором жизнь словно бы приобретает иное звучание и окраску. Это территория, доставшаяся людям, давно потерявшим всякую связь со всей культурой, и она даже не растаптывается (то бишь вырубается), как вишневый сад, ее просто обменивают на деньги ввиду полной ненадобности. Чтобы на них воссоздать в Париже бессмертный облик советской коммуналки. Это - история хамства, которая, судя по всему, совершенно бессмертна.

Друзья, давайте будем жить,
И склизких бабочек душить,
Всем остальным дадим по роже...
как писал когда-то Алексей Гуницкий. Вот всем и дали.

«СЛЕПЫЕ ДЕТИ» И ИХ ПОВОДЫРИ

Писать ответ на чей-то критический опус довольно сложно, нужно, чтобы хоть что-то в нем задело тебя. Из вороха давних и недавних рецензий на виденные мной фильмы, пожалуй, удивила одна, написанная уважаемым критиком Мироном Черненко на фильм Оливера Стоуна «The Doors» «За синдромом - синдром» (ИК, № 12, 1991). Думаю, посмотреть оный нам довелось в разных условиях: критику в приличном кинозале со звуковой системой «Долби», мне - в полуподвальном зальчике умирающего видецентра с дурной копии с весьма неважным звуком. Но, наверное, не этим объясняется разница вынесенных впечатлений. Дело тут, может быть, в мироощущении разных поколений (хотя я и не люблю этого слова).

«Сегодняшние поклонники Моррисона, возможно, все еще дети, и, возможно, слепые», - резюмирует автор рецензии. Оставим это заключение на совести автора, тем более, что обвинения его поколению в слепоте и конформизме звучат куда более убедительно. Хотелось бы начать с более сокрушительных оценок критика. «Герой картины «Двери» - один из начальников современной поп-культуры с ее культом секса и наркотиков, «рисковой жизнью», постоянно и навязчиво рифмующейся со смертью...» Ах, какая странная аберрация или, проще говоря, какая неправда!

Джим Моррисон никогда не принадлежал поп-культуре и тем более не был ее родоначальником, тут очевидное искажение факта, как и незнание того, как вообще рождалась западная субкультура 60-х годов, в которой Моррисон - лишь странный феномен и следствие, а отнюдь не причина.

Тимоти Лири, так называемый ЛСД-гуру, основоположник психоделического движения в Америке, в интервью

журналу «Роллинг Стоун» сказал: «Так называемые 60-е годы начались в 1967 году, когда старейшему из детей «Лета любви» исполнился 21 год. «Лето любви» было праздником совершеннолетия. Они символически открылись альбомом «Битлз» «Сержант Пеппер», превратившем рок-н-ролл в мощную культурную форму. Подготовка к этому произошла в джазе, в движении битников, в Элвисе Пресли, в ритм-энд-блюзе, в людях вроде Рэя Чарльза. И раннее элитарное занятие наркотиками. Кен Кизи и наша группа в Гарварде. Но сигнал был глобально подан «Сержантом Пеппером». Каждый следующий после 1967-го год производил какое-нибудь общественное извержение: демонстрации в Чикаго 1968-го; Вудсток в 1969-м; университет Кент в 1970-ом. Думаю, 60-е достигли пика в 1976-ом, когда мы выбрали супер-хиппи, рубаху-парня по имени Джимми Картер президентом. Картер цитировал Боба Дилана и говорил о мире, любви, гражданских правах человека. Насколько странным это кажется сегодня!»

Истолкование «Лета любви» как культа секса, насилия и наркотиков - это насквозь протертая идеологическая калька советских газет и заседаний партхозактивов. Немудрено, что «Двери» были для Мирона Черненко «самым отвращающим впечатлением, ибо назойливый идеологизм картины, тщательно обернутый в цыганские лохмотья постмодернизма, постоянно вызывал в памяти какие-то совсем уж непристойные воспоминания...». Подозреваю, что непристойные воспоминания вызывал все же не идеологизм картины, который нигде не читался, а идеологизм собственный, от которого: шаг влево, шаг вправо - считается побег.

Любопытно, что в этом же номере журнала «Искусство кино» опубликована и другая рецензия Черненко - на фильм Сергея Соловьева «Дом под звездным небом». Но как меняется тональность! Минор на мажор, отвращение на понимание «родной абсурдистской местности». Меняются и сами категории оценок. «Банальность художественного мышления» Оливера Стоуна и в подметки не годится ирреальности Сергея Соловьева, у которого не понять, «где из миров происходит действие, вернее, в

каком из них игра, а в каком - реальность?»

Ангажированность критики утомляет. С Оливером Стоуном не придется завтра пить дурной кофе в ресторане Дома кино, а с Соловьевым, возможно, придется. Но дело даже не в том.

Вот уже несколько лет Соловьев снимает фильмы, как он выражается, «молодежные», пребывая в полной уверенности, что оформляет и представляет некую субкультуру (представители которой не устают на эти попытки улыбаться). Но так или иначе эта субкультура никогда не скрывала своего родства к «Лету любви» и «Сержанту Пепперу», и Моррисону, конечно. В какой-то степени и существование этой субкультуры столь бесплодно, что оно - лишь отголосок чужой игры, затеянной лет двадцать пять назад и до конца сыгранной. Если попытаться понять это, то кинематографические игры Соловьева покажутся не очень убедительными, а фильм Оливера Стоуна не столь отвращающ, как утверждает критик. В этой картине нет ирреальных подтекстов. Смелость Стоуна, пожалуй, заключена в степени свободы, с которой он вторгается в частную жизнь человека, не давая даже труда себе зашифровать его каким-нибудь прозрачным псевдонимом. Но моральные оценки по отношению к Моррисону по меньшей степени наивны, человек, который никого и ничего не стеснялся, не может ждать, что по отношению к нему кто-то будет чего-то стесняться. Личная мораль - самое неуязвимое место Моррисона.

Есть такая категория в буддизме: «утрата личности». Все, чем является человек в обществе, живущем категориями добра и зла, а не законами причин и следствий, сводится к нулю, остается только его индивидуальность. Исповедующим христианство трудно принять эту установку, но именно она подводит к пониманию Моррисона ближе, чем любые иные.

Моррисон - не только агент бессознательного, он еще и титулованный шут. В средневековье шут служил обозначением поверженного короля, мертвого властелина. Зеркальным отражением власти. Мертвая личность Моррисона, кричащего: «Мать, я хочу тебя!», во власти

подсознательного. Шутовской колпак, скрывающий королевские регалии культуры, ибо разве не создавал Арто своего театра жестокости, разве в «Гибели богов» Висконти Мартин не совершал инцеста, разве Эрик Сати не издевался открыто над своими слушателями? Личная смелость Моррисона заключалась не только в играх с иррациональным.

«Нет страсти к преступившему - не поэт», - писала Цветаева. В известной степени Моррисону нечего было преступать: общество со всеми его эманациями осталось за дверью. А за нею ждала не смерть, звенящая в конце слова, как шутовские бубенчики, нет, а унылая и пугающая череда следствий, мучительная обреченность только на эту жизнь и на самого себя, наконец. Но самого себя труднее всего вынести. С этого-то все и начинается: глупые прятки от бессмысленного противостояния Никому. Человек просто не может этого вынести. Он готов терпеть вызывающую пошлость христианства, есть наркотики и верить в коммунизм, только бы не оставаться один на один с уничтожающим знанием. Психоделическое плавание по собственному сознанию - тоже способ не хуже других.

Стоун снял по-своему смелый фильм не в силу соображений морали или ее отсутствия (Искусство, как говорил Арто, есть категория неморальная), а в силу его беспощадной аналитичности, противостоящей потоку иррационализма группы «The Doors».

«Смеющиеся слепые дети» - этот образ Моррисона перефразировал в своей статье Мирон Черненко. Сегодняшние поклонники Джима Моррисона, возможно, еще дети. И, возможно, они смеются. Но они уже не слепые. Хотя, конечно же, Мирону Черненко виднее.

ВЫСОКИЙ ВКУС СРЕДНЕЙ ДОМОХОЗЯЙКИ

(о телепрограмме С.Шолохова «Тихий дом». РТР)

Первый кирпич под фундамент «Тихого дома» Сергея Шолохова был положен в январе 1990 года, причем под

монолитным зданием тогдашнего кравченковского ТВ он больше походил на пакет взрывчатки. Не успела «Правда» заклеить «сексуально озабоченного парня с ленинградского телевидения» за неуважительное якобы отношение к своему великому тезке, как этот парень на хитрой игре фамильных созвучий уже принялся возводить «Тихий дом». Но, углубляясь в историю вопроса о названии сей телепередачи, можно вспомнить и слова неподражаемого Сергея Курехина в интервью журналу «Огонек»: «Представление построено по логическому принципу, разработанному мной много лет назад, и отчасти напоминает сумасшедший дом. Тихий или буйный».

К слову сказать, основная взрывная сила первого выпуска «Тихого дома» как раз и заключалась в присутствии Курехина в качестве «ученого и политического обозревателя». Этот музыкальный хулиган, играющий со всем и вся, дерзость которого равна разве что его таланту, как раз и выстраивал вышеназванное представление, в продолжение которого зрители, всяк в силу своего разума, то багровели от ярости, то сползали бессильно на пол, конвульсивно трясясь от смеха. Конечно, доказательства того, был ли Ленин грибом или управляемой радиоволной из Мексики, есть не что иное, как веселая софистика, но вместе с явлением тут же Бугаева - Африки, демонстрацией каких-то непредставимых лабораторных исследований и, наконец, с присутствием самого телеведущего - Шолохова, взявшего на этот раз на себя роль Кандида, все это являло полноценный театр, владение и «мастерством пародии, и сценическими законами». Впрочем, это не первое появление Курехина в телепрограммах, и у него, абсолютно естественного в своих эскападах, всегда получается то, что у Шолохова - только иногда. И уже следующие выпуски одиозного «Дома» это доказали.

...Шолохов решает поговорить с Романом Виктюком о его театре, выбрав для диалога спектакль с острым привкусом скандальности - «М.Баттерфляй». Исходя из установки самого Шолохова, и в прежних своих передачах нарочито акцентировавшего внимание на эротической теме в самых неожиданных ее ипостасях, этот выбор вполне ограничен.

И, казалось бы, именно с Виктюком, своей откровенностью расширяющим сферу дозволенного в искусстве, у Шолохова и должен состояться захватывающе интересный разговор. Отнюдь. Между кое-как надерганными из спектакля кусками, никак сюжетно не проясненными, звучат и тонут умные мысли Романа Григорьевича о высоте человеческих чувств, отсылающие зрителя к интеллектуально-эстетическим традициям западной культуры, скажем, к Томасу Манну.

Но среди этого изысканного разговора происходит неизбежное - у неискушенного зрителя, никак не введенного в курс дела, возникает подозрение, что речь идет всего лишь о «спектакле про гомосексуалистов». И в тот момент, когда Виктюк, словно чувствуя подобную реакцию, пытается отвести вопросы вроде того, как длилась в течение двадцати лет связь Рене Галлимара и Сонг Лилинг, этот самый зритель как раз и утверждает в своих догадках окончательно. А собранные второпях фрагменты спектакля словно для того и демонстрируются, чтобы подтвердить это. Причем вызывающе «неофициальный» Шолохов даже не пытается вывести Виктюка из неловкого положения, на которое сам же его и обрек. Он лишь появляется во вмонтированном в передачу кадре, где кокетливо объясняет зрителям, про что именно повествует фильм Лукино Висконти «Смерть в Венеции». Следующие далее чудесные кадры Висконти, казалось бы, хоть как-то гармонизируют вконец запутавшийся разговор о всепоглощающей страсти.

Но тут Шолохов, демонстрируя уже полное пренебрежение к логике задуманного диалога, подверстывает кадры из другого фильма Висконти - «Гибель богов». Что, собственно, общего между всеми ранее сказанными словами о страсти и сценой, где молодые мальчишки из отряда Рема, подпивши, веселятся, переодеваясь в женское платье, чтобы быть убитыми на рассвете, кроме разве что чисто внешнего признака (этих самых переодеваний)? Ответить на это не может, по моему, даже автор передачи, оставляя смысл ее не проясненным для зрителя и недоступным, как древний санскрит. Прелестный, легкомысленный треп, на который

Сергей постоянно настраивает зрителя, тут не получается, потому что не может получиться никогда. Говорить с Виктюком о безднах человеческого духа оказывается не в пример труднее, чем допытываться у Станислава Говорухина, какой именно тип дам ему больше по вкусу: худенькие или же толстые?

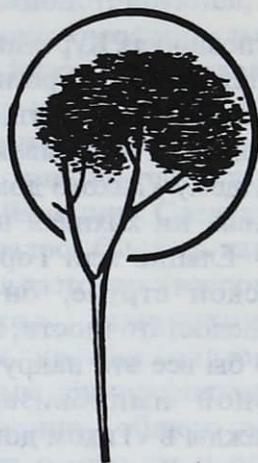
Следующие выпуски «Тихого дома» Шолохов как раз и ведет в излюбленном эпатажно-легкомысленном ключе, прикасаясь порой к весьма любопытным вещам, но даже не стараясь их раскрыть. Переложение нашего житья-бытья на яркие остроты что-то не очень получается. По этому поводу можно вспомнить слова искусствоведа Нины Тихоновой: «Можно праведно возражать против театральных стереотипов, но, как ни скучно об этом говорить, элементарное стебало требует в качестве основы мастерство пародии, владение сценическими законами, которыми, вы считаете, не сумели воспользоваться предки, - так переплюньте их. Только переиграйте, - недоигравших без вас хватает».

Я недаром выше упомянула Курехина. К его имени по-приятельски обращается Шолохов в разных своих передачах, пока, наконец, не возникает ощущение, что именно курехинских естественности и вызывающей дерзости и не хватает автору и ведущему «Тихого дома». Сколько бы он ни купался в фонтанах, ни хихикал над вопросами, кто наиболее эротичен - Ельцин или Горбачев, не играл на чувственно-эротической струне, он всегда оставляет досадное ощущение недостаточности, потому что основы, ради которой стоило бы все это накручивать, просто нет. Попытка театральной импровизации, так удачно осуществленная однажды в «Тихом доме» Курехиным, не очень-то удается Шолохову.

«Я просто получаю кайф от своей работы», - сказал он как-то в одном из интервью. Мне кажется, что вот тут-то он словно бы перепутал роли. Потому что он, а не мы, должен структурировать хаос своих передач и распутывать их смысловые клубки, а кайф как раз должны получать мы, зрители. Можно сколько угодно презрительно отзываться о вкусе средней домохозяйки, превращая ее в очередной

предмет зубоскальства, но даже воображение этой бедной женщины вряд ли взволнует наспех склеенный сюжет с кусками из «Империи чувств» попеременно (почему-то) с «Армавиrom» и путанными разговорами о гомосексуальных отношениях в армии...

Мы, конечно, живем в пародийное время. Но чтобы отражать его в виде пресловутого «тихого сумасшедшего дома», нужно владеть жанром. Хотя бы для того, чтобы не превратиться в эстетствующего зубоскала и понравиться на первый случай хотя бы домохозяйке.



КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание является наиболее полным на сегодняшний день собранием текстов Елены Рощиной. Однако далеко не все, написанное ею, вошло в эту книгу. Например, не попали сюда многие дневниковые записи, в которых воспроизводятся перипетии личной жизни автора, пристрастные, субъективные оценки ныне живущих людей. По той же причине сокращались и письма Е.Рощиной. В наиболее полном виде в «Избранном» представлено ее поэтическое творчество, но и здесь возможны дополнения.

Составители стремились раскрыть разнообразные грани дарования Е.Рощиной, учитывая сам процесс ее творческого развития. Тексты заново сверялись с рукописями. Была проведена минимальная редакционная правка, связанная в основном с исправлением явных опечаток.

Насыщенность «Избранного» самыми различными фактами из жизни искусства, кинематографа и т.д. сдерживает возможность полного, всестороннего комментирования. Это дело будущего.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Е.Рощина всегда была расположена к стихам, но поэтическим периодом ее жизни следует считать 1989-1991 гг. Именно в это время поэзия становится способом духовного существования. Стихи вначале являются частью дневников, а затем все в большей мере выходят за дневниковые рамки, приобретая художественную самостоятельность.

По свидетельству А.Дубровицкой, сокурсницы по ВГИКу, «Лена не любила говорить о том, что пишет стихи» (газ. «Новое поколение». Оренбург. 1995, 29 июля). При ее жизни было напечатано не более десяти стихотворений в областных газетах Воронежа, Липецка, а также в районной газете «Родниковский рабочий».

После выхода книг «Да утолятся печали твоя...» (Вичуга, 1995) и «Жар нетерпения» (Воронеж, 1995) критики дали высокую оценку поэзии Е.Рощиной. Вот что писал, например, К.Кедров в статье, напечатанной в газете «Известия» 16 февраля 1995 года: «В поэзии Елены Рощиной ощутимо присутствие и Пастернака, и Бродского, и многих других замечательных поэтов, но ее

интонацию невозможно спутать с другой. Здесь предельная искренность чувства и абсолютная честность мысли.

Стихотворения в «Избранном» печатаются по дневникам (Архив Елены Рошиной - АР, хранится у Н.С.Рошиной), по книгам «Да утолятся печали твоя...» и «Жар нетерпения», по газетным публикациям.

Октябрь (с. 11). - АР.

Монастырская тюрьма (с. 11) - АР.

«Золотистый запах чабреца...» (с. 12) - АР.

«Полнолуние. Ложится отблеск медный...» (с. 12) - АР.

«Избавь от сердечного рабства...» (с. 13) - АР.

«Кладбищенской гнилью и серой...» (с. 14) - АР.

«Высокие ступени двадцати...» (с. 14) - АР.

«Город озяб и нахохлился...» (с. 15) - АР.

«Я полюбила дом, как тополь или книгу...» (с. 15) - АР.

«Как помню я прелестный кавардак...» (с. 16) - Газ. «Ленинское знамя». Липецк, 1989, июль.

«Беда притянута бедою...» (с. 17). - Газ. «Ленинское знамя». Липецк, 1989, июль.

«Узколищый певец площадный...» (с. 18). - АР.

«Частокол многоэтажек...» (с. 19). - Да утолятся печали твоя..., с. 25.

«Спокойны и строги - земным притворились...» (с. 19). - Да утолятся печали твоя..., с. 20.

«О, не Лицей вас выпестовал, мальчики...» (с. 20). - Да утолятся печали твоя..., с. 28.

«Празднуй свою победу...» (с. 21). - АР.

«Как начали, так и кончаем век...» (с. 22). - АР.

«И этот октябрь отболит...» (с. 22). - Да утолятся печали твоя..., с. 48.

«Ранних сумерек хрупкость в простуженном осенью доме...» (с. 23). - Да утолятся печали твоя..., с. 51.

«Не город, а сруб колодезный...» (с. 23). - АР.

«Опять нам с тобой обживать нежилые углы...» (с. 24). - АР.

«Маленький ламповый круг...» (с. 24). - АР.

«Ослепшие бабочки первого снега - ко мне на ресницы...» (с. 25). - Да утолятся печали твоя..., с. 8.

«По снегу, не умеющему жить...» (с. 25). - АР.

Первый снег (с. 25). - АР.

«Когда-нибудь и этот нежный ад...» (с. 26). - АР.

«Мой! - К неприручимоу волчонку...» (с. 26). - АР.

«Свет погас в бедном доме моем...» (с. 27). - АР.

«Растормошили тишину...» (с. 28). - АР.

- «Слабее тающего снега...» (с. 29). - АР.
- «Шаги замирают и тают...» (с. 29). - Жар нетерпения, с. 20-21.
- «Капли невысохших слез...» (с. 30). - АР.
- «Я хотела узнать, где зимуют бездомные псы...» (с. 31). - АР.
- «Двор затихает под шепот рябин...» (с. 31). - АР.
- «Зачем, нерешительный ангел...» (с. 32). - АР.
- «Лунку стекла теплом отдыши...» (с. 33). - Да утолятся печали твоя..., с. 6.
- «Эту боль, что дарована свыше...» (с. 33). - АР.
- «Глухота замороженных улиц...» (с. 34). - АР.
- «Южный ветер в полночь пересек границы...» (с. 35). - АР.
- «Стихов о тебе не пишу...» (с. 35). - АР.
- «С размаху о стекла ударилась птица...» (с. 36). - АР.
- «Всего-то и было - что черный час...» (с. 36). - Да утолятся печали твоя..., с. 23.
- «Крепкий чай, горьковатый, как дым...» (с. 37). - АР.
- «Благослови тяжесть черной земли...» (с. 38). - Да утолятся печали твоя..., с. 17.
- «Парной и дремотнейший дождь в декабре...» (с. 38). - АР.
- «Расхотелись под утро, когда догорала свеча...» (с. 39). - Да утолятся печали твоя..., с. 31.
- «Раскайянье давит и манит...» (с. 39). - Да утолятся печали твоя..., с. 32.
- «Среди затравленных созвучий...» (с. 40). - АР.
- «Я знаю - обладание ведет...» (с. 40). - Жар нетерпения, с. 3-4.
- Луна (с. 41). - Жар нетерпения, с. 5.
- Странной зиме 1989 года (с. 41). - Жар нетерпения, с. 5-6.
- «Вращался маховик издерганной судьбы...» (с. 42). - АР.
- «Ну чем тебе помочь? Жесток мой светлый прищур...» (с. 42). - АР.
- Сосны (с. 43). - АР.
- «Как на старинной камее...» (с. 43). - АР.
- «Распутицы пояс распущен...» (с. 44). - АР.
- «Желтый автобус. Тридцатый маршрут...» (с. 45). - АР.
- «Золоченое пламя костра...» (с. 45). - АР.
- «По сухим щекам пустого леса...» (с. 46). - АР.
- Прогулка (с. 46). - АР.
- «Жестокая прихоть - бездомных котят согреть...» (с. 47). - АР.
- «В смугляющем теплом, июльском зерне...» (с. 48). - Да утолятся печали твоя..., с. 35.
- «Серую воду дня забелил...» (с. 48). - Да утолятся печали твоя..., с. 35.

твоя..., с. 21.

«Дождь грезит листьями и небом...» (с. 49). - АР.

«Голубые лунные столбы...» (с. 50). - АР.

«Научиться б по-новому думать и петь...» (с. 50). - Да утолятся печали твоя..., с. 35.

«Начинено взрывчаткой и стихами...» (с. 51). - Да утолятся печали твоя..., с. 36.

«Попробуй теперь - притворись безразличной...» (с. 51). - Да утолятся печали твоя..., с. 34.

«Зачем этот миг, что всеведущ и вечен...» (с. 52). - АР.

«Высок соблазн открытых окон...» (с. 53). - АР.

«Будет год под знаком «високосный...» (с. 54). - АР.

«Дороги исхожены, вечны и ложны...» (с. 54). - Да утолятся печали твоя..., с. 36.

«Ковшик ладоней, крапящий дыханье огня...» (с. 55). - АР.

«Диковатый, озябший зверек...» (с. 55). - Да утолятся печали твоя..., с. 37.

Березы (с. 56). - АР.

«А ночью с тобой ничего не случится...» (с. 56). - АР.

«Отекший от дождей июнь...» (с. 57). - АР.

«Затосковать ли вдруг по сентябрю...» (с. 57). - Да утолятся печали твоя..., с. 44.

«На языке попрошайек и птиц...» (с. 58). - Газ. «Молодой коммунар». Воронеж, 1991, 14 марта.

«И жили Вы тому назад три века...» (с. 59). - АР. **Карей** - страна в древнем Вавилоне.

«Драгоценный, светящийся улей...» (с. 60). - Жар нетерпения, с. 17-18.

«В институт незаразных болезней вселился ремонт...» (с. 60). - Газ. «Молодой коммунар». Воронеж, 1991, 14 марта.

«Скороговорка истин и безумств...» (с. 61). - АР.

«Сон в стиле барокко» (с. 62). - Да утолятся печали твоя..., с. 39.

«Наверно, Вы спите, хоть город расколот грозой...» (с. 63). - Газ. «Молодой коммунар». Воронеж, 1991, 14 марта.

«Прочистить от ила сквозные каналы...» (с. 63). - Газ. «Молодой коммунар». Воронеж, 1991, 14 марта.

«Всего-то и нужно - тугую калитку плечом...» (с. 64). - АР.

«Там небо серо-желто, как пустыня...» (с. 64). - Газ. «Молодой коммунар». Воронеж, 1991, 14 марта.

«А если сумеешь врата Вавилона открыть...» (с. 65). - Жар нетерпения, с. 14.

«Перечти от Омега до Альфы - начало конца...» (с. 65). - АР.

«Столько брести и споткнуться о запах жилья...» (с. 66). - Жар нетерпения, с. 19-20.

«За величье страха у нищей плоски...» (с. 67). - Да утолятся печали твоя..., с. 37.

«Раскинула карты - разлуки...» (с. 67). - Да утолятся печали твоя..., с. 9.

Марина Мнишек (Отрывок из поэмы) (с. 68). - Да утолятся печали твоя..., с. 22.

«Мне будет плохо без тебя...» (с. 69). - Да утолятся печали твоя..., с. 25.

Среднерусский городок (с. 70). - Да утолятся печали твоя..., с. 27.

«Одинокий, как старый волк...» (с. 71). - Да утолятся печали твоя..., с. 29.

«Весенние, зябкие холода...» (с. 72). - Да утолятся печали твоя..., с. 31.

«Перебирать, как волосы, слова...» (с. 72). - Да утолятся печали твоя..., с. 38.

«Так странны Вы, как блики серебра...» (с. 73). - Да утолятся печали твоя..., с. 40.

«До осени сложили чемоданы...» (с. 73). - Да утолятся печали твоя..., с. 44.

«Душа стремится к перемене мест...» (с. 74). - Да утолятся печали твоя..., с. 49.

«Когда газет читатели роятся...» (с. 74). - Да утолятся печали твоя..., с. 49.

«От плагиата чужих утопий...» (с. 75). - АР.

Сократ (с. 76). - Жар нетерпения, с. 9.

«Больничной простыней - сереющий рассвет...» (с. 76). - АР.

«Скука зимует под крышей старых сараев...» (с. 77). - АР.

«Здесь маленький город за мутной рекой...» (с. 77). - АР.

Альбомное (с. 77). - АР.

«Как быстро созревают дни...» (с. 78). - АР.

«Травой на черных всхолмиях могил...» (с. 79). - Газ.
«Родниковский рабочий» (г. Родники Ивановской области),
1995, 6 июня.

ДНЕВНИКИ

Е.Рошина систематически ведет дневник с 1987 года. Сохранились семь толстых тетрадей с дневниковыми записями. Дневнику предшествовала небольшая записная книжка, где, наряду с выписками из книг, встречаются личные суждения о жизни, любви, творчестве.

Были трудности с определением некоторых дневниковых материалов. Дело в том, что порой дневник Е.Рощиной переходит в тетрадь своеобразных художественных опытов, в новеллистику, которая автором строго не датируется. В этом случае составители определяли дату (квадратные скобки), исходя из соотношения такого рода материалов с собственно дневниковыми записями.

В «Избранном» дневники Е.Рощиной впервые печатаются в строго хронологическом порядке.

С. 83. Первые записи, включая запись от 19.08.86 г., взяты из записной книжки Е.Рощиной. **Сегодня первый день в газете...** - В июле 1987 г. Е.Рощина проходила практику в газете «Ленинское знамя» (г. Георгиу-Деж Воронежской области).

С. 84. **Рогожин**. - Герой романа Ф.М.Достоевского «Идиот». **«Коммунар»**. - Будучи студенткой факультета журналистики Воронежского университета, Е.Рощина сотрудничала в областной газете «Молодой коммунар» (Воронеж). **Записки А.Цветаевой**. - Речь идет о книге А.И.Цветаевой «Воспоминания».

С. 85. **А.Ц.** - Анастасия Цветаева.

С. 86. **О Христе**. - Хочется зафиксировать впервые появившуюся в дневнике Е.Рощиной такого рода диалогическую запись, своеобразную художественно-философскую миниатюру. Впоследствии автор дневника будет не раз обращаться к такой форме интеллектуального самовыражения.

С. 89. **«Апеллесова черта»**, **«Детство Люверс»**. - Названия повестей Б.Л.Пастернака. **Плес**. - Город в Ивановской области, прославленный тем, что здесь жил и творил художник И.И.Левитан.

С. 90. **Варлаам**. - Герой фильма Т.Абуладзе «Покаяние».

С. 94. **«Но слито с полем воронье...»** - Стихи Е.Рощиной. Составители решили, что часть ее стихотворений необходимо процитировать именно в дневниковом контексте, однако стихотворения из дневника имеют и самостоятельную художественную ценность. Далее все не оговоренные в комментарии стихотворения из дневника принадлежат Е.Рощиной. **Хома Бруг**. - Герой повести Н.В.Гоголя «Вий». **Мама**. - Наталья Семеновна Рощина, оказавшая большое духовное влияние на дочь. Журналистка. Живет в г. Родники Ивановской области.

С. 95. **Получить доверенность на квартиру...** - С этого времени начинаются долгие мытарства Е.Рощиной с квартирным обменом сначала в Иванове, потом в Ленинграде, Воронеже.

С. 97. **М.И., М.Ц.** - Марина Ивановна Цветаева.

С. 99. **Словно «Титаник»**. - Британский пароход «Титаник» затонул от столкновения с айсбергом в 1912 году. **Пенелопа**. - Героиня поэмы Гомера «Одиссея».

С. 102. **Этот дом для меня, этот двор, этот сад-огород...** - Раскавыченнная цитата из стихотворения О.Чухонцева «Дом».

С. 103. **«Мой отрыв от жизни...»**. - Из письма М. И. Цветаевой Б. Л. Пастернаку.

С. 104. **О.М.** - Осип Эмильевич Мандельштам.

С. 105. **Любим.** - Город в Ярославской области.

С. 106. **Из Ярославля выезжали...** - В Ярославле Е.Рощина проходила журналистскую практику - в областной молодежной газете «Юность».

С. 109. **Ворон к ворону летит.** - Незакавыченнная строка из одноименного стихотворения А.С.Пушкина.

С. 112. По сути, эта развернутая запись представляет собой новеллу, вписанную в дневник. Герой новеллы - Исаак Моисеевич Розенфельд, липецкий журналист.

С. 116. **Липецк.** - Е.Рощина проходила в Липецке журналистскую практику, работала в областной молодежной газете «Ленинское знамя» (ныне - «Липецкая газета»).

С. 117. **«Прощай, оружие!»** - Роман Э.Хемингуэя.

С. 118. **«И тот, кто сегодня поет не с нами...»** - Строки из стихотворения В.Маяковского «Господин народный артист». **Г.Иванов о Блоке.** - В 1989 году в России была издана книга Г.В.Иванова «Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени» (М.: Книга). Не исключено, что запись сделана при чтении этой книги.

С. 119. **Олег с Димкой, Светка.** - Олег Шабуня, Дмитрий Косов, Светлана Косова - ближайшие воронежские друзья Е.Рощиной. С ними ее связывали не только житейские, но и творческие отношения. В дальнейшем указанные имена не оговариваются.

С. 121. **Солидное здание «Коммуны».** - Здание областной партийной газеты «Коммуна» (Воронеж).

С. 126. **Дисмас и Гестас.** - Имена казненных вместе в Христом разбойников. В каноническом Евангелии таких имен нет. Е.Рощина взяла их из романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

С. 128. **Дом моей души.** - Имеется в виду дом Антонины Яковлевны Куреновой (1917-1995), бабушка Е.Рощиной, в деревне Петрово Родниковского района Ивановской области.

С. 131. **Герои Хэма.** - Герои книг Э.Хемингуэя.

С. 133. **Литинститут, прощай!** - Написав эти слова, Е.Рощина тем самым приняла окончательное решение не поступать в Литинститут, об учебе в котором мечтала с детства.

С. 144. **Я пришла в тот дом...** - Дом Сафроновых в Родниках. Здесь жил друг юности Е.Рощиной Александр Сафронов,

погибший в 1980 году в армии.

С. 148. **«С милого севера в сторону южную».** - Строка из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Тучи».

С. 151. **Гудвин.** - Герой книги А.М.Волкова «Волшебник изумрудного города». **Калиостро у Кузмина.** - Герой романа М.А.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро».

С. 152. **«Травами и цветами, животными невиданной красоты».** - Слова из песни «Под небом голубым есть город золотой».

С. 153. **Б.Г.** - Борис Гребенщиков.

С. 154. **Н.Ф.** - Настасья Филипповна, героиня романа Ф.М.Достоевского «Идиот».

С. 159. **Манфредовский «Наполеон».** - Книга историка А.З.Манфреда «Наполеон Бонапарт».

С. 160. **«Будет и мой черед».** - Неточная цитата последней строки из стихотворения Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...»

С. 161. **Венечка.** - В.В.Ерофеев, автор книги «Москва-Петушки».

С. 162. **Читала Карабчиевского...** - Речь идет о книге Ю.А.Карабчиевского «Воскресение Маяковского». **Выставка Исачева.** - А.Исачев, художник-постмодернист.

С. 165. **«Времена не выбирают».** - Слова из одноименного стихотворения А.Кушнера. **Уголино, епископ Руджери.** - Герои поэмы Данте «Божественная комедия».

С. 167. **«Смерть в Венеции».** - Повесть Т.Манна.

С. 169. **Ставрогин.** - Герой романа Ф.М.Достоевского «Бесы».

С. 173. **Бальдр.** - Юный бог в скандинавской мифологии, был убит слепым богом Хедом стрелой из прута незаговоренной омелы.

С. 174. **Пять лет назад я стояла в Питере на перроне Витебского вокзала.** - В 1986 году после неудачной попытки поступления на факультет журналистики в ЛГУ (все экзамены были сданы на «отлично», но не все документы были оформлены по требуемому стандарту) Е.Рощина стояла перед выбором: минский или воронежский университет. Был выбран Воронеж.

С. 175. **Кафка, превращавший торгового агента в... жука.** - Речь идет о рассказе Кафки «Превращение».

С. 176. **Грегор-сороконожка.** - Герой рассказа Кафки «Превращение».

С. 177. **Анна.** - Речь идет об Анне Карениной, героине одноименного романа Л.Н.Толстого. **Ашенбах.** - Герой рассказа Т.Манна «Смерть в Венеции». **Людвиг у Висконти.** - Герой фильма Висконти «Гибель богов».

С. 178. «Когда я вижу глаза моего народа...» - Цитата из книги В.Ерофеева «Москва-Петушки».

С. 179. **Раскольников.** - Герой романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».

ПИСЬМА

В «Избранном» приводится небольшая, но весьма яркая часть эпистолярного наследия Е.Рощиной. Сами адресаты писем - близкие друзья - определили возможность предельно откровенного разговора о самых разных, порой весьма личных сторонах ее жизни. Письма тесно связаны с дневниками Е.Рощиной, но не дублируют его. Здесь есть своя смысловая и стилиевая специфика.

Подлинники публикуемых писем хранятся в архивах адресатов. Пользуясь случаем, благодарим Светлану и Дмитрия Косовых, Ольгу Осетрову, Олега Шабуню, Инну Захарову за предоставленные ксерокопии.

Многие письма датируются по почтовому штемпелю.

ПИСЬМА СВЕТЛАНЕ И ДМИТРИЮ КОСОВЫМ

С. 183. **Джека.** - Племянник Е.Рощиной Женя Белоногов.

С. 190. **Регина.** - Р.М.Гринберг, гл. режиссер Ивановского народного молодежного музыкально-поэтического театра-студии им. В.Высоцкого. **Женя.** - Е.Н.Бобров возглавляет творческое объединение художников и музыкантов «Шереметев-центр» в Иванове. **Шереметев.** - граф П.П.Шереметев.

С. 195. **Живаго.** - Герой романа Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».

С. 197. **Фильм «Чернов».** - Режиссер С.Ю.Юрский.

С. 198. **Маугли.** - Герой одноименной книги Р.Киплинга.

С. 202. **«Голем» был любимейшей книжкой Хармса.** - См. об этом статью А.Герасимова, А.Никитина «Хармс и «Голем» // Театр, 1991, N 11.

С.207. **Алиса.** - Героиня книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». **«На пустыре, где в ночи горят...»** - Строки из стихотворения И.Бродского «Письмо генералу».

С. 208. **Макбет.** - Герой одноименной трагедии В.Шекспира.

С. 211. Это письмо Е.Рощина написала 15 июля 1994 года в Воронеже, не застав С.Косову дома. 17 июля в Иванове Елена Олеговна Рощина была убита. Оригинал письма хранится в следственном деле.

ПИСЬМА ОЛЬГЕ ОСЕТРОВОЙ

С. 212. **Ольга Осетрова.** - Сокурсница Е.Рощиной по факультету

журналистики Воронежского университета.

С. 220. **«Дар напрасный, дар случайный...»** - Строки из стихотворения А.С.Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...»

С. 222. **«Да не будет дано умереть мне вдали от тебя...»** - Строки из стихотворения И.Бродского «Стансы городу».

ПИСЬМО ОЛЕГУ ШАБУНЕ

С. 226. **«Мне скучно, бес».** - Слова из произведения А.С.Пушкина «Сцена из Фауста».

ПИСЬМА ИННЕ ЗАХАРОВОЙ

С. 226. **Инна Захарова.** - Подруга Е.Рощиной в последние годы ее жизни.

С. 227. **Твой новогодний сюжет...** - Речь идет о сказке И.Захаровой, впоследствии напечатанной в газете «Сами о себе» 6 декабря 1991 года. **Эту газету я получила в свои руки...** - Областная детская газета «Сами о себе» издавалась в Иванове в 1991-1994 годах. Е.Рощина стала редактором газеты в конце 1991 года и редактировала ее на протяжении всего 1992 года.

С. 230. **«Я буквой был и виноградной строчкой...»** - Неточно цитируются строки из стихотворения О.Мандельштама «К немецкой речи». **«Да не спросят тебя молодые, грядущие, те...»** - Строки из стихотворения О.Мандельштама «Голубые глаза и горячая лобная кость...»

С. 240. **«Я слово позабыл, что я хотел сказать».** - Строка из стихотворения О.Мандельштама «Ласточка». **«Мне опостытели слова, слова, слова».** - Первая строка из одноименного стихотворения А.Тарковского.

С. 242. **«Воскресение Маяковского» Ю.Карабчиевского.** - Допущена неточность. Эта работа впервые была напечатана в журнале «Театр» в 1989 году (NN 7-10).

С. 247. **«Незнайка на Луне».** - Книга Н.Н.Носова.

С. 250. **Б.Г.** - Борис Гребенщиков.

С. 252. **Мартин Иден.** - Герой одноименной повести Д.Лондона.

С. 253. **«Квадраты окон, сколько ни смотри...»** - Строки из стихотворения И.Бродского «Похороны Бобо».

С. 257. **«Этот стон у нас песней зовется».** - Строка из стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда». **«Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...»** - Строки из одноименного стихотворения О.Мандельштама.

С. 263. **Мария из «Жертвы» Андрея.** - Речь идет о фильме А.Тарковского «Жертвоприношение».

С. 264. **Вчера Таганов рассказывал...** - Допущена неточность.

Встреча с А.А.Тарковским и с его женой происходила на квартире Л.Н.Таганова в октябре 1976 года. **Книга об одной странной поэтессе - Анне Барковой.** - Е.Рошина имеет в виду книгу «Анна Баркова: Из Гулаговского архива» (Иваново, 1992. Сост. и комментарии Л.Н.Таганова и З.Я.Холодовой).

С. 268. **«Ты дома подымешь попитр...»** - Строки из стихотворения Б.Пастернака «Упрек не успел потускнеть...»

СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ

В этом разделе публикуются материалы, связанные с художественно-критической, искусствоведческой деятельностью Е.Рошиной. Ранее, за исключением двух работ, статьи и заметки не печатались.

Сохранился отзыв профессора ВГИКа Н.Савицкого о работах, относящихся к кинематографу. Приводим его: «Пожалуйста, не обижайтесь, если отзыв на Ваши работы получится у меня коротким: на самые короткие рецензии подвигают обычно откровенно слабые и бесспорно удавшиеся статьи. Ваш случай - второй. Конечно, я мог бы упрекнуть Вас в игнорировании некоторых требований методички (четырёхстраничная статья о фильме «Ашик-Кериб» - это что, краткий анонс?), но по отношению к Вам это не имеет смысла. Потому что по складу мышления, по эрудиции и навыкам писания Вы - человек вполне сложившийся, и Вас можно избавить от некоторых учебных упражнений, необходимых другим, - освобождаю Вас от лишних трудов.

О Ваших статьях мы можем побеседовать - фиксировать Вам свои комплименты мне не хочется, непедагогично... Но уж если говорить серьезно, то никаких существенных замечаний по прочитанному у меня нет... Все очень и очень неплохо».

О ДНЕВНИКАХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Данный материал представляет собой введение к дипломной работе Е.Рошиной - студентки факультета журналистики Воронежского университета (машинопись - АР).

С. 273. **«Под свист глуца и мещанина смех...»** - Строки из стихотворения М.Цветаевой «Роландов рог». **«Газет - читай: клевет...»** - Строки из стихотворения «Читатели газет».

С. 275. **У Саакянц о Цветаевой...** - Саакянц А.А. Марина Цветаева. М., 1986. **Произнесена первая буква Имени.** - Цитата из книги Л.Борхеса «Избранное» (М., 1989, с. 100). **«Кровной, земной женщины...»** - Цитата из книги А.А.Саакянц «Марина Цветаева» (М., 1986, с. 388). **«Борис, Борис! Как я знаю тот!...»** - Из письма

М.Цветаевой Б.Л.Пастернаку. **«За этот ад...»** - Строки из стихотворения М.Цветаевой «Сад».

С. 276. **«Везде неблагоприятно...»** - Цитата из книги Л.Гумилева «Чтобы свеча не погасла» (Л., 1990, с. 121). **«Бывают времена...»** - Строки из стихотворения М.Цветаевой «Двух станом не боец, а - если гость случайный...» **«Дело не в «собрании»...** - Из письма М.Цветаевой Р.Н.Ломоносовой.

С. 277. **«Поэта - далеко заводит речь».** - Строка из стихотворения М.Цветаевой «Поэт».

С. 278. **«Страсть всякого поэта к мятежу...»** - Цитата из статьи М.Цветаевой «Пушкин и Пугачев». **«Как только я ступила...»** - Из письма М.Цветаевой Б.Л.Пастернаку.

«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА ЗА ПРИВКУС НЕСЧАСТЬЯ И ДЫМА...»

Впервые статья напечатана в Ивановской областной детской газете «Сами о себе» 6 декабря 1991 года.

С. 279. **«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»** - Первая строка из одноименного стихотворения О.Мандельштама. **«У Мандельштама нет учителя...»** - Цитата из статьи А.Ахматовой «Листки из дневника».

С. 280. **«Сестры - тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы».** - Первая строка из одноименного стихотворения О.Мандельштама. **«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»** - Первая строка из одноименного стихотворения О.Мандельштама. **«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»** - Первая строка из одноименного стихотворения Мандельштама. **«Воспетый Ахматовой воронежский памятник Петру».** - См. стихотворение А.Ахматовой «Воронеж». **«На плечи кидается век-волкодав».** - Слова из стихотворения О.Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков». **«В роскошной бедности, в могучей нищете».** - Строка из стихотворения О.Мандельштама «Еще не умер ты, еще ты не один».

С. 281. **«И невольно на убыль, на убыль...»** - Строки из стихотворения О.Мандельштама «Флейты греческой тэта и йота». **«Это какая улица?..»** - Одноименное стихотворение О.Мандельштама процитировано Е.Рощиной с сокращениями. **«Наливаются кровью аорты...»** - Заключительная часть стихотворения О.Мандельштама «Стихи о неизвестном солдате».

С. 282. **«И за то, что тебе суждена была чудная власть...»** - Строки из стихотворения О.Мандельштама «Голубые глаза и горячая лобная кость...». **«Страницу и огонь, зерно и жернова...»** - Строки из стихотворения И.Бродского «На столетие Анны Ахматовой».

МИР ВАТТО И СОМОВА

Работа Е.Рощиной по курсу «История зарубежного искусства» выполнена во время учебы на 1 курсе киноведческого факультета ВГИКа в январе 1993 года (машинопись - АР).

С. 283. **«Везде неблагополучно...»** - Цитата из статьи А.Блока «Памяти Леонида Андреева».

С. 284. **В те дни художники имели не только право...** - Цитата из статьи А.Блока «Три вопроса».

С. 285. **Так пишет о Париже времен Ватто Михаил Герман.** - См.: Герман М. Антуан Ватто. М., 1980.

С. 287. **«Между тем общества представляли...»** - Цитата из романа А.С.Пушкина «Арап Петра Великого».

С. 291. **В предисловии к собранию сочинений В.Набокова В.Ерофеев размышлял...** - См.: Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова // Набоков В. Собр. соч.: в 4 тт., М., 1990, Т.1.

С. 292. **Пишет Неклюдова.** - См.: Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начале XX века. М., 1991.

ПЕРЕСКАЗ СНА

Работа по курсу «Кинокритика» написана в сентябре 1992 года (машинопись - АР).

С. 294. **«Мне бы особенно хотелось...»** - Цитата из лекций П.Гринуэя, прочитанных на семинаре «Воинствующее лицо». См.: Гринуэй П. Пять голландских фильмов, поставленных в воображении // Искусство кино. 1991, N 8.

«КОМПЛЕКС РАСКОЛЬНИКОВА» В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Работа по курсу «Кинокритика» написана в ноябре 1992 года (машинопись - АР).

С. 299. **«Рэгтайм».** - Роман американского писателя Э.Доктороу.

НЕЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Работа по курсу «Кинокритика» (машинопись - АР).

С.300. **«Все меньше тех вещей...»** - Строки их стихотворения А.Тарковского «Вещи».

С. 301. **«На свете все преобразилось...»** - Строки их стихотворения А.Тарковского «Первые свидания».

С. 303. **«Жизнь - чудо из чудес...»** - Строки их стихотворения А.Тарковского «И это снилось мне, и это снится мне...»

С. 304. **«Немую плоть предметов...»** - Слова из стихотворения А.Тарковского «Словарь».

С. 305. **«И то, что прежде нам казалось нами...»** - Строки из стихотворения А.Тарковского «Дерево Жанны».

«Я» В СИСТЕМЕ ЗЕРКАЛ («Армавир» А.Миндадзе и В.Абдрашитова)

Работа по курсу «Кинокритика», написана в ноябре 1992 года (машинопись - АР).

ДОПОЛНЕНИЕ К ПАМЯТИ

Работа по курсу «Кинокритика», написана в декабре 1992 года (машинопись - АР).

ДРУГИЕ БЕРЕГА

Работа по курсу «Кинокритика» (машинопись - АР).

С. 312. **«Где твердый знак и буква «ять» с «фитюю»?..»** - Строки из стихотворения А.Тарковского «Вещи».

С. 314. **«Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав...»** - Строки из стихотворения И.Бродского «Конец прекрасной эпохи».

НАЧАЛО

Работа по курсу «Кинокритика», написана в январе 1993 года (машинопись - АР).

С. 315. **«Мне говорят, а я уже не слышу...»** - Первая строфа из стихотворения А.Тарковского «Дерево Жанны». **Сван, Одетта.** - Герои книги М.Пруста «В поисках утраченного времени».

С. 317. **«Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна!..»** - Строки из стихотворения А.Тарковского «Дерево Жанны».

НАРИСУЙ ЭТО КРАСНЫМ...

Работа по курсу «Кинокритика» (машинопись - АР).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТАРА

Работа по курсу «Кинокритика». Впервые напечатана в книге «Да уголятся печали твоя...», с. 76-77.

«СЛЕПЫЕ ДЕТИ» И ИХ ПОВОДЫРИ

Работа по курсу «Кинокритика», написана в январе 1993 года (машинопись - АР).

ВЫСОКИЙ ВКУС СРЕДНЕЙ ДОМОХОЗЯЙКИ (о телепрограмме С.Шолохова «Тихий дом». РТР)

Работа по курсу «Кинокритика». Первый вариант статьи был напечатан в газете «Сами о себе» - 1992, N 6 (июнь). Печатается по книге «Да утолятся печали твоя...», с. 77-79.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абдрашитов Вадим Юсупович, кинорежиссер. - 305-309.
Абуладзе Тенгиз Евгеньевич (1924-1994), кинорежиссер. - 90.
Акутагава Рюноскэ (1892-1927), японский писатель. - 191.
Алпатов Михаил Владимирович (1902-1986), искусствовед. - 287.
Андреев Даниил Леонидович (1906-1959), поэт, философ. - 118.
Аннинский Лев Александрович, критик. - 306, 309.
Антоний Печерский (982-1073), основатель русского монашества. - 117.
Антониони Микеланджело, итальянский режиссер. - 259-260.
Анчаров Михаил Леонидович, прозаик. - 191.
Арабов Юрий Николаевич, кинодраматург, кинокритик. - 249, 251.
Ариост (Ариосто) Людвико (1474-1533), итальянский поэт, драматург. - 104, 280.
Арто Антонен (1896-1948), французский поэт, режиссер. - 198, 205, 326.
Ахматова Анна Андреевна (1889-1966), поэт. - 104, 192, 276, 279, 280, 282.
Бакст Лев Самойлович (1866-1924), художник. - 283, 291, 311.
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942), поэт. - 254.

* В указателе аннотируются не все имена, встречающиеся в дневниках, письмах, критических работах Е.Рошиной. Не внесены в список ряд имен, о которых говорится в комментариях, неустановленные фамилии, а также несущественные для понимания текста. Некоторые имена не расшифрованы по этическим соображениям.

- Башкирцева Мария Константиновна (1860-1884), художница. - 277.
- Башлачев Александр Николаевич (1960-1987), поэт, музыкант. - 185.
- Баркова Анна Александровна (1901-1976), поэт. - 264
- Бауэр Евгений Францевич (1865-1912), режиссер, художник. - 314.
- Бах Иоганн Себастьян (1685-1750), немецкий композитор. - 158.
- Беклин Арнольд (1827-1901), швейцарский художник. - 313.
- Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич; 1880-1934), поэт, прозаик. - 276, 293.
- Бенуа Александр Николаевич (1870-1960), художник. - 283, 291, 292, 293, 294.
- Беньямин Вальтер (1892-1940), немецкий философ. - 293, 294.
- Бергман Ингвар, шведский кинорежиссер. - 256.
- Бердлей Обри (1872-1898), английский художник. - 196.
- Бердяев Николай Александрович (1874-1948), философ, публицист. - 218.
- Блок Александр Александрович (1880-1921), поэт. - 118-119, 276, 279, 283.
- Бодлер Шарль (1821-1867), французский поэт. - 273, 275.
- Борхес Хорхе Луис (1899-1986), аргентинский писатель. - 202, 239, 254, 275, 307.
- Босх Иероним (ок. 1460-1516), нидерландский художник. - 176, 268.
- Боттичелли Сандро (1445-1510), итальянский художник. - 157, 315.
- Бредли Френсис Герберт (1846-1924), английский философ. - 284, 311.
- Брик Лиля Юрьевна (1891-1978), литератор. - 88, 242.
- Бродский Иосиф Александрович (1940-1996), поэт. - 64, 203, 204, 207, 222, 228, 253, 282.
- Брэдбери Рей Дуглас, американский писатель. - 148.
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924), поэт. - 112.
- Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), писатель. - 87, 88, 124, 127, 148, 151, 262, 267.
- Буньюэль Луис (1900-1983), испанский кинорежиссер. - 205, 231, 318.
- Вайда Анджей, польский кинорежиссер. - 255.
- Вальтер Бруно (1876-1962), немецкий дирижер. - 283.
- Ватто Жан Антуан (1684-1721), французский художник. - 62, 282-294.

- Верлен Поль (1844-1896), французский поэт. - 163, 217-218.
- Вермер Делфтский (1632-1675), голландский художник. - 282.
- Виктюк Роман Григорьевич, режиссер. - 327-328, 329.
- Висконти Лукино (1906-1976), итальянский режиссер. - 178, 219, 231, 241, 326, 328.
- Вознесенский Андрей Андреевич, поэт. - 125-126.
- Волков Александр Мелентьевич (1891-1977), писатель. - 338.
- Волошин Максимилиан Александрович (1877-1932), поэт, художник. - 187, 276, 279.
- Врубель Михаил Александрович (1856-1910), художник. - 112.
- Габрилович Евгений Иосифович (1899-1993), кинодраматург. - 315-318.
- Гарсия Лорка Федерико (1898-1936), испанский поэт, драматург. - 87.
- Герман Михаил Юрьевич, искусствовед. - 285.
- Герцен Александр Иванович (1812-1870), писатель. - 109.
- Гессе Герман (1887-1962), немецкий писатель. - 185, 248, 254, 320.
- Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832), немецкий поэт. - 167.
- Говорухин Станислав Сергеевич, кинорежиссер. - 329.
- Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), писатель. - 114, 155, 183, 185.
- Гойя Франциско Хосе (1746-1828), испанский художник.
- Голованов Василий, поэт. - 175, 193, 231, 232.
- Гомер, легендарный древнегреческий поэт. - 102.
- Гончарова Наталья Сергеевна (1881-1962), художница. - 284.
- Горбачев Михаил Сергеевич, государственный, политический деятель, президент СССР. - 329.
- Гребенщиков Борис Борисович, рок-музыкант, поэт. - 153, 250, 251, 310, 312.
- Гринберг Регина Михайловна, режиссер. - 190, 219.
- Гринуэй Питер, английский кинорежиссер. - 241, 294, 310.
- Гройс Борис, немецкий литературовед, кинокритик. - 306.
- Гумилев Николай Степанович (1886-1921), поэт, критик. - 216, 225, 276.
- Гуницкий Алексей, поэт. - 323.
- Данте Алигьери (1265-1321), итальянский поэт. - 93, 114, 257, 262, 280.
- Дебижев Сергей, кинорежиссер. - 309-312, 314.
- Державин Гавриил Романович (1743-1816), поэт. - 115.
- Деррида Жак, французский философ. - 269.
- Джармен Бек, английский режиссер. - 241.
- Дилан Роберт, американский певец. - 324.

Доктороу Эдгар Лоуренс, американский писатель. - 299, 343.
Домье Анри Огюст Ипполит (1808-1879), французский художник. - 286.

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), писатель. - 59, 114, 153-154, 159, 168-169, 177, 179, 200, 219, 281, 310.

Ельцин Борис Николаевич, политический и государственный деятель, президент России. - 143, 190, 329.

Ерофеев Венедикт Васильевич (1938-1990), писатель. - 143, 161, 188, 236.

Ерофеев Виктор Владимирович, писатель, критик. - 291.

Жанна д'Арк (1412-1431), легендарная героиня Франции. - 315, 316, 317.

Золя Эмиль (1840-1902), французский писатель. - 300.

Захаров Марк Анатольевич, режиссер.

Зонтаг Сьюзен, американская писательница, критик. - 293-294

И Андрей, кинорежиссер. - 318-320.

Иванов Александр Андреевич (1806-1858), художник. - 162.

Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), поэт. - 118.

Иоселиани Отар Давидович, кинорежиссер. - 321-323.

Казанова Джованни Джакомо (1725-1798), итальянский авантюрист. - 151.

Калиостро Александро, Джузеппе Бальзамо (1743-1793), итальянский авантюрист, оккультист, алхимик. - 151.

Камю Альбер (1913-1960), французский писатель, философ. - 147, 229.

Кантор Владимир, писатель. - 196.

Карабчиевский Юрий Аркадьевич (1938-1992), поэт, критик. - 162, 242.

Кортасар Хулио (1914-1984), аргентинский писатель. - 153, 227.

Картер Джеймс (Джимми), американский президент. - 324.

Кафка Франс (1883-1924), австрийский писатель. - 122, 130, 171, 175, 176, 183, 185, 186, 217, 259.

Кесьлевский (Кесловский) Кшишгоф (1942-1996), польский кинорежиссер. - 262.

Киплинг Джозеф Редьяр (1865-1936), английский писатель. - 198.

Киреев Руслан Тимофеевич, писатель. - 216.

Ковалов Олег, кинорежиссер, кинокритик. - 312-315.

Коралли Вера Алексеевна (1889-1972), балерина. - 314.

Кржижановский Сигизмунд Доминикович (1887-1950), писатель. - 201.

- Кузмин Михаил Алексеевич (1875-1936), поэт, композитор. - 151.
- Куравлев Леонид Вячеславович, киноактер. - 316.
- Курехин Сергей, композитор, кинокритик. - 188-189, 193, 194, 201, 205-206, 231, 233, 310, 327, 329.
- Кушнер Александр Семенович, поэт. - 338.
- Кьеркегор Серен (1813-1855), датский философ. - 256-257.
- Кэррол Льюис (1832-1898), английский писатель. - 207, 209.
- Ламарк Жан Батист (1744-1829), французский естествоиспытатель. - 280.
- Ландсбергис Витаутас, литовский политический деятель. - 174.
- Ларионов Михаил Федорович (1881-1964), художник. - 284.
- Леже Фернан (1881-1935), французский художник. - 309.
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), политический и государственный деятель. - 125, 327.
- Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянский художник, скульптор, ученый. - 163.
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт. - 118-119, 295.
- Лосев Алексей Федорович (1893-1988), философ. - 218.
- Людовик XIV (1638-1715), французский король. - 217.
- Малевич Казимир Северинович (1879-1936), художник. - 204-205, 236, 240, 284, 314.
- Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938), поэт. - 104, 164, 224, 225, 227, 230, 240, 257, 275, 276, 279-282.
- Мандельштам Рюльвд Чарльзович (1932-1961), поэт. - 266.
- Манн Томас (1875-1955), немецкий писатель. - 177, 187, 230, 318, 319, 328.
- Манфред Альберт Захарович (1906-1976), историк. - 159.
- Мао Цзэдун (1893-1976), китайский государственный и партийный деятель. - 193.
- Мария Антуанетта (1755-1793), французская королева, жена Людовика XVI. - 151.
- Мария Стюарт (1542-1587), шотландская королева. - 151.
- Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930), поэт. - 88, 118, 162, 204, 242, 276, 314.
- Мейлер Норман, американский писатель. - 310, 312.
- Мейринк Густав (1860-1932), австрийский писатель. - 196, 201-202, 223, 229, 248.
- Миллер Генри (1891-1980), американский писатель. - 236.
- Миндадзе Александр Анатольевич, сценарист. - 305-309.
- Модильяни Амедео (1884-1920), итальянский художник. - 152, 257, 282.

- Моррисон Джим (1943-1971), американский рок-музыкант, поэт. - 206, 231, 268, 323-326.
- Моруа Андре (1885-1967), французский писатель. - 283.
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791), австрийский композитор. - 283.
- Набоков Владимир Владимирович (1899-1977), русско-американский писатель. - 122, 170, 177, 225, 257, 258, 260, 291.
- Невзоров Александр Глебович, журналист. - 174.
- Неклюдова Милица Григорьевна, искусствовед. - 290-291, 292.
- Нестор (1056-1114), писатель, инок Киево-печерского монастыря. - 117.
- Николаева Олеся Александровна, поэтесса. - 193.
- Ницше Фридрих (1844-1900), немецкий философ. - 221, 229, 240, 265.
- Носов Николай Николаевич (1908-1976), писатель. - 247.
- Овидий, Публий Овидий Назон (43 до н.э. - ок. 18 н.э.), римский поэт. - 174, 183.
- О'Генри (Уильям Сидни Портер; 1862-1910), американский писатель. - 214.
- Орлеанский герцог (1674-1723), регент Франции после смерти Людовика XIV. - 287.
- Ортега-и-Гассет (1883-1955), испанский философ. - 201, 244, 284, 306-307.
- Оруэлл Джордж (1903-1950), английский писатель. - 146.
- Пазолини Пьер Паоло (1922-1975), итальянский кинорежиссер. - 236, 241.
- Панфилов Глеб Анатольевич, кинорежиссер. - 315-318.
- Параджанов Сергей Иосифович (1924-1990), кинорежиссер. - 146, 150, 216, 253, 294-297.
- Пастернак Борис Леонидович (1890-1960), поэт. - 89, 114, 169-170, 216, 240, 244, 268, 274, 278.
- Петр I Великий (1672-1725), царь, первый российский император. - 94.
- Петрарка Франческо (1304-1374), итальянский поэт. - 262.
- Петровых Мария Сергеевна (1908-1979), поэтесса. - 214.
- Пикассо Пабло (1881-1973), французский художник. - 286.
- Платон (ок. 428 - ок. 348 до н.э.), греческий философ. - 125, 202, 244, 285.
- Пресли Элвис (1935-1977), американский певец, актер. - 324.
- Пруст Марсель (1871-1922), французский писатель. - 315, 321.
- Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), поэт. - 94, 111-112, 115, 178, 191, 261, 279, 287-288.

- Пушкина (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская) Наталья Николаевна (1812-1863), жена А.С.Пушкина. - 178.
- Рафаэль Санти (1483-1520), итальянский художник. - 162, 163.
- Рей Чарльз, американский рок-музыкант. - 51, 324.
- Ремарк Эрих Мария (1898-1970), немецкий писатель. - 141.
- Рембо Артюр (1854-1891), французский поэт. - 163, 217-218.
- Рембрант Харменс ван Рейн (1606-1669), голландский художник. - 282, 382.
- Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892), французский писатель. - 188.
- Рильке Райнер Мария (1875-1926), австрийский поэт. - 244, 274.
- Розанов Василий Васильевич (1856-1919), писатель, философ. - 202, 225-226, 275.
- Ростан Эдмон (1868-1918), французский поэт, драматург. - 160.
- Рублев Андрей (ок. 1360-1430), художник-иконописец. - 117.
- Рубанова Ирина, кинокритик. - 306.
- Саакянц Анна Александровна, литературовед. - 274, 275.
- Сартр Жан-Поль (1905-1980), французский писатель, философ. - 221, 238, 320.
- Селезнева Инесса, кинорежиссер. - 297-299.
- Сен-Жермен (ум. 1784), французский авантюрист, алхимик. - 151.
- Сера Жорж Пьер (1859-1891), французский художник. - 282.
- Сергий Радонежский (ок. 1321-1391), основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. - 117.
- Собчак Анатолий Александрович, политический деятель. - 194.
- Соколов Саша, писатель. - 232.
- Сокуров Александр, кинорежиссер. - 236, 320.
- Солженицын Александр Исаевич, писатель. - 118.
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), философ, поэт. - 193.
- Соловьев Сергей Александрович, кинорежиссер. - 324-325.
- Сологуб Федор Кузьмич (1863-1927), писатель. - 192.
- Сомов Константин Андреевич (1869-1939), художник. - 282-294, 311.
- Сталин Иосиф Виссарионович (1879-1953), государственный деятель. - 125, 266.
- Стеллинг Йос, голландский кинорежиссер. - 302.
- Стоун Оливер, американский кинорежиссер. - 323-326.
- Стриндберг Юхан Август (1849-1912), шведский писатель. -

159.

Тальков Игорь Владимирович (1956-1991), певец, поэт. - 176.

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932-1988), кинорежиссер. - 266, 300-305.

Тарковский Арсений Александрович (1907-1989). поэт. - 238, 240, 300, 304, 305, 312, 315.

Тимоги Лири, американский режиссер. - 323.

Тинторетто Якопо (1518-1594), итальянский художник. - 162.

Толкиен Джон Роналд Руэл (1892-1973), английский писатель. - 252.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910), писатель. - 177.

Тулуз-Лотрек Анри (1864-1901), французский художник. - 282, 286.

Туровская Майя Иосифовна, критик, кинодраматург. - 302.

Фасбиндер Райнер-Вернер (1946-1982), немецкий кинорежиссер. - 256.

Федоров Иван (ок. 1510-1583), основатель книгопечатания в Москве и на Украине. - 233.

Феллини Федорико (1920-1993), итальянский кинорежиссер. - 231.

Феодосий Печерский (ок. 1036-1074), писатель, церковный деятель. - 117.

Феофан Грек (ок. 1340 - после 1405), художник-иконописец. - 117.

Фолкнер Уильям (1897-1962), американский писатель. - 185.

Фюретьер Антуан (1622-1680), французский писатель. - 287.

Хандамов Рустам, кинорежиссер. - 261.

Ханжонков Александр Алексеевич (1877-1945), кинодеятель, организатор первого русского кинопредприятия. - 255.

Ханин Юрий, композитор. - 194.

Хармс (Ювачев) Даниил Иванович (1905-1942), поэт. - 194, 202.

Хейзинга Иохан (1872-1945), нидерландский ученый, теоретик искусства. - 199, 253, 263, 285, 294.

Хемингуэй Эрнст Миллер (1899-1961), американский писатель. - 117, 131.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), поэт. - 146.

Холодная Вера Васильевна (1893-1919), киноактриса. - 313, 314.

Цветаева Анастасия Ивановна (1894-1993), писательница, сестра М.И.Цветаевой. - 84, 85, 89, 97, 274.

Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), поэт. - 84, 97, 103-104, 127, 132, 166, 167, 170, 177, 179, 185, 191, 192, 217, 229, 230, 240,

242, 244, 246, 263, 264, 273-279, 295, 304, 313, 326.

Цой Виктор Робертович (1962-1990), рок-музыкант, поэт. - 149-150, 215.

Черненко Мирон, кинокритик. - 323, 324, 326.

Черных Валентин Константинович, кинодраматург. - 297-299.

Чехов Антон Павлович (1860-1904), писатель. - 265, 322.

Чурикова Инна Михайловна, актриса. - 315-318.

Чухонцев Олег Николаевич, поэт. - 102.

Шагал Марк Захарович (1887-1985), художник. - 204, 284, 304.

Шакуров Сергей Каюмович, актер. - 306, 309.

Шекспир Уильям (1564-1616), английский драматург. - 127, 208.

Шестов Лев Исаакович (1866-1938), философ. - 257, 264.

Шехтель Федор Осипович (1859-1926), архитектор. - 249.

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805), немецкий поэт, драматург. - 125.

Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), писатель, литературовед. - 300

Шолохов Сергей, искусствовед, кинорежиссер. - 188, 193, 200, 326-330.

Шопенгауэр Артур (1788-1860), немецкий философ. - 191, 229, 230.

Эбютерн Жанна (1898-1920), жена Модильяни. - 282.

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1899-1948), кинорежиссер. - 300, 312.

Эко Умберто, итальянский писатель. - 253, 254, 295, 297.

Элюар Поль (1895-1952), французский поэт. - 204.

Эпштейн Михаил Наумович, критик. - 284.

Эфрон Ариадна Сергеевна (1912-1975), литератор, дочь М.И.Цветаевой. - 103, 277.

Эфрон Георгий Сергеевич (1925-1944), сын М.И.Цветаевой. - 103.

Эфрон Сергей Яковлевич (1892-1941), муж М.И.Цветаевой. - 278.

Юрский Сергей Юрьевич, актер, кинорежиссер. - 339.

Юхананов Борис, кинорежиссер. - 194, 205.

Яковлева Елена, киноактриса. - 298.

СОДЕРЖАНИЕ

Таганов Л. Елена Рощина: Вектор судьбы 3

СТИХОТВОРЕНИЯ 9

| | |
|---|----|
| Октябрь | 11 |
| Монастырская тюрьма | 11 |
| «Золотистый запах чабреца...» | 12 |
| «Полнолуние. Ложится отблеск медный...» | 12 |
| «Избавь от сердечного рабства...» | 13 |
| «Кладбищенской гнилью и серой...» | 14 |
| «Высокие ступени двадцати...» | 14 |
| «Город озяб и нахохлился...» | 15 |
| «Я полюбила дом, как тополь или книгу...» | 15 |
| «Как помню я прелестный кавардак...» | 16 |
| «Беда притянула беду...» | 17 |
| «Узколиций певец площадный...» | 18 |
| «Частокол многоэтажек...» | 19 |
| «Спокойны и строги - земным притворились...» | 19 |
| «О, не Лицей вас выпестовал, мальчики...» | 20 |
| «Празднуй свою победу...» | 21 |
| «Как начали, так и кончаем век...» | 22 |
| «И этот октябрь отболит...» | 22 |
| «Ранних сумерек хрупкость в простуженном осенью доме...» | 23 |
| «Не город, а сруб колодезный...» | 23 |
| «Опять нам с тобою обживать нежилые углы...» | 24 |
| «Маленький ламповый круг...» | 24 |
| «Ослепшие бабочки первого снега - ко мне на ресницы...» | 25 |
| «По снегу, не умеющему жить...» | 25 |
| Первый снег. | 25 |
| «Когда-нибудь и этот нежный ад...» | 26 |
| «Мой! - К неприручимоу волчонку...» | 26 |
| «Свет погас в бедном доме моем...» | 27 |
| «Растормошили тишину...» | 28 |
| «Слабее тающего снега...» | 29 |

| | |
|--|----|
| «Шаги замирают и тают...» | 29 |
| «Капли невысохших слез...» | 30 |
| «Я хотела узнать, где зимуют бездомные псы...» | 31 |
| «Двор затихает под шепот рябин...» | 31 |
| «Зачем, нерешительный ангел...» | 32 |
| «Лунку стекла теплом отдыши...» | 33 |
| «Эту боль, что дарована свыше...» | 33 |
| «Глухота замороженных улиц...» | 34 |
| «Южный ветер в полночь пересек границы...» | 35 |
| «Стихов о тебе не пишу...» | 35 |
| «С размаху о стекла ударились птица...» | 36 |
| «Всего-то и было - что черный час...» | 36 |
| «Крепкий чай, горьковатый, как дым...» | 37 |
| «Благослови тяжесть черной земли...» | 38 |
| «Парной и дремотнейший дождь в декабре...» | 38 |
| «Расходились под утро, когда догорала свеча...» | 39 |
| «Раскаянье давит и манит...» | 39 |
| «Среди затравленных созвучий...» | 40 |
| «Я знаю - обладание ведет...» | 40 |
| Луна | 41 |
| Странной зиме 1989 года | 41 |
| «Вращался маховик издерганной судьбы...» | 42 |
| «Ну чем тебе помочь? Жесток мой светлый прищур...» | 42 |
| Сосны | 43 |
| «Как на старинной камее...» | 43 |
| «Распутицы пояс распушен...» | 44 |
| «Желтый автобус. Тридцатый маршрут...» | 45 |
| «Золоченое пламя костра...» | 45 |
| «По сухим щекам пустого леса...» | 46 |
| Проголка | 46 |
| «Жестокая прихоть - бездомных котят согреть...» | 47 |
| «В смугляющем теплом, июльском зерне...» | 48 |
| «Серую воду дня забелил...» | 48 |
| «Дождь грезит листьями и небом...» | 49 |
| «Голубые лунные столбы...» | 50 |
| «Научиться б по-новому думать и петь...» | 50 |
| «Начинено взрывчаткой и стихами...» | 51 |
| «Попробуй теперь - притворись безразличной...» | 51 |

| | |
|---|----|
| «Зачем этот миг, что всеведущ и вечен...» | 52 |
| «Высок соблазн открытых окон...» | 53 |
| «Будет год под знаком «високосный»...» | 54 |
| «Дороги исхожены, вечны и ложны...» | 54 |
| «Ковшик ладоней, хранящий дыханье огня...» | 55 |
| «Диковатый, озябший зверек...» | 55 |
| Березы | 56 |
| «А ночью с тобой ничего не случится...» | 56 |
| «Отекший от дождей июнь...» | 57 |
| «Затосковать ли вдруг по сентябрю...» | 57 |
| «На языке попрошаек и птиц...» | 58 |
| «И жили вы тому назад три века...» | 59 |
| «Драгоценный, светящийся улей...» | 60 |
| «В институт незаразных болезней вселился ремонт...» | 60 |
| «Скороговорка истин и безумств...» | 61 |
| Сон в стиле барокко | 62 |
| «Наверно, вы спите, хоть город расколот грозой...» | 63 |
| «Прочистить от ила сквозные каналы...» | 63 |
| «Всего-то и нужно - тугую калитку плечом...» | 64 |
| «Там небо серо-желто - как пустыня...» | 64 |
| «А если сумеешь врата Вавилона открыть...» | 65 |
| «Перечти от Омеги до Альфы - начало конца...» | 65 |
| «Столько брести и споткнуться о запах жилья...» | 66 |
| «За величье страха у нищей площадки...» | 67 |
| «Раскинула карты - разлуки...» | 67 |
| Марина Мнишек (отрывок из поэмы) | 68 |
| «Мне будет плохо без тебя...» | 69 |
| Среднерусский городок | 70 |
| «Одинокий, как старый волк...» | 71 |
| «Весенние зябкие холода...» | 72 |
| «Перебирать, как волосы, слова...» | 72 |
| «Так странны Вы, как блики серебра...» | 73 |
| «До осени сложили чемоданы...» | 73 |
| «Душа стремится к перемене мест...» | 74 |
| «Когда газет читатели роятся...» | 74 |
| «От плагиата чужих утопий...» | 75 |
| Сократ | 76 |
| «Больничной простыней - сереющий рассвет...» | 76 |

| | |
|--|-----|
| «Скука зимует под крышами старых сараев...» | 77 |
| «Здесь маленький город за мутной рекой...» | 77 |
| Альбомное | 77 |
| «Как быстро созревают дни...» | 78 |
| «Травой на черных всхолмиях могил...» | 79 |
| ДНЕВНИКИ | 81 |
| ПИСЬМА | 181 |
| Письма Светлане и Дмитрию Косовым | 183 |
| Письма Ольге Осетровой | 212 |
| Письмо Олегу Шабуне | 225 |
| Письма Инне Захаровой | 226 |
| СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ | 271 |
| О дневниках Марины Цветаевой | 273 |
| «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» | 279 |
| Мир Ватто и Сомова | 282 |
| Пересказ сна (Сергей Параджанов. «Ашик-Кериб») | 294 |
| «Комплекс Раскольникова» в переходное время | 297 |
| Незамкнутый круг | 300 |
| «Я» в системе зеркал («Армавир» А. Миндадзе и В. Абдрашитова) | 305 |
| Дополнение к памяти | 309 |
| Другие берега | 312 |
| Начало | 315 |
| Нарисуй это красным | 318 |
| Возвращение Отара | 321 |
| «Слепые дети» и их поводыри | 323 |
| Высокий вкус средней домохозяйки (о телепрограмме С. Шолохова «Тихий дом». РТР) | 326 |
| КОММЕНТАРИИ | 331 |
| УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН | 345 |

Рощина
Елена Олеговна

Избранное

Ответственный за выпуск, корректор Холодова З.Я.

Художественное оформление: Л.А.Рожкова, В.В.Серпков

Сдано в набор 10.04.1996. Подписано в печать 09.07.1996.
Формат 84x108 1/32. Бумага этикеточная. Гарнитура "Таймс".
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,74. Тираж 3000 экз. Заказ 3220.

Государственное предприятие издательство «Иваново»
153001, г. Иваново, ул. Советская, д. 49.
Лицензия ЛР № 010221 от 20.03.1992
ISBN 5-85229-054-8

Ивановская областная типография
Комитета Российской Федерации по печати,
153628, г. Иваново, ул. Типографская, 6.

5.0002



